

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ № 5–2006

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

СОДЕРЖАНИЕ:

От редакции (статья Ю. Воропайкина)	3
<u>КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА</u>	
Сергей Есенин. ПОЭТ	4
<u>ТАМ, ГДЕ РОССИЯ</u>	
Егор Чернецов. Не поле перейти... (Биографический очерк)	5
<u>СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ</u>	
Николай Коняев. Поминки (пьеса). К семидесятилетию Николая Рубцова	21
<u>СТИХА ТВОРЕНИЕ</u>	
Борис Орлов. «Брей тово!» – все равно, что с санскрита...», «Кажется, что не жила, а пела...», «Лишенные и голоса, и крова...», «Призраки коварства и мьгарства...», «И пьём не то, да и едим не так...»	35
Вера Чижевская. РОДСТВО	35
Галина Казанская «Любую боль легко перенести...»	36
В. Стан. «Говорят, что ты рыжая...»	36
Александр Сидихин. «Путь к часовне очень длинный...», «Даль туманом путь мой стелет...» ...	36
<u>ПРОЗА XXI ВЕКА</u>	
Вячеслав Овсянников. Моя ель. (Рассказ)	37
Юрий Чубков. Обелиск (Повесть)	42
Владимир Алексеев. Мысли и дела Владимира Завялова. (Повесть)	47
Светлана Завьялова. Бабка недуховная. (Рассказ)	57
<u>НАСЛЕДНИКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА</u>	
Бахыт Кенжеев. «Отложена дуэль. От переспелой вишни...», «Говори - словно боль заговаривай...», «Доживать, ни о чем не жалея...», «Словно тетерев, песней победной...», «Хорошо на открытии ВСХВ...», «Я знаком с одним поэтом: он пока еще не стар...», «Майору заметно за сорок...»	58
Татьяна Семенова. ДВОРЕЦ ДОЖДЕЙ, ЛЕСОПОВАЛ, СОСНА, «Есть поэзия в слове "балланс"...», МАРИЯ МАГДАЛИНА, «Ты хочешь знать что у меня внутри...», «Я стану каяться на лестнице...», «Я давно тебя наизусть учу...», ЗЕРКАЛО	61
Виталий Дмитриев. «Возможно, где-то и есть глубина...», «Жизнь пришла в запустенье...», «Благословляю всё, что скоротечно...», «Оглушает пустотой между двух ударов сердца...», «Анхель де Куатье...», «Вдоль железнобездорожья...», «Спи. Ничего не случится...», «Я слово за словом теряю, а время подводит черту...», «В снегу протоптана тропинка...», «Раздвигая шторы, в квартиру выпускаешь свет...», «В июльской столице награда...»	62
Наталья Перевезенцева. КРЕСТ, «Лейб-гвардии Гусарского полка...», ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЮБОВЬ, «Мы – дети центра, дворов-колодцев...», «Пусть никто от женщины не берет...», «Над каменщиком смилуйся, Христос...»	66
Юрий Романов. «Никому. Ничего...», «Взгляд бесприветный...», «После ночи бессонницы – ночи бессонницы после...», ВВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	67
Михаил Тенников. «...О, если б только мог постичь я связи...»	68
Ефим Бершин. МОНОЛОГ ОСКОЛКА	69
Валерий Маркатанов. «Это не важно, что жизнь прошла...», «На набережной стриженные липы...», «Забыто и солнце, и небо забыто...»	72
Евгений Линов. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭТЮД, МНЕ ВСПОМНИЛОСЬ..., «Затворничество – это не каприз...», «Как привитый мичуринцем дичок к черенку...», «Не поющее горло – рубить Петуху...», ОСЕНЬ. ЦВЕЛОДУБОВО.	73

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Ирина Казанская. Первая блокадная зима. 74

ПРИРОДА И МЫ

Игорь Дядченко. Армейский навык 78

ФОЛЬКЛОР, ФАНТАСТИКА, ЛЕГКИЙ ЖАНР

Вера Миропольская. Птичьи законы (Притча) 80

Григорий Артюхов. Будь счастлив, Валерий!, На Фоминой неделе. (Рассказы)..... 81

Низами Абульфас-Оглы. Козье молоко, Бывают же чудеса, Неразлейвода. (Рассказы) 87

Николай Куковеров. Охота на кабанов (Зарисовка) 91

Александр Килипенко. Безумие. (Рассказ) 93

НЕУВЯДАЕМЫЙ СОНЕТ

Сонеты-Послания. 95

Всеволод Чешихин. Венок сонетов на могилу М.Е. Салтыкова 97

ПРОЗА XXI ВЕКА

Татьяна Дуплинская. Михаил, князь Белозерский, или возвращение Агнии 100

Ольга Анисимова. Неприкаянная душа 106

Алексей Ахматов. Один день Дениса Ивановича 108

Людмила Бубнова. За дверью. (Фрагмент романа)..... 111

БАРДОВСКИЕ ПЕСНИ

Татьяна Дуплинская. «Мне так тепло у твоего огня», «Душа моя тобой полна».

Муз. Ж. Штепиной 121

Юбилейный номер журнала увидел свет благодаря спонсорской поддержке со стороны петербургского предпринимателя и мецената

Сергея Юрьевича ШПЕТИНА.

Выражаем ему сердечную благодарность.

ББК-84

С-18

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ № 5. Юбилейный выпуск.
("Русский мир" С-Пб 2006 г.)

Главный редактор – Юрий Воропайкин

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иван Сабило, Александр Скоков (проза), Татьяна Батурина (критика и публицистика), Татьяна Семенова (зам. главного редактора), Олег Чупров (поэзия), Валентина Полухина (Москва), Вера Чижевская (Калуга), Михаил Калиничев (Вологда), Михаил Клепов (Пермь), Валентин Недригайлов (Оренбург), Григорий Артюхов (отв. секретарь).

Перепечатка разрешена только со ссылкой на журнал "Изящная словесность".

© Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России

ЛЮБИТЕЛЯМ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»*

Литературные журналы существуют для того, чтобы решать две задачи: 1. Знакомить читателей с новыми произведениями известных авторов, 2. Способствовать творческому росту авторов начинающих (талантливых, но малоизвестных широкой читающей публике).

С этими задачами на протяжении довольно продолжительного времени успешно справлялся «Русский мир» – печатный орган Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России (Главный редактор – С.П.Гладкий, годы выпуска: 1993-2001).

На страницах «Русского мира» можно было прочесть рассказы, повести, стихи, разного рода статьи и эссе таких выдающихся петербургских прозаиков, поэтов и критиков-публицистов, как Г.Горьшин, Е.Серебровская, И.Сабило, А.Шейкин, Ю.Чубков, Г.Горбовский, В.Кузнецов, Б.Орлов, И.Сергеева, Н.Чудинова, Г.Дюмонд, Т.Батурина, П.и Р.Басовы... юморески В.Скворцова, И.Лейфера, Н.Ситникова... сказки для детей В.Медведевой... главы из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев», не вошедшие в канонический текст знаменитой книги... и многое-многое другое.

В то же время журнал не боялся открывать читательской аудитории новые литературные имена, печатать авторов, ныне ставших писателями-профессионалами – В.Овсянников, А.Хлебников, И.Леонтьев, В.Пастухов, И.Важинская...

К сожалению, со смертью Сергея Павловича Гладкого выяснилось, что «Русский мир» не был официально зарегистрирован в соответствующих органах, а когда новый редактор пришел в Комитет по печати, чтобы соблюсти необходимые формальности, ему было объявлено, что в Москве уже зарегистрирован исторический журнал с точно таким же названием – «Русский мир». А по существующим законам, никто не имеет юридического права безнаказанно пользоваться чужим именем.

Новому Главному редактору Петербургского литературного издания пришлось срочно придумывать название для своего детища. Было предложено с десятков всевозможных вариантов (и «Русское слово», и «Литературный Петербург», и «Невское время» и т.д. и т.п., но, увы, – всё оказалось уже использованным и зарегистрированным). Случайно подвернулось словосочетание – «Изящная словесность». Так во времена А.Пушкина и В.Белинского именовалось художественное слово. Памятуя о желательности преемственности в русской литературе, Главный редактор остановился на этом, не совсем привычном для уха современников варианте...

В 2001 году вышел первый номер «Изящной словесности» – сразу же ставший литературным раритетом. И хотя поначалу профессиональная общественность писательской организации отнеслась к новому изданию довольно прохладно, уже во втором номере журнала появились такие известные имена, как А. Шейкин, Т. Батурина, Т. Колева, Ю. Зверев, А. Роцин... в третьем и четвертом номерах напечатал свои остросюжетные пьесы Н.Коняев, в тех же номерах были опубликованы новые повести Ю. Чубкова, рассказы В. Овсянникова и А. Хлебникова, талантливые стихи В.Дмитриева и Т.Семеновой, интересная проза С. Завьяловой и Ю. Со, охотничьи байки И.Дядченко, книга воспоминаний самодеятельного художника и поэта Г.Кушнирчука, новеллы В.Богомаза.

Думается, для любителей современной художественной литературы будут небезынтересны такие постоянные рубрики журнала, как «Классика на все времена» (Б.Пастернак, Н.Рубцов, И.Бродский, Н.Клюев, А.Ахматова...), «Проза XXI века», «Стиха творения», «Страницы былого», «Неувядаемый сонет», «Россия - родина моя» и др.

В юбилейный, пятый, номер журнала обещали дать свои произведения И. Сабило, А. Скоков, постоянные наши авторы-профессионалы Н. Коняев и Ю. Чубков, В.Дмитриев и Т.Семенова, В.Овсянников и А.Хлебников, В.Чижевская и О. Чупров, а также весьма способные и перспективные – Ю. Со, С. Завьялова, Н. Куковеров, А. Баранов, А. Самохин, О. Анисимова, Г. Казанская, Е. Линов, Низами Абульфас-Оглы и участники недавно прошедшей Конференции молодых дарований.

Хочется надеяться, что со временем «Изящная словесность» станет для читающей петербургской публики таким же любимым литературно-художественным изданием, какими в прошлые годы были журналы «Ленинград», «Аврора», а ныне и во веки остаются – «Звезда» и «Нева».

Приятного и полезного чтения, господа! Постараемся Вас не разочаровывать.

Юрий Воропайкин,
Главный редактор ж. «Изящная словесность»

* Статья написана по просьбе редакции журнала «Библиотечное дело» (прим. автора)

Сергей ЕСЕНИН

ПОЭТ

Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.

<1910-1912>

ТАМ, ГДЕ РОССИЯ

Егор ЧЕРНЕЦОВ,
Вологодская область

Члену редколлегии журнала «Изящная словесность»,
начальнику Череповецкого СМУ ЗАО «Кислородмонтаж»
Калиничеву Михаилу Андреевичу
присвоено высокое звание
«ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ».

Наши искренние сердечные поздравления, коллега!

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ...
(Биографический очерк)

Череповец и Калуга... Казалось бы, где один город и где другой... и что между ними общего?

Сейчас для 55-летнего, молодежавшего на вид, всегда подтянутого, опрятного, доброжелательного Михаила такого вопроса не существует.

В **Калужском крае**, в маленькой, затерявшейся среди полей, лесов и мелких речушек деревне Троица он родился и вырос.

В **г. Череповце** – металлургической столице севера России – живет со своей семьей вот уже три десятка лет. Здесь приобрел рабочий стаж и опыт. Добился успехов и уважения. Получил 4-комнатную квартиру, купил машину, дачу, сделал карьеру (от рядового инженера до начальника СМУ), награжден орденом «Св. кн. Александра Невского» – за заслуги и большой личный вклад в укреплении Российской государственности. Здесь нашел свою единственную любовь с символическим именем Надежда, стал отцом двух дочек – Оксаны и Анны – и образцовым дедушкой для прелестной сероглазой Гели.

Но все это, разумеется, пришло не вдруг, не сразу, не по мановению волшебной палочки. Не зря же в глубинах народной мудрости родилась точная и неопровержимая формула – «Жизнь прожить – не поле перейти».

РОЖДЕНИЕ. Лето в тот год (1949) выдалось сухое и жаркое. В колхозе с гордым наименованием «имени Ленина» наступала самая горячая и ответственная пора – заготовка кормов.

...Минуло всего четыре года, как отгремела кровопролитнейшая в мировой истории война. Страна – победительница, страна, спасающая человечество от злоедей чумы XX века – фашизма, все еще не могла оправиться от колоссальных потерь, понесенных ею в ходе Великой Отечественной. Не хватало техники, не хватало людей...Калужский край, вместе с соседними – Брянщиной и Смоленщиной (как почти половина всей европейской части СССР), в полной мере хлебнул все ужасы и невзгоды вражеской оккупации. Грабежи и мародерство со стороны гитлеровской солдатни...аресты и расстрелы тех, кто выражал недовольство или с оружием в руках пытался сопротивляться...устройство на временно оккупированной территории лютых концлагерей... А затяжные ожесточенные бои во время нашего отступления к Москве!.. А не менее ожесточенные схватки и сражения после разгрома немцев под Москвой, когда с декабря

41-го началось наше неудержимое продвижение вперед – на Запад!

В летопись Великой Отечественной на века будут вписаны такие славные страницы, как знаменитый штурм Заячьей горы, пребывание в Юхнове заместителя Верховного Главнокомандующего генерала армии Г.К. Жукова, освобождение края войсками генерала Ефремова. Но эта летопись будет наверняка неполной, если не найдется там места с упоминанием горя и страданий местного гражданского населения, жителей таких незначительных сел и деревень, как Чемоданово и Салопихино, Павлищево и Курбатово, Еремино и Порослица... Кто из них, вынесших те страшные полгода вражеской оккупации, не запомнил на всю оставшуюся жизнь примеры садистских бесчинств горе-«завоевателей», ежедневные стрельбу и обстрелы, тяжелые голодные дни суровой зимы 41-42 гг.?

У простой деревенской женщины Нюши Калиничевой, бывшего колхозного бригадира (а одно время – и председателя колхоза), как у большинства деревенских баб, муж – на фронте, а в старенькой, покосившейся избе – трое... Правда, старший – Павел – в свои 11

лет вполне справляется с обязанностями «мужика в доме»: и скотину обиходит, и в хозяйстве – первый мамкин помощник, и за младшими – Валентином и Татьяной – присматривает. Одно плохо: уж чересчур боек и любопытен. Бабка-мачеха Марья, проводившая на фронт единственного родного сыночка Михаила, хотя души не чаяла в неродном внучке, не называла его иначе, как «пострел». Где вспыхнет яростная пальба, завяжется бой между немцами и партизанами, Павел с дружками-одногодками тут как тут. А после взахлеб рассказывает матери:

– Ух ты... Шо было, ма... шо было! Наши как вдарят: тра-та-та-та... А фрицы на погребке спрятались и оттуда: тра-та-та-та... А нам с Колохой с ихнего чердака все видать... Как на ладошке...

От таких рассказов у бедной Нюши сердце заходится и душа обмирает от страха:

– Ох, малый... Ты ба лучше дома сидел, не лазил ба по чужим чердакам... Долго ль до греха? Убьют ведь... А дома, говорят, и стены помогают...

– Не убьют!

А у нее под сердцем нет-нет да и толкнется дитё: была уже на сносях, не сегодня-завтра предстояло рожать.

Верно говорится: от судьбы не спрячешься, не убежишь. Кому что на роду написано...

Стены не помогли. Домишко был старый, бревна трухлявые. В жестоком морозном январе 42-го наши стали вышибать немцев из окрестных деревень. По всей Троице поднялась страшная стрельба. Строчили пулеметы, рвались снаряды, горели дома, гибли люди и домашний скот.

Нюша с ребятишками, крестьясь и ойкая, сбились кучкой на дедовском рундуке. В дверь заглянул пробежавший мимо немецкий солдат, исчез. А через минуту-другую в хату заскочил красноармеец:

– Чего расселись, как на именинах? В погреб ховайтесь...

Нюша крепче прижала к груди годовалую Татьяну, Павел мертвой хваткой вцепился в материнский подол. Увалень Валентин что-то замешкался.

Со двора донесся одиночный выстрел: это красноармеец хотел пулей догнать удиравшего фрица. Промаяхнул. А тот, убегая, не целясь, хлестанул в ответ автоматной очередью. Пули не задели красноармейца, но, как вату, прошили трухлявые бревна избы... Одна угодила в голову Валентина. Мальчишка был убит наповал.

Ударился в рев насмерть перепуганный Павел. Зашевелилась в пеленках проснувшаяся Татьяна. Под сердцем горячо и требовательно толкнулось дитё.

Почти обезумев, плохо соображая что делает, что происходит, в чем была, не прихва-

тив ни вещей, ни продуктов, Нюша бросилась с ребятишками вон из собственной избы (сообразуясь лишь с инстинктом самосохранения). Бежали, не разбирая дорог, через лес, через поле, по снегу, то проваливаясь по пояс в сугробы, то скользя по льду схваченного морозцем наста.

Куда? Зачем? К кому?

В соседнюю деревню – Курбатово. К старшей родной сестре Пелагее. По слухам, из Курбатова немцы ушли еще в декабре и больше не появлялись. А Пелагея как старшая – примет, укроет, приютит, не прогонит.

И точно. На сей раз не ошиблась, не просчиталась. Пелагея приняла, укрыла, не прогнала. Хотя у самой на фронте – муж Егор Гордеевич и старшенький сын Михаил, а по лавкам – мал мала меньше: Мария, Николай, Иван, Витёк, Нюра (да перед войной схоронила сгоревшего от непонятной болезни самого младшего – Сашу).

Больше месяца прожила Нюша в Курбатово у старшей сестры. Здесь же родила двойню – мальчишечку и девочку. Девочка почти сразу умерла, пацанчика назвала именем убитого немцами Валентина. А Танечку, доченьку любимую, тоже не уберегла. Схоронила за околицей, рядом с погибшим от случайной пули сыном и братскими могилами павших при освобождении местной округи красноармейцев.

Сколько же горя принесла в каждую семью проклятущая война! Сколько слез пролито над скупыми сообщениями-похоронками! «Ваш сын (отец... брат...) пал смертью храбрых в боях за социалистическую Родину...»

Не вернулись домой, в родные юхновские края, ни единственный сыночек бабки-мачехи – Михаил, ни муж Егор Гордеевич и старшенький, тоже Михаил, курбатовской сестры Пелагеи, ни законный супруг Нюши Калиничевой, ни принявшийся было к ней солдат Федор (отец второго Валентина), отставший при отступлении от своей части, а позже снова призванный в армию. Пали смертью храбрых.

А если вспыхивали в то безмерно тяжкое и горькое время огоньки радости, то были они редки и мгновенны – 9-е Мая, конец войне (крепка оказалась советская власть, не по зубам Гитлеру и его военной машине)... А месяцем раньше ходила Нюша к знакомой деревенской бабке-гадалке, и та клятвенно заверила ее: жива в далеком городе Ленинграде их с Пелагеей младшая сестрица Евдокия (18-летней девушкой уехавшая в 1936 г. на поиски счастливой доли)... Жива и вскоре подаст о себе весть.

И ведь не обманула, старая! В том же 45-м, уже по осени, пришло в Троицу письмо из далекого города Ленинграда. Сестра Дуся сообщила родным и близким, что не только выжила сама в лихую фашистскую блокаду, но сохранила и уберегла родившегося незадолго

перед войной сына Юрика. И, читая это письмо, Нюша не могла сдерживать рвущихся из груди рыданий и не утирала струившихся по осунувшимся щекам слез. Но то были слезы радости и счастья, а не испытанных в недавние времена печалей...

И такие же счастливые мгновения поддерживали ее в сухие жаркие дни июля 1949-го. Когда в сельской больничке, под присмотром врача и опытной фельдшерицы Марии Федоровны, без больших усилий произвела на свет очередного ребенка. Мальчика. Правда, тот же врач в начале беременности после тщательного осмотра осторожно завел речь о нежелательности предстоящих родов. Мол, подумай, Нюша, хорошенечко, взвесь. Сердце с пороком. Организм ослаблен. И вообще... Время на дворе – не самое подходящее для того, чтобы беззаботно рожать. Всего четыре года, как отремела война... Работы в колхозе – не сахар... Жизнь суровая, впроголодь. На заработанные трудовни – шиш под нос да редьки хвост. Детишек ни прокормить, ни одеть-обуть...

Нюша только усмехалась. Те же слова он говорил и тремя годами раньше, когда она вновь забеременела, уверяя всех и каждого, что жива не будет, а родит девочку. Память о потерянной Танечке щемящей занозой сидела в сердце, не давала покоя ни днем, ни ночью. А тогда, три года назад, время было еще тяжелыше. 46-ой. Первый послевоенный. Засуха. Недород. Голодуха. Ничего! Выжили. Справились. Зато в ее доме стало на одного мужика больше. К Павлу и Валентину прибавился кареглазый большелобый Алексей.

Само собой, соседки-подружки осуждающе качали головами. Упрекали в глаза, злословили за спиной – дескать, дура Нюшка, совсем с ума сошла...

Хорошо им было упрекать и злословить! Чудом не чудом, но их мужики вернулись с войны. Живые и здоровые. К Нюраке Шишковой – ее Михаил (стал председателем колхоза), к Нюраке Ивкиной – ее Митрий (возглавил Троицкий сельсовет), к Пашке Александровой – ее Сашок (стал заведующим складом)... И бабы как с цепи сорвались, принялись рожать в нелегкие послевоенные годы не меньше, чем до войны, когда в каждой деревенской семье было не меньше четырех-пяти ребятишек. Видно, намаялись, бедные, без мужиков-то за четыре военных года!.. Бросились наверстывать упущенное. В каждой избе – писк, визг, колготня.

А чем она хуже? Ах, да! Нет законного мужа. Ну, на «нет», говорят, и суда нет. А девочку она все ж таки родит. Главное, имя уже есть, не надо ничего придумывать. В память той, незабвенной, что лежит под вербами за Троицкой околицей рядом с убитым немецкой

пулей первым Валентином и братскими захоронениями погибших здесь красноармейцев.

...Роды прошли благополучно. Ах, опять мальчик? Ну, ничего. Зато, как назвать – долго голову не ломала. МИХАИЛ. В честь погибших Михайлов – старшего сына курбатовской сестры Пелагеи и единственного родного сыночка престарелой бабки-мачехи. Пусть живет и здравствует за себя и за них.

ДЕТСТВО. Своего старшего брата Павла он впервые увидел, когда стал уже что-то помнить и соображать.

В сороковые-роковые Советская власть, штопая дыры в порушенном войной народном хозяйстве, придумала оригинальный выход из тяжелого экономического положения: добровольно-принудительную вербовку молодежи в те места и в те отрасли, где это самое положение было особенно аховым.

Сегодня 14-16-летние подростки и 18-летние великовозрастные балбесы, не желая ни учиться, ни работать, маются целыми днями от безделья или находят себе утешение в куреве, пьянках, наркотиках, раннем сексе. В описываемые времена проблем ни с учебой, ни с трудоустройством не наблюдалось. Особенно в сельской местности. В сельсовет из райцентра поступал приказ-распоряжение: по данной местности обеспечить вербовку такого-то количества молодых людей для отправки на нуждающиеся в рабочей силе заводы Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана.

В суровые времена «отца всех народов» приказы-разнарядки обсуждению не подлежали (не по этой ли причине сегодня полстраны ностальгирует по канувшей в Лету «сталинской эпохе»? Мол, **тогда** были порядок и дисциплина, а **сейчас** что: бардак, анархия...).

Не выполнить распоряжений «сверху» равнялось преступлению. За преступления полагались суровые кары, вплоть до «высшей меры». Работники на местах вытягивались в струнку и брали под козырек: «Есть! Будет исполнено!»

И исполняли. То есть «гребли» всех подряд, кого только было можно, не считаясь ни с желанием, ни с состоянием здоровья, ни с домашними обстоятельствами.

У курбатовской Пелагеи Степановой (родной сестрицы Нюши Калиничевой), получившей похоронки на мужа и старшего сына, одной растившей пятерых детей, в 43-м году «завербовали» старшую дочь, 16-летнюю Марию. Товарным вагоном отправили в слыхом никем не слыханный город Кемерово. А через какое-то время подошла очередь следующего – Николая.

Но уж, как говорится, «не тут-то было».

Кто-то когда-то обронил крылатую фразу: «Суровость российских законов компенсируется их неисполнением». Не в бровь, а в глаз!..

Крута и частенько несправедлива была со своими подданными Советская власть. Хотя и называли ее миллионы людей «родной» и «любимой», но на деле больше боялись, чем уважали. А поскольку в России испокон века любая власть (княжеская, царская, императорская, Советская) была крута и несправедлива со своим народом, то и народ чуть ли не на генном уровне выработал в себе правила отношений с ВЛАСТЬЮ: схитрить, уклониться, обмануть, а то и подмазаться, подольститься, откупиться.

Месяца не прожила в Кемерове 16-летняя Мария: сбежала.

Да, полетел с завода в Юхнов растерянный запрос: если у вас случайно объявится – хватайте, шлите обратно. У нас, де, большие проблемы с трудовыми резервами.

Ага. Щас. Ждите. Готовьтесь встречать с флагами и цветами.

Умная Пелагея и в сельсовете с кем надо переговорила, и в Юхнов смоталась, кому – конвертик с хрустящими ассигнациями, кому – сальца с мясушком, кому – медку липового (продолжала держать заведенную еще убиенным на поле брани мужем Егором Гордеевичем пасеку, сама научилась ходить за пчелами и детей у тому же приспособила). В общем, любыми правдами и неправдами выхлопотала для Марии чистый паспорт. И устроила дочь в том же Юхнове в мастерскую швей-мотористкой. А чуть позже спровадила к младшей сестре Евдокии в далекий город Ленинград. От греха подальше.

Почти то же самое спроворила и с сыном Николаем. Какой Урал? Какая Сибирь? У государства народу – пруд пруди. А ей, одинокой вдове, кто будет помогать растить, ставить на ноги ораву несовершеннолетних? Ивана, Витька, Нюрочку? Нет! Никаких вербовок! Пошли они к чертовой матери!

Подучила малого, как от комиссии отвертеться, какое-то время прятала-укрывала своего Колюшку то в чулане, то в сарае, то в погребе.

Милиционер, бывало, нагрянет:

– Где сын?

– Знать не знаю, ведать не ведаю. Вы ж его на комиссию отправили, это я у вас должна спросить – где мой сын?..

– Ох, тетка, не хитри, не придуривайся... Советскую власть не проведешь. Говори по-хорошему, где сына прячешь? Не то хуже будет...

– Да куды хуже, милый? И так все глазыньки ночами проплакала... Девка молодая в чужом городе, сын незнамо где... За что мне такие горя-напасти? Мужа в войну потеряла, старшего немцы убили...

Как пойдет причитать-жалиться, хоть святых из горницы выноси... А сама к тому времени уже стол накроет, угощение выставит –

да какое угощение!.. По тем голодным временам лучше не придумаешь: и яйца, и молоко, и сметана, тут тебе и похлебка с куском жирной свинины, и лапша, и мёд... Ну, и бутылочка самопальной сорокаградусной, конечно, същется... Выгробала из закровов последнее, НЗ... не скупилась. Хитрости и изворотливости было не занимать.

У милиционера от гастрономических соблазнов в голове – полный туман. Он пыхтит, сопит, голодной слюной исходит. Да, на плечах погоны с маленькой звездочкой, в кобуре наган всамделишный, он – сила, он – власть. Но язык уже не поворачивается уличать неосознательную гражданку. В животе бурчит, глаза по столу шарят, разбегаются.

Тяпнет стакан сорокаградусной, закусит чем Бог послал, да еще с собой чего пожирней-повкусней-послаще прихватит (кусман сальца, бутылочку меда), и пойдет, пошатываясь, из хаты...

Умела, умела курбатовская Пелагея находить с ВЛАСТЬЮ общий язык. А через год-другой проводила парня в армию – на том и конец мытарствам.

Нюша таким умом, такой хваткой сроду не обладала. Не тот характер, не та натура. Хитрости – никакой. С изворотливостью и сообразительностью – тоже проблемы. Проста была как ребенок. Что ей ни скажут – всему верила, любому приказу начальства подчинялась беспрекословно.

В том же 49-м, когда родила Мишку, отравила старшего сына Павла в город Тулу, «на шахты». Родина сказала – «надо», простодушная женщина ответила – «Есть!»

Осталась одна с малыши ребятишками. Как жить? На что жить? Странно – не странно, но такие вопросы почему-то не приходили ей в голову. Не с ее простецким умом было пускаться в философские рассуждения. А если закрадывались иной раз в голову мысли-сомнения, то только одного плана: как бы не помереть невзначай, не осиротить малых деток. Сама-то, считай, выросла в сиротстве. Мать – Аксинья – померла, когда Нюше не было и восьми. Отец – Егор – с тремя девчонками на шее женился на соседке, невзрачной Марье, жившей после смерти мужа с несовершеннолетним сыном Михаилом. И вскоре тоже помер. Не дай, Бог, и ее детушкам такой же судьбы, такой же участи. Спаси и сохрани их, Царица небесная, пресвятая Матерь Божья!

От рождения не знала никаких молитв (кто бы научил ее святым молитвам в разгар бесовского атеизма в стране?), но сердцем, женской и человеческой сутью своей в трудные минуты мысленно не раз обращалась к Отцу Небесному. А кого еще было молить о помощи, о заступничестве? Не председателя же колхоза, озабоченного «первой заповедью»:

сначала сдай плановые поставки родному государству, а потом уже дели остатки урожая между рядовыми колхозниками по трудодням (хотя на практике делить уже было просто нечего: всё выращенное и собранное уходило подчистую в «закрома Родины»). Не секретаря же колхозной парторганизации, читавшего на политинформациях газеты – центральную «Правду» и районную «брехушку», где через строчку, а то и на каждой строке лились праздные славословия в адрес «родного и любимого» Сталина, «родной и любимой» партии, «родного и любимого» государства.

Жила как все. Вламывала в родном колхозе имени Ленина до седьмого пота – с утренней зари до темной ноченьки – косила, возила, пахала, сеяла. Куда бригадир пошлет – туда и шла. Не спрашивала – куда, зачем, почему. Не отговаривалась ни одолевающими хворями, ни тем, что дома – трое полуголодных ребятишек, старшему из которых (Валентину) нет и десяти.

Не секрет, что в послереволюционные годы индустриализацию страны рабоче-крестьянское государство осуществило в кратчайшие сроки за счет деревни, за счет нещадной эксплуатации бесправного сельского жителя. За его же счет после войны намечалось в кратчайшие сроки восстановить порушенное вражеским нашествием народное хозяйство. Чтобы, удивляя и восхищая весь крещеный мир, семимильными шагами двигаться дальше – к сияющим вершинам коммунизма.

Поэтому основная тяжесть проблем «восстановления» вновь легла на плечи миллионов т.н. «простых» людей, привыкших трудиться за дарма день и ночь. Не ропща, не проклиная, не задавая лишних вопросов.

И Нюша Калиничева была рядовым солдатом в той бесчисленной армии бесправных и бессловесных тружеников и тружениц. Родина говорила – «надо»... что могла сказать в ответ простодушная деревенская женщина? Только одно – «Есть!»

И бралась натруженными, в мозолях, руками за рычаги тяжелого плуга... валила на лесозаготовках ручной пилой сосны и ели в два обхвата, не всегда соображая, куда упадет спиленное дерево... трудилась на отсыпке и строительстве дорог... ходила в ночные обозы... ворочала на элеваторе многопудовые мешки с зерном... А прополка свеклы, капусты, картофеля на бескрайних колхозных полях! А их уборка по осени – без помощи какой бы то ни было механизации, вручную!

А дома – неухоженные, заброшенные, полуголодные ребятишки. И самой кушать хочется так, что скулы сводит и бесконечно сосет-сосет под ложечкой. Заработанного на колхозные трудодни едва хватало на два-три осенних месяца. Дальше – ешь что хочешь, выживай как знаешь. Выручали подсобное хо-

зяйство, личное подворье, усадьба и огород. Пробовала держать корову (но для нее сколько сена нужно заготовить на зиму!)... сажала картошку (усадьба в десять-пятнадцать соток – норма для каждого нормального колхозника. Вот только вопрос: кто и когда ее обрабатывает?)... целыми днями крутилась как белка в колесе, билась из последних сил, чтобы не пропасть самой и хоть чем-то накормить своих «галчат».

А тем, случалось, и на улицу выйти было не в чем. Ладно еще, что чем могли помогали добрые люди – соседи, да изредка присылала или привозила кой-чего из одежды своего быстрорастущего сына Юрика ленинградская сестрица Дуся: то пальтишко перелицованное, то зимнюю шапку, то ботиночки (Мишке эти скромные городские подарки были великоваты, а для Валентина – в самый раз).

Слово «булка» и сам пшеничный белый хлеб в натуре Мишка увидел и услышал лишь на третьем или четвертом году жизни. Когда впервые после войны приехала в Троицу тетка Дуся из Ленинграда (в отпуск, на положенные по тогдашним законам две недели) и привезла «гостинчик». Впрочем, в этом плане Мишка не был каким-то несчастным исключением. У сельских ребятишек в 50-ые гг. и ржаной черной хлебешек был в радость (пусть мука вперемешку с мякиной, с крапивой да лебедой). И того не ели вволю... Нет, с голоду уже не пухли, от истощения их не шатало, но ни сытости, ни разнообразия в рационе питания не наблюдалось: основным продуктом почти в каждом деревенском доме оставалась картошка – в любом виде: вареная, печеная, жареная.

...Да, законного супруга, как у других женщин, у Нюши Калиничевой так и не появилось. И все же была семья, связанная силой взаимной любви, общих забот и ответственности. И пусть родились ее дети от разных отцов, и характерами не походили друг на дружку, Нюше все они представлялись похожими, а значит – родными. Хотя иной раз казалось: сама судьба с рождения отметила их детские личики печатью полусиротства и обездоленности, не суля и в будущем ничего хорошего.

В общем, жила Нюша, как могла, как умела, обычной деревенской жизнью – с минимальным количеством радостей и нескончаемыми хлопотами, тяжким трудом. Ну, и мысли свои – той, потаенной насчет девочки – не оставляла. И в 53-м, когда вся страна, весь мир на какой-то миг обмерли, ошеломленные: «...в Москве на 73-м году жизни скончался Великий Сталин...», Нюша Калиничева взяла да и осуществила давнишнюю мечту-задумку: в той же деревенской больничке, под чутким присмотром подруги-соседки, фельдшерицы Марии Федоровны, родила долгожданную девочку, Танюшу... А за плечами – всего-то чуть за тридцать. И натура от приро-

ды – общительная, озорливая, жизнелюбивая. Пусть сердце слабое, пусть обмороки часто случаются, пусть живется не легко и не сладко, а хочется еще и погулять, и поплясать, и частушек озорных попеть. Ведь даже в будние дни, после работы, местная молодежь собиралась «на улицу»: орали под гармошку, надрывая голосовые связки, калужские «Страдания», били стоптанными каблуками частые дробы о земляную твердь, кружились, в основном, «шерочка с машерочкой» в попури из кадрили и краковяка (танго и фокстроты пришли из города гораздо позже – ближе к 60-м)... Что уж говорить о праздниках? Да, жили трудно, впроголодь. И все равно дружно, всей деревней, отмечали и Первомай, и 7-е Ноября, и Пасху, и «престолы» (в каждой деревне был свой «престольный день»: в Троице – 2 августа, день св. великомученика Ильи-Пророка).

А частенько и с сенокоса, и с прополки, и с лесоповала, с косами, граблями, или с пилами, топорами возвращались со смены домой под любимую песню – «Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой...». И Нюша пела вместе со всеми, и радовалась невесте чему, и забывала о своей неустроенной жизни, полной забот, хлопот и печалей. И такой запомнилась она Мишке в его раннем босоном детстве. Что он понимал тогда? Что мог оценить? В детстве – какие заботы? Какие – трудности? Солнце светило ярко, трава была зеленая, небо – голубое. И мать – самое родное и близкое существо – всегда рядом.

А если кто невзначай обидит, за него было кому вступить – как из-под земли вырастали старшие братья: Лешка и Валентин. Но долго ли длится детство?... По бесстрастному календарю, от младенчества до юношества, лет 10-13, не больше. И все-таки каждому человеку почему-то представляется долгим-долгим, почти бесконечным, и запоминается на всю последующую жизнь как что-то самое светлое, самое счастлирое. Запоминается отдельными яркими эпизодами: зимними катаниями на самодельных салазках с крутых троичских горок... беготней по снегу в дырявых, больших, не по ноге, валенках... а особенно – длинными летними днями и их неописуемой благодатью: солнцем, жарой, мягкой шелковистой травой, купаниями до посинения в тихой Тече... вылазками с друзьями в лес по грибы и ягоды... набеги на чужие сады... дружные ребячьи компании.

И в зрелые годы память не хочет хранить такие воспоминания, как грязь, нужду, тяжкую постылую работу (бесконечные прополки огорода, пилку и заготовку дров на зиму, таскание тяжелых ведер с водой). Помнятся только игры, шалости, легкие радостные мгновения безгрешных детских лет.

ШКОЛА. Троица считалась главной деревней колхоза имени Ленина. Здесь располагались правление и сельсовет, работал местный молокозавод, до войны и короткое время после войны были на речке Тече запруда, и мост, и мельница. Да что мельница! Функционировали клуб и своя деревенская библиотека. А вскоре после Мишкиного рождения в хатах троичских жителей загорелись «лампочки Ильича» – в деревню провели электричество. До этого обходились – кто прадедовской лучиной, кто – трехлинейной керосиновой лампой. Керосин, правда, экономили: и стоил недорого, и доставался не без трудностей.

Чего в Троице не было, так это школы.

И в царские времена, и в советские считалось (и, наверное, справедливо), что строить в каждой деревне свою школу – чересчур накладно. Одно строительство могло влететь государству в кругленькую копеечку (местного бюджета в природе не существовало, всё было сосредоточено в руках «центра», а «центру» разбазаривать средства на такую мелочевку, как деревенские школы, было не с руки. У «центра» болела голова от глобальных проблем: наращивать промышленный потенциал страны, вооружать советскую армию современным оружием, соревноваться с проклятыми империалистами в области ядерных и ракетных разработок. А помощь слаборазвитым странам, вставшим на путь социалистического развития! А поддержка революционной борьбы народов Африки и Латинской Америки!

Да мало ли проблем у «центра»? Где уж там строить школы в глухих российских глубинках, содержать прожорливую армию учителей, от которых проку, как от козла молока. А зарплату им плати, а жилье предоставь, а дровами снабди... Перебьются!).

Неполная школа-семилетка была в соседней деревне – Еремине. Туда бегали ребяташки со всей округи: из Курбатова, Салопихина, ну, и конечно, Троицы. Сбивались в дружные ватажки (а кто опоздал – в одиночку), и каждый божий день бежали мальчишки и девчонки – от 7 до 14 лет – за несколько километров от дома учиться, учиться и учиться.

Ранней осенью (начало сентября) или, наоборот, ближе к маю такие прогулки по утрам были не в тягость: одно удовольствие прогуляться в хорошую погоду лесочком, пронизанным светом и солнечными лучами, до школьного порога. А каково совершать те же ежедневные «прогулки» в хмурые октябрьские и ноябрьские дни? В холодрыгу, слякоть и непогоду? Когда в семь-восемь утра на дворе еще темь непроглядная, и ветер пронизывает до костей, и с вечера зарядил нудный осенний дождик? А зимой, когда наметет сутрбов, да ударят морозы градусов этак под двадцать? Ничего. Бегали. Не роптали. Учились. Наби-

рались знаний и первого жизненного опыта. И на собственной шкуре, с детского нежного возраста, постигали простейшую истину: житье в сельской местности существенно отличается от городского. Причем, в худшую сторону. И, постигнув сию немудреную истину, при первой же возможности (когда к власти пришел Хрущев и распорядился не препятствовать в выдаче колхозникам на руки паспортов) дружно рванула сельская молодежь, как ставшие на крыло птенцы, из родных деревенских гнезд – по всему необъятному Союзу.

Известно: первая волна миграции (20-е – 30-е годы, создание колхозов, раскулачивание и прочие «прелести» большевистских реформ) была спровоцирована самим рабоче-крестьянским государством и даже как бы им поощрялась: строящаяся в СССР ударными темпами индустрия (промышленные гиганты первых пятилеток), как прожорливый купринский Молох, требовала постоянного притока рабочей силы. А где ее было взять? Откуда? Вот и закрывало глаза родное советское государство на повальное бегство из деревни тех, кто не был в восторге от эксперимента с коллективизацией или каким-то чудом уцелел при «раскулачивании». Бежали бывшие деревенские «мироеды» в города, поступали на заводы и фабрики, вливались в ряды «тегемона»-пролетариата и тем самым спасали себе и своим близким не только репутации, но часто и жизни.

Вторая – то бишь хрущевская – волна миграции стала следствием естественного ослабления драконовского режима после кончины железного диктатора. К слову заметить, эта миграционная волна смыла из Курбатова всех пятерых детей Пелагеи Степановой. Вслед за Марией подался к тетке Дусе в Ленинград с семилетним образованием Иван (уже оттуда ушел в армию, а после «дембеля» сманил к себе старшего брата – Николая). Окончив в Шелканове школу-десятилетку, поступил в военное училище Виктор, стал техником по эксплуатации самолетов, дослужился до капитанского чина, выйдя в отставку, поселился в Калуге. Анна, младшая из Степановых, с аттестатом зрелости тоже отправилась в Ленинград, и хоть в институт не попала, закончила медучилище и получила по распределению направление в Кисловодск, где благополучно проживает по сию пору, родив, выучив и вырастив двух прекрасных дочек – Лену и Свету (у обеих уже свои семьи и свои дети).

Все четверо ребят Калининцевых (наряду со сверстниками из Троицы и других окрестных деревень) тоже постигали в Ереминской школе азы неполного среднего образования. Трое мальчишек и девочка. Но учились все по-разному, способностями Бог наделил каждого не одинаково.

Особым умом и способностями выделялся средний брат – Алексей. Ему почему-то учеба давалась легко и просто. И дневник, как правило, пестрел лишь четверками и пятерками. Причем, преимущественно последними. Что гуманитарные науки (литература, русский язык, история), что – точные (математика, физика, химия), и даже иностранный язык (немецкий) – не представляли для него особых трудностей.

Мишка, учившийся тремя классами ниже, усевшись вечером делать уроки, бывало, заканчивит плаксиво и льстиво:

– Лёх, а Лёх...

– Чего тебе? – сам Лешка с легкостью необыкновенной давно уже справился с домашним заданием и сидит рядом на лавочке, уткнувшись носом в интересную книжку (читал много и запоем).

– Помоги задачку решить...

– По какому предмету?

– По алгебре...

– Ну, давай.

Лешке решать задачи – что по алгебре, что по физике – как семечку разгрызть. Светлая голова. Выдающиеся дарования. Он и старшему – Валентину – заканчивавшему седьмой класс, мог по любому предмету что-то подсказать, объяснить, помочь.

Валентин учиться недолюбливал. Но с ранних лет открылся в нем необыкновенный музыкальный талант. Павел – к тому времени уже взрослый самостоятельный человек – уехав в Тулу, оставил в материнском доме старенькую потрепанную гармошку (самостоятельно выучился пикивать на ней, подбирая мелодию на слух). Валентин еще до школы по собственной инициативе освоил инструмент и так увлекся, что казалось – кроме гармошки, для него на белом свете больше ничего не существует. А в школе учился так: шалый-валяй. Не выучил урока – хрен с ним. Схватил очередную «пару» – гори она ясным пламенем! Зато часами мог сидеть на полу в хате, скрестив ноги по-турецки, и самозабвенно терзать кнопки дышащей на ладан тульской трехрядки.

С грехом пополам осилив семилетку, Валентин уехал к старшему брату Павлу под Тулу, в шахтерском поселке поступил в ремесленное училище, до армии успел получить профессию шофера, которая определила всю его дальнейшую судьбу.

В славной когорте «дальнобойщиков» Валентин Федорович Калининцев свыше трех десятков лет числился далеко не последним человеком. А три года назад вышел на пенсию и хоть покряхтывает от возрастных и профессиональных недугов, но, в общем, к прожитой жизни никаких претензий не имеет. Супруга Мария всегда при нем. Дети – двое – живут своими семьями. Старший – Александр – лет-

чик вместе с женой Оксаной обосновался в Вологде, растит сына и дочку. У младшей – Ирины – тоже две девочки...

У Михаила с учебой отношения складывались по настроению. Мог увлечься чем-то и ответить в классе на «пять». А мог заиграться с дружками и забыть про уроки. В результате – «двойка» в дневнике и пробелы в знаниях. И все-таки, как Валентин, на семи классах не остановился. По примеру умницы Лешки, по примеру двоюродных – Виктора и Анны Степановых – подал заявление в Щелкановскую школу-десятилетку, что была в десяти километрах от Троицы. Трудновато давалась учеба (тем паче, что рядом не было Лешки, ушедшего в армию), далековато было бегать, да и жизнь в середине 60-х не стала намного легче. Но было ясно-понятно: без среднего образования нынче никуда... особенно если понимаешь, что жить придется в городе, а не в разваливающемся на глазах колхозе имени Ленина.

В колхозе в лучшую сторону ничего не менялось. Передававшие друг другу бразды правления председатели либо пили по черному, либо воровали без зазрения совести, действуя по известной поговорке – «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Молодежи в деревне оставалось все меньше. Родная Троица хирела и приходила в запустенье. Ее название еще фигурировало в официальных бумагах – «Троицкий сельсовет», «Троицкая библиотека», но даже правление перебралось в соседнее село Чемоданово, выстроило там новый клуб, здание библиотеки, несколько жилых панельных домов (двухэтажных, с «удобствами» во дворе), открыло два магазина. А в Троице не только ничего не строили, но прикрыли-таки известный на всю округу молокозавод, стоявший на чистейших родниковых источниках, а о мельнице и запруде помнили разве что глубокие старики. А на молочно-товарную ферму (кстати, возведенную в свое время руками студентов из строительного отряда) доярок стали привозить на грузовичке из того же Чемоданова дважды в день – на утренние и вечерние дойки, так как в самой Троице доярки повывелись (пожилые женщины ушли на заслуженный отдых, молодежь разлетелась по городам).

Правда, опять же в свое время – в период относительной стабильности – в Троице открыли сельпо, услугами которого пользовались жители как Троицы, так и окрестных деревень (Курбатова, Салопихина, Полян, Порослиц, Еремина). В 60-ые гг. заведующей магазином стала энергичная инициативная Алевтина Николаевна Соловьева. Нюша Калининцева устроилась в магазин сразу на три штатные должности: уборщицей, ночным сторожем и подвозчицей товаров (возить приходилось на лошадке из Щелканова). Несмотря на одолевающие хвори (давление скакало

как бешеное, сердчишко барахлило, часто случались обмороки), по ее собственному выражению, «старалась захватить все работы» (хотя денег по-прежнему катастрофически не хватало). А на плечах – дом и хозяйство, за которыми, как говорится, глаз да глаз...

Старший сын Павел если и появлялся в Троице, то лишь на пару недель в отпуск, к тому же стал сильно «зашибать». Его собственная семья множилась год от года. Жена – тихая безропотная Мария, которую он не называл иначе, как «комсомолка» – подарила ему трех дочек: Любу, Лиду и Люсю. Естественно, в летнюю пору не станешь держать девчонок в пыльном шахтерском поселке. А куда ж их еще, если не к бабушке, в благословенную Троицу? Только от малявок – какая помощь, какая поддержка? А здоровье у бабушки Нюши год от года все хуже и хуже: то дома отлеживается, то в больницу увезут...

Валентин, отслужив в армии, женился на местной девушке (тоже Марии), но вернулся не в Троицу, а туда, откуда его призывали.

Алексей почти сразу по окончании школы был также призван в ряды Вооруженных сил.

Таким образом, с матерью оставались лишь двое младших – Михаил и Татьяна. Помогали, конечно. Не без того. Татьяна росла девочкой бойкой и смысленной. Унаследовала от матери лучшие черты характера – доброту, душевность, веселый нрав. И в школе училась прилично (как и Михаил, как Алексей закончила Щелкановскую десятилетку). И в доме старалась освободить маманю от лишних хлопот. И на гуляньях была первой певуньей-плясуньей. Парни на нее заглядывались, а матери было ясно как Божий день: ее любимица в девках не засидится.

С Михаилом мать тоже забот не знала. Он и в детстве был смирен и послушен. И, подрастая, хуже не становился. В отличие от многих деревенских дружков-приятелей не пил, не курил, не «выражался». Не был подвержен ни капризам, ни упрямству. С друзьями был ровен, справедлив и приветлив. Со взрослыми – учтив и вежлив.

Выросший в сельской местности, он с раннего детства знал всякую физическую работу, а лень и безделье были ему просто неведомы. В школе хотя и не блистал знаниями и отличными отметками, зато не досаждал учителям грубостями или хулиганским поведением. Характером обладал ровным, хладнокровным, невозмутимым. Кроме учебы (а попробуй кто другой ежедневно походить в школу за 10 км от Троицы до Щелканова) и домашних дел (дров наколоть-принести, скотину обиходить, воды с колонки натаскать... да мало ли мужской работы по дому?), частенько подменял мать на ее работах.

Много позже, вспоминая о том времени, бывшая заведующая Троицким сельпо

А.Н.Соловьева с большой теплотой отзывалась о Ньюшином «заместителе»:

– *Соберемся, бывало, с ним в Щелканово, за товаром, – он и лошадь запряжет, и тару загрузит, и за возчика сам сядет. Дороги наши, сами понимаете, ужасные... путь не близкий... а уж он так ловко с лошадью управляется, что иному взрослому мужику фору даст... Каждую колдобину объедет, через каждую ямку как по маслу телегу прокатит. Ладно, туда еще порожняком едем... А оттуда – ведь сколько товара возем: банки, бутылки... Того и гляди побьются. Я вся изнервничаюсь, испереживаюсь... А он – спокойный такой, невозмутимый. «Ничего, – скажет, – Алевтина Николаевна, не бойтесь, довезем...» И правда! Ничего не попортит, не побьет, доставит в лучшем виде. Привезем в магазин, я только показывать успеваю да пересчитывать – что у меня где... куда сгрузить, куда поставить... А он: ящики таскает, упаковки таскает. «Давай, – скажу, – Миша, помогу...» «Не надо, Алевтина Николаевна, сам управлюсь... Вам еще работать». Ведь я и за заведующую была, и за продавца... «А я, – скажет, – сейчас разгрузусь, и свободен...» А какой – свободен! Ему и уроки учить, и по дому матери помогать. Ньюша-то совсем больная была. Но ребята у нее – золотые. Таких днем с огнем поискать – не найдешь...*

И о ней, Алевтине Николаевне Соловьевой, и Ньюша Калиничева, и Михаил всегда позже вспоминали с такой же теплотой и благодарностью:

– *Нет, правда... – это буквально Мишин отзыв, слово в слово. – Мать, бывало, схватится – в доме шаром покати. И денег – ни копейки... Бежит к Соловьевой: «Алевтина Николаевна, выручай! Ради Бога...» Наберет в долг: хлеба, макарон, крупы разной. Павловым девчонкам – конфет, пряников... а то из одежды, из обуви – мне ли, Татьяне... Николаевна никогда ей не отказывала. «У тебя дети, Ньюша, – скажет. – Я понимаю...» А ведь рисковала! Мало ли ревизия какая, или еще что. Недостача. Подсудное дело...*

Да что там говорить. Деревня никогда-то не жила богато. А уж как жила одинокая, не блещущая здоровьем, уже в возрасте, женщина – Анна Егоровна Калиничева – об этом без комочка в горле и душевной дрожи ничего не скажешь, не напишешь.

АРМИЯ. За год до призыва случился с Мишкой запомнившийся ему на всю жизнь эпизод его кратковременного пребывания в Ленинграде.

Позади школа. Что дальше? Павел и Валентин усердно звали брата к себе под Тулу. Михаил предложение отклонил. Умница Лешка в то время сам пребывал, что называ-

ется, между небом и землей: заканчивал армейскую службу и колебался в выборе дальнейшего местожительства и работы (позже с женой Тamarой поселится в поселке Детчино, получит сначала квартиру, потом коттедж, будет главным инженером большого совхоза, вступит в партию – словом, заживет вполне благополучно: вырастит и воспитает хорошего сына и хорошую дочку... но все это будет много позднее).

А в Ленинграде у Мишки было полно родни: тетка Дуся, тетка Поля (продавшая дом в Курбатове и перебравшаяся на житье к сыну Ивану, жившему в те поры в общежитии на улице Кременчугская), старшие двоюродные братья – Иван и Николай Степановы (работали стропальями на железной дороге), старшая двоюродная сестра Мария (по мужу – Тюрина). И вот с аттестатом зрелости в кармане Михаил рванул в северную столицу.

Но тут случилась осечка. Подавать документы на дневное отделение какого-либо института он не решился (понимал, что шансы поступить, пройти по конкурсу равны нулю), а на предприятие, тем паче с общежитием, его категорически брать отказывались. Причина – элементарная. Не сегодня-завтра парня «загребут» в армию – какой смысл предприятию или учебному заведению среднего уровня связываться с потенциальным призывником?..

Сам бы Михаил, с его робким, стеснительным характером, с его деревенской закваской, получив, что называется, от ворот поворот, тут же бы смутился, отступил и повернул оглобли назад. Он не принадлежал к категории тех нахрапистых натур, которые идут напролом, прошибают лбом любые стены и в конце концов либо добиваются своего, либо сворачивают себе шею... Михаил жил по другим принципам: не вышло, не получилось – значит, не судьба. Значит, надо паковать чемодан и возвращаться туда, откуда прибыл.

Двоюродный брат Иван Степанов был другого мнения. В свое время он на собственной шкуре испытал все сложности и трудности, связанные с проблемой «внедрения» деревенского жителя в городскую среду. «Зацепился» сам, помог «зацепиться» родному брату Николаю (при активной помощи и поддержке ленинградской тетки Дуси и ее мужа – Ефима Харитоновича, на первых порах прописавших Ивана в Ленинграде и устроивших его на железную дорогу).

Теперь Иван был преисполнен непоколебимой решимости помочь «зацепиться» в городе двоюродному брату Михаилу.

И преуспел! То ли вычитал объявление в газете, то ли услышал «объяву» по радио, но как-то в одно прекрасное утро велел Михаилу собираться, сел вместе с ним на электричку и повез брата в пригород Ленинграда, где местное двухгодичное профучилище набирало

абитуриентов на обучение различным, нужным городу специальностям. Причем, платило приличную стипендию и предоставляло общежитие.

Это было то, что нужно.

Бескорыстная опека старшего брата на всю жизнь оставила в душе Михаила неизгладимый след. Восхищение. Благодарность. Признательность. Человек равнодушный, коммуникабельный, любознательный, пытливого ума и щедрого сердца, Иван попытался и младшему брату привить те же качества – любознательность, желание побольше узнать, увидеть, постичь.

Не проходило дня, тем более выходного, чтобы они не побывали в каком-нибудь музее, не съездили бы на автобусную экскурсию за город, не побродили бы по памятным местам прекрасного города на Неве. Театры. Зоосад. Парк имени Ленина на Петроградской. Цирк неподалеку от Невского. Петропавловская крепость – с ее мрачными казематами и гробницами российских государей. Зимний дворец – с его всемирно известным Эрмитажем. Прекрасные дворцы бывших вельмож и царедворцев на великолепном Невском проспекте, на набережной, в загородных резиденциях – Гатчине, Пушкине, Ораниенбауме... Медный всадник, «Аврора», Акрополь в Александровской Лавре (Иван, кстати, жил недалеко от Лавры).

В бывшей столице царской России было куда пойти, на что посмотреть. Вся 250-летняя история великого города представляла собой целый пласт русской национальной культуры. У Михаила буквально дух захватывало от восторга, от переживаемых впечатлений.

Эти походы, поездки, беседы многое дали застенчивому деревенскому пареньку. Расширили кругозор. Пробудили интерес к прекрасному. Научили видеть мир во всем его богатстве и разнообразии. Это только кажется – мгновения, мелочи...на самом деле это – сама жизнь с ее светлыми вехами...

К сожалению, закончить профучилище Михаилу так и не удалось. Повестка из райвоенкомата на три суровых года определила его дальнейшую судьбу.

...Шахтеров, как и металлургов, как людей иных «горячих» профессий в армию не берут. Но и до пенсии, до глубокой старости из них редко кто доживает. «Сгорают» раньше срока от последствий профессиональных болезней. Шахтеры – в основном, от силикоза легких. Кто-то спивается. Кто-то гибнет на опасном производстве.

Рано ушел из жизни Павлов дружок-одногодок и земляк Эрик Жиглов из Еремина. Перехоронил Павел и еще нескольких друзей-приятелей. Сам к сорока уже заимел II группу инвалидности, похудел, осунулся – чистый

скелет на двух ногах. Но пить все равно не бросил. Как, впрочем, и курить.

Кроме него, все трое парней Калиничевых выполнили свой патриотический долг перед Родиной. Исполнили, как записано в Конституции, «почетную обязанность гражданина СССР» (как, впрочем, и все их двоюродные братья Степановы из Курбатова: Николай, Иван, Виктор).

В принципе служба давалась Михаилу легко. Как дома матери, так и начальству в армии он не доставлял особых хлопот. Обладая характером ровным, спокойным, невозмутимым, он отлично ладил и с командирами, и с товарищами по казарме. Тогда еще в воинских частях не укоренились законы нынешнего преступного «беспредела», получившего название «дедовщины».

Ранний подъем был Михаилу не в тягость: он и дома привык вставать чуть свет. Физические нагрузки не угнетали: сказывалась деревенская закалка. Нарушать Устав и прочие армейские требования ему и в голову не приходило: с детства был привержен к дисциплине и порядку.

Но что нравилось в армии: тут не нужно было много думать. Во-первых: весь день был распisan строго по часам и минутам (когда встать, когда лечь, когда идти в столовую, а когда – на занятия по боевой, политической или физической подготовке).

Во-вторых, твои дела и поступки определялись не личными желаниями и капризами, а строгими приказами-распоряжениями отцов-командиров: от взводного сержанта до полковника

К чинам и наградам Михаил был равнодушен, вперед не лез, сзади не отставал, так что за три года не заслужил ни ефрейторской лычки, ни особых благодарностей. Был, как все. Как большинство, по крайней мере.

Единственное, что его стало смущать к концу службы: перспективы жизни «на гражданке». Средним образованием к концу 60-х трудно было кого удивить. Шоферская профессия, полученная в армии, могла, конечно, пригодиться, но... В отличие от брата Валентина его почему-то не привлекала. А другой профессии на руках не было. Кто и чему мог научить подростка в глухой занюханной глубинке необъятной страны? И что ему «светит» после армии в родной Троице? Садиться на трактор? Помогать Алевтине Николаевне в сельпо? Выучиться играть на гармошке? Трескать самогон? Ухлестывать за девчатами? Не привлекало.

И тут – впервые, может быть – за него распорядилась судьба. В часть, где он служил, нагрянули представители Ленинградского института холодильной промышленности. Шел набор абитуриентов на подготовительные курсы. Предполагалось, что закончившие

курсы и успешно сдавшие выпускные экзамены автоматически зачисляются на первый курс дневного отделения.

Михаил подумал-подумал и... решил.

ИНСТИТУТ. Эти пять лет – годы учебы, жития в студенческом общежитии, само пребывание в прекраснейшем, по его мнению, городе мира – Михаил по сей день считает лучшим периодом своей 55-летней жизни.

Сегодня вспоминает об этих годах с ностальгией и умилением. Причем, вспоминается почему-то только самое хорошее, яркое, впечатляющее.

Ох, с какими трудами, с каким напрягом давалась учеба на подготовительных курсах! Кто бы знал... Он и в школе-то не блистал знаниями, не поражал учителей способностями (не то, что умница Алексей). А за три года солдатчины и вовсе все позабыл, не отяготив память азами школьных наук. Ведь не думал, даже предположить не мог, что они ему когда-нибудь пригодятся. Если что и утешало, то только одно: ребята, учившиеся вместе с ним, по части освоения знаний мало чем отличались от него. Такие же дубы и тупицы.

Низкий поклон преподавателям! Не возмущались. Не плевались. Не подтрунивали над горе-учениками. Терпеливо и настойчиво еще и еще раз возвращались к непонятому, неосвоенному материалу: втолковывали, объясняли, буквально разжевывали на мелкие кусочки – оставалось лишь чуток напрячься и проглотить...

Двое или трое из его товарищей все-таки не вытерпели, ушли. В голову Михаила тоже нет-нет да и закрадывалась предательская мыслишка: а не бросить ли все к чертовой матери, не мучить понапрасну ни себя, ни учителей, собрать вещички (там, собственно, и собирать нечего: трусы, носки да две рубашки) и вернуться домой, в родные юхновские края, в родную незабвенную Троицу. Чем там заняться? Можно шофером в колхозе...можно продавцом в сельпо...можно, в конце концов, заделаться трактористом-комбайнером – как молодой муж сестры Татьяны, молчун и трудяга Юра Воронов. На крайний случай – можно написать брату Лешке в поселок Детчино . Лешка, по слухам, выбился в своем совхозе в крупные начальники: главный инженер, депутат райсовета. Примет. Устроит. По-может на первых порах.

Однако самолюбие подсказывало: сколько ж можно на кого-то надеяться?.. Пора и самому проявить упорство и самостоятельность. Доказать другим и себе, что и ты в этой жизни на что-то способен.

Ну, и конечно, поделился сомнениями с братом Иваном. Тот, разумеется, не одобрил пораженческих планов:

– Какая деревня? Какое сельпо? С ума сошел! И думать забудь... Ты этого не говорил, я

этого не слышал. Трудно? А кому легко? Твоей матери всю жизнь было легко? Растить вас, четверых... Или ее сестрам? Или мне?

Иван знал, что говорил. Сам заканчивал вечерний техникум, работал мастером на родной Октябрьской железной дороге. А начинал так же, как Михаил – с нуля. Вернувшись после армии в Ленинград, устроился на работу и поступил в седьмой класс вечерней школы рабочей молодежи, чтобы восстановить подзабытые за годы военной службы знания. После чего подал документы в техникум, на вечернее отделение. Тоже – не семи пядей во лбу, и годочки самые заветные: погулять бы, повеселиться, за девочками побегать... Пожить бы в свое удовольствие. Нет! Вкалывал, как положено, как того требовала производственная дисциплина и врожденная совесть рабочего человека, а вечерами – либо сидел на занятиях в учебной аудитории, либо «грыз гранит наук» в комнате общежития, где особых условий для учебы никто не создавал (сначала жил сам –пят с другими работягами, коллегами по работе, а когда приехала из деревни старая мать, колхозница-пенсионерка Пелагея Егоровна, комендант пошел им на уступки – выделил старухе с сыном отдельную комнату. В нее же позже привел молодую жену, Зинаиду, а там и за первенцем дело не стало, родился сын Сережка) .

Михаил сызмальства привык подчиняться авторитету старших. Послушание и дисциплинированность были у него в крови. Может быть, кто-то и отнесет эти качества к слабости характера (возможно, унаследованного от мамани – мягкой, доброй, безответной Нюши), но лично я полагаю, что не всем в этой жизни назначено быть агрессивными и бескомпромиссными (как, скажем, Мишкина курбатовская тетушка Пелагея Егоровна).

Жесткий откровенный разговор со старшим двоюродным братом повлиял на нашего героя в том смысле, что он отважился последовать благим советам Ивана. И впоследствии не раз и не два с душевной благодарностью вспоминал брата: вот человек! Вот характер! Умел же убедить, найти нужные слова, настоять... (Иван Егорович Степанов прожил до обидного короткую жизнь – умер 50-ти лет от роду, справедливо оплаканный всеми, кто его знал и любил).

Были и другие люди, поддержавшие Михаила в тот период его нелегкой студенческой жизни.

С сердечной признательностью, при каждом удобном случае, вспоминает он пожилую институтскую преподавательницу, которая не только настойчиво убеждала робкого студента не паниковать, не горячиться с уходом из ВУЗа, но совершенно искренне и бескорыстно предлагала свои услуги в качестве репетитора, тратила на него свое личное время, задержи-

ваясь после лекций в опустевшей аудитории, чтобы лишний раз что-то объяснить, растолковать, «довести до ума».

И эта помощь существенно и принципиально отличалась от той, какую в школьные годы оказывал Михаилу брат Лешка. Тот, не мудрствуя лукаво, просто решал **ЗА** брата сложные математические или физические задачи (Михаилу оставалось только переписать готовые решения в тетрадку). Институтская же преподавательница учила студента самостоятельно добиваться нужных решений. Говорила, что на практике, на будущей работе, ему не на кого будет рассчитывать, следовательно, он должен уже сейчас, сегодня, уметь до всего доходить своим умом.

Повторюсь: авторитет старших был для Михаила непререкаем. И он отбрасывал паникерские мысли, садился за учебники, читал, зубрил, старался запомнить, освоить трудно усвояемый материал. Вникал в премудрости точных расчетов. Постигал законы и правила механики. Строчил курсовые работы. Пусть не с первого захода, но в конечном итоге сдавал эти проклятушие переходные экзамены. Пусть с «хвостами» и переэкзаменовками, но перебирался с курса на курс...

А что ему было? Всего-то 25-26 лет!.. Можно сказать, последние годочки перед тем, как оспениться, обездаться семьей, войти в ответственную пору зрелости и полной самостоятельности. Хотелось и погулять, и повеселиться в беспечной компании сверстников, и за девчонками побегать. Ведь парень он был – хоть куда. И ростом, и фигурой, и внешностью Бог не обидел. Случалось, ловил на себе заинтересованные взгляды подруг-однокурсниц. Были «невесты» и на родине, в незабвенной Троице, куда приезжал на каникулы домой к матери (и местные землячки, и приезжие-отдыхающие). В общем, скучать не приходилось. Конечно, и по хозяйству работы хватало. Кто же, кроме него, поможет стареющей больной мамане? Косить, копать, орудовать лопатой, вилами, топором – ему было не привыкать. С раннего детства условия жизни обучили этим наукам. Зато вечерами, одевшись попривличней, шел с деревенскими дружками-приятелями (кто еще не женился или не ударился в беспробудное пьянство) за два километра от Троицы – в Чемодановский клуб, а то и за все пять км – в Павлищево. И до рассвета пропадал неизвестно где и с кем (проводжая после гулянья какую-нибудь местную красотку). Нет, лишнего себе не позволял. Клятвообещаний никому не давал. Ловелас-соблазнитель из себя не строил. Врожденные чувства ответственности и порядочности не позволяли вести себя легкомысленно и беспечно. А думать о чем-то серьезном не хотелось. Какая женитьба? Какая семья? Закончить бы сначала институт, получить специ-

альность, высшее образование, найти работу, а тогда уже размышлять о брачных узах. Да и на стипендию студента особо не разгуляешься (случалось, сидел по полгода и без стипендии, без этих жалких копеечных крох, что «отваливало» государство учащимся – по причине неуспевания в науках).

Тридцати несчастных рублей едва хватало на скудное пропитание: хлеб, макароны, пельмени, чай – не всегда с сахаром... Правда, если уж начистоту, маманя изредка «подбрасывала» деньжонок (с пенсии, с продажи – то картошек, то зарезанного поросенка). Ну, как не помочь Мишеньке... младшенькому... любимчику?

Михаил в письмах домой выговаривал ей: не надо, мол, не беспокойся, не присылай мне ничего, у меня все есть, хватает... А какой – хватает! Случалось, сутками не было крошки во рту. Зима на носу – а у него нет теплой обуви (не в валенках же щеголять по Ленинграду!). О приличном недорогом костюме мог только мечтать (год на приготовительных курсах проходил в солдатской гимнастерке).

Ребята – соседи по общежитской койке – в выходной день звали его с собой: в кафе, в кино, на свиданку с девочками. Приходилось отказываться. Выдумывал разные уважительные причины: не хочется... позаниматься надо... у родственников давно не был, могут обидеться...

Ну, ленинградские родственники – это вообще особ-статья в его тогдашней жизни.

Первым и главным из них был, разумеется, старший двоюродный брат Иван Степанов.

Несмотря на существенную разницу в возрасте (Иван – 32-го года рождения, Михаил – 49-го), Иван держался с младшим братом-студентом на равных, с явными симпатией и уважением.

Понимал: в бедной крестьянской семье Калининцев Михаил был первым, кому предстояло получить высшее образование. Иван всячески приветствовал это и, чем мог, способствовал осуществлению благородной цели.

В материальном, житейском плане его помощь и поддержка выражались в следующем. Пришел Михаил к брату на Кременчугскую – первым делом сажали гостя за стол, кормили (знаем, дескать, как ты там питаешься на свою стипендию, давай поешь, порубай, заправься хорошенько). В этом отношении и тетка Поля не скупилась, никогда, бывало, не отпустит племянника, не покормив. Пока Михаил ест и делится новостями о своем житье-бытье, Иван подсуется, пошарит по укромным семейным «закромам» и втайне от скуповатой жены Зинаиды по ухому брата сунет ему в карман – когда рублишко, когда тройка: на кино, на мороженое, на развлечения. А если – что тоже случалось нередко – соберется составить Михаилу компанию, то куда бы ни держали

путь (в кино, в музей, на экскурсию), везде и всегда платит старший брат. Михаил, бывало, загремит своей мелочишкой (дескать, есть у меня деньги, могу сам купить билет в трамвае, в метро, в музее...) – Иван только жестом покажет: убери, мол, спрячь... Не сравнивай, мол, мою рабочую зарплату со своей грошовой стипендией.

К слову, о музеях, об экскурсиях, о просветительских поездках за город. Иван, сам выросший в деревне и проживший там первые 17 лет жизни, был из тех натур, что постоянно жаждут духовного совершенствования, духовного обогащения. Книги, театры, посещения исторических мест, связанных с деятельностью выдающихся политических и культурных фигур страны, изучение архитектуры города, памятников его 250-летней истории – все это бывший деревенский паренек, а ныне – городской житель, почти инженер, почти интеллигент впитывал в себя как губка, жадно и много, постоянно занимаясь самообразованием. И таким же хотел видеть младшего двоюродного брата – бывшего деревенского паренька, ныне – городского жителя, почти инженера, почти интеллигента. Тем паче, что тому, с высшим техническим образованием, самой судьбой было предназначено подняться еще выше на ступенях производственного и общественного положения.

Наведывался Михаил и к другому двоюродному брату – Николаю Степанову. После перенесенной травмы на работе Николаю (который давно был женат, имел сына) от железной дороги выделили комнатуху в коммунальной квартире на Московском проспекте.

У Николая, в отличие от Ивана, интересы были попроще, более приземленные. Семья, работа, материальное благополучие. Не получив в свое время даже среднего образования (война, послевоенное лихолетье, да и особого желания учиться тоже не было), Николай не увлекался ни книгами, ни искусствами, но по натуре был прост, добросердечен и добропорядочен. Встречал младшего брата-студента радушно. У его хозяйственной расторопной жены Лидии всегда было что поесть-закусить (всю жизнь проработала поваром. А перед пенсией – зав производством в общественных столовых), а у Николая всегда было чем «промочить горло» (и водочка, и спиртяшка, который флягами поставлял ему ежегодно родной брат Виктор, технарь по обслуживанию военных самолетов).

Тяпнут братья по стопке-другой: «за встречу», «за удачу», «за все хорошее», а у Лиды уже и закуска наготове, и обед на столе – наваристый борщ с мясом, на второе – жареная картошка с котлетами... В общем, голодным от Николая Михаил никогда не уходил. Чего не было – того не было.

Посещал он и старшую двоюродную сестру Марию Степанову (по мужу – Тюрину). Муж Марии – Владимир Петрович – что называется, простой советский человек (работяга и выпивоха) ничего не имел против визитов родственника жены: какой-никакой, а повод лишний раз «хлопнуть по рюмашке».

Мария – женщина простая и гостеприимная – привечала младшего братца с душевной теплотой и вниманием: и накормит, и о житье-бытье расспросит, и гостинчика с собой сунет.

А еще: росла – подрастала у Тюриных единственная любимая доченька Наталья, девица статная и румяная, находчивая и сообразительная (стало быть, Мишина двоюродная племянница), всего-то на семь лет моложе Михаила. И было у той Натальи немало близких подружек (и по школе, и по общежитию на Комсомольской улице в Автово, где Тюрины тогда проживали). Подружкам этим Михаил страх как нравился. А ему, конечно, было интересно и забавно проводить время в обществе молодых, веселых, отнюдь не закомплексованных городских девчат. Он и на праздники (8 марта, 1 Мая, 7 ноября) старался попасть в их компанию, да и в будние дни не упускал случая лишний раз побывать в гостях у двоюродной сестры.

А на четвертом курсе получилось так, что его чуть было не оженрили.

В жизни всякое бывает!

У Степановых со стороны отца (погибшего на войне Егора Гордеевича) в Ленинграде проживали двоюродные братья и сестры – целый клан Соколовых (с женами, мужьями и детьми насчитывал не один десяток человек)

И у одного из «соколов» – Николая Сергеевича – тоже росла единственная любимая доченька – Светочка, умница и красавица, ровесница, между прочим, Михаилу.

Вот и пришло кому-то на ум (впрочем, не важно – кому), из чисто гуманных и благожелательных соображений, познакомить молодых людей.

Познакомили. Света – девочка домашняя и скромная. Михаил – тоже парень неизбалованный, скромняга. Со стороны посмотреть – чем не пара?

Нет. Не сошлось. Не склеилось. Не получилось.

Михаил-то, с его покладистым характером, был, в принципе, не прочь. А Светочка заартачилась. Девочка домашняя, скромная, а все-таки городская. И более развита, и более начитана, и вообще... Зачем ей неуклюжий, молчаливый, неотесанный сельчанин, ей бы принца с голубыми глазами – и поумнее, и пообеспеченней, чем этот не модно одевающийся, без гроша в кармане увалень. Миша и есть Миша...

(Впоследствии нашелся для нее – «с голубыми глазами»... Заговорил, заморозил, вскружил девушке голову. Только на поверку выяснилось – пустомеля, лодырь, алкаш. Впоследствии Света не раз признавалась: «Дура была, такого парня – Мишку, то есть – упустила...» Ну, да о чем жалеть, когда все прошло, проехало. Прошлого не вернуть, не воскресить. И не нам копать в чужих взаимоотношениях).

Не забывал Михаил и тетку Дусю на Петроградской стороне. И по телефону звонил (поздравлял с праздниками и другими памятными днями), и приезжал самолично на Малую Посадскую (по тогдашнему – улицу бр. Васильевых).

Теткин муж – Ефим Харитонович – сильно прибалывал и сам спиртного не употреблял, но, поскольку мужчина был запасливый, каждый раз предлагал Михаилу перед тем, как тетка усадит того за стол:

– Выпьешь?

– Да спасибо, не хочу... – Михаил и мимикой, и жестами давал понять, что спиртным не злоупотребляет. Он не притворялся, не лицемерил. Действительно, к спиртному всегда был равнодушен. Если, случалось, выпивал – с Николаем, с Володей ли, или с друзьями по общаге – то лишь чисто символически и за компанию (рюмку-другую, не больше, не получая от выпивки никакого удовольствия).

Кто помнит то незабвенное времечко, брежневскую эпоху, которую впоследствии заклеямили как «эпоху застоя», знают: летом, на каникулах, студентам особо расслабляться не приходилось. В институтских комитетах комсомола сидели люди энергичные и инициативные. Именно на те годы – годы интенсивного строительства «развитого социализма» – пришелся пик расцвета ССО (студенческих строительных отрядов).

Эти отряды – полуоязательные, полудобровольные (типичный статус в Советском Союзе) – выезжали на месяц-два в определенную точку российской глубинки, в основном, в отдаленные районы Нечерноземья, и работали там на правах наемной рабочей силы (напомню, что деревни с середины 50-х гг продолжали катастрофически пустеть: контингент колхозников старел год от года, молодежь разбегалась, старики уходили на пенсию, не хватало специалистов прямого сельскохозяйственного производства – доярок, свинок, птичников, полеводов, механизаторов... Что уж говорить о строителях?).

Студентов использовали в качестве палочки-выручалочки. Будущие инженеры и артисты, физики-ядерщики и литераторы, математики-теоретики и музыканты вкалывали на стройках в бесчисленных деревнях, где местное население либо валяло дурака, либо спивалось по-черному. 20-летние мальчики и де-

вочки, вместо заслуженного отдыха после зимних учебных семестров, трудились в качестве землекопов и плотников, кровельщиков и чернорабочих, то есть жили по испытанному, проверенному временем принципу: Родина сказала «надо», комсомол ответил: «Есть!»

Кому-то это, возможно, нравилось, кто-то, не исключено, считал это романтикой, а у кого-то – что тоже не исключено – вызывало протест и возмущение. Одни (в основном, ребята из малообеспеченных семей) охотно записывались в такие отряды (появлялся шанс «заколотить деньгу», купить себе обнову к будущему учебному году), других записывали помимо воли (угрожая за отказ репрессиями, вплоть до исключения и из комсомола, и из института). Некоторые умудрялись всеми правдами и неправдами увильнуть от этой «обязаловки»: запасались фиктивными справками о мнимых болезнях (то ли своих, то ли ближайших родственников), ссылались на семейные обстоятельства.

Староста группы Михаил Калиничев принадлежал к первой категории (ребят из малообеспеченных семей). Перед его мысленным взором всегда стояла его родная милая Троица – запущенная, разоренная, пустеющая. Он как никто другой понимал: если деревне не протянуть руку поддержки, она совсем пропадет, захиреет, исчезнет с лица земли.

Поэтому лично он от работы не отлынивал и трудился добросовестно, умело. Примерно так же, как герой актера Евг. Урбанского в фильме «Коммунист». Михаилу все было сподручно: копать котлованы под фундамент, тесать бревна, месить раствор, забивать гвозди...

А о том, что был он мастер на все руки, свидетельствует хотя бы такой факт: когда выяснилось, что в отряде никто не владеет профессией повара (девочки-то, в основном, городские, маменькины дочки-белоручки, неумехи), Михаил добровольно взял на себя функции кашевара.

И ничего – справился!.. Из нехитрых продуктов, доставляемых на стройку, закатывал отряду такие завтраки, обеды и ужины, что ребята подчищали котлы до доньшка и просили добавок, облизывая пальчики.

...Долго ли, коротко, но пять институтских лет пролетели незаметно, как один счастливый миг, и подошел, наконец, решительный час защиты диплома.

У Михаила, как у большинства нормальных студентов, естественно, тряслись поджилки, и душа обмирала от предстоящего испытания.

Как будто не его заверял руководитель проекта, что работа выполнена им на совесть и заслуживает всяческих похвал. Как будто не он привез с производственной практики, которую проходил на солидном предприятии в

г. Навои, самые лестные отзывы о нем со стороны руководителей практики.

Мандраж был сильный, а предчувствия – самые что ни на есть дурные.

Как всегда, моральную поддержку он нашёл у брата Ивана.

– Приноси работу ко мне, – распорядился тот. – Проведем генеральную репетицию.

Слово старшего – закон. В ближайшее воскресенье Михаил притащил в общежитие на Кременчугской солидный рулон ватманской бумаги с аккуратно выполненными чертежами, вдвоем с братом они развесили листы по всей комнате, после чего Иван с важным видом уселся на койку и скомандовал:

– Я – приемная комиссия. Дипломник Калининцев, возьмите указку и приступайте к защите. Мы вас внимательно слушаем.

Михаил перевел дух, взял в руки школьную линейку и, откашлявшись, приступил к пояснениям...

Говорил он долго, наверное, больше получаса. Под конец так увлекся, что забыл и о времени, и о том, где находится. Мандраж прошел совершенно, голос звучал громко и уверенно. Линейка, выполнявшая роль указки, плавно скользила по аккуратно выписанным линиям чертежей.

– Всё! – объявил Михаил и, вытащив из кармана чистый носовой платок, промокнул выступившие на лбу крупные градины пота.

– Молодец! – Иван не удержался от восторженной оценки услышанного. – Пять!

И крепко обнял брата. Мол, отлично. Можешь не сомневаться.

И как в воду смотрел.

Дипломный проект Михаил Калининцев защитил на «пять».

РАБОТА. В Череповец он попал по распределению. На комиссии ему было предложено несколько городов – на выбор. Почему Михаил остановился на Череповце, трудно сказать. Как говаривал в известной интермедии его тезка актер Михаил Евдокимов: «Судьба-а...»

Первая должность выпускника института на производстве известна – мастер участка. И первое жилье на новом месте тоже известно – общежитие.

В 1975 году начался новый этап в его, в общем-то, ничем особо не примечательной жизни.

Новым в ней оказалось то, что отныне ему предстояло отвечать не только за себя, за свою работу, но и за работу пусть небольшого, а все-таки коллектива. За людей, над которыми он был поставлен вроде как командиром.

Вот тут и пригодились, и сказались те качества характера, которыми, с одной стороны, Михаил обладал с рождения (спокойствие, доброжелательность, добросовестность) и которые, с другой стороны, приобрел на пред-

шествующем отрезке жизненного пути. Да, дисциплинированность. Да, ответственность. Но и – умение налаживать контакты, умение находить с человеком общий язык, умение быть строгим, но справедливым.

Суровая закалка, полученная в полугодном детстве и подростковом возрасте, железная армейская школа, абсолютная самостоятельность студенческих лет – все это вместе взятое выковало из вчерашнего сельского парнишки настоящего специалиста-профессионала, умелого руководителя и организатора производства.

Что не могло остаться незамеченным.

Острый глаз высокого начальства и в Череповце, и в Москве очень скоро отметил среди общей массы инженерно-технического состава низшего и среднего звена мастера участка Михаила Калининцева. Прошло совсем немного времени, и с определенного момента началось его постепенное (относительно не бурное) восхождение по ступеням служебной лестницы.

А на личном фронте судьба опять улыбнулась ему нежным и милым лицом череповецкой девушки Нади. Познакомились. Подружились. А через полгода решили сыграть свадьбу в родной Мишиной Троице.

Это ж каким авторитетом надо обладать, какой притягательной силой, какими любовью и уважением пользоваться, чтобы два десятка гостей (Мишиных друзей по работе, Надиных детских и школьных друзей) приехали из далекого Череповца в Калужский край, в затерянную среди полей, лесов и мелких речушек деревню Троицу! Приехали, чтобы за щедро накрытым столом прокричать счастливым молодоженам традиционное – «Горько!» и искренне, от всей души, пожелать им долголетней супружеской жизни.

И свадьба состоялась по-русски широкая, по-деревенски веселая. Затейливыми переливами звенела на всю округу тульская трехрядка брата Валентина...постанывали половицы под лихую дробь сестры Татьяны...не совсем в лад, но душевно и громче громкого, отдаваясь эхом в лесу за Течей, далеко за полночь звучал объединенный хор голосов многочисленной Калининцевской родни и череповецких приглашенных на торжество гостей.. Дело было летом, в Троице отдыхали и тетка Пелагея, и приехавшие вместе с ней Иван с женой Зинаидой, и Иванова родная сестра Анна из Кисловодска, и сын тетки Дуси из Ленинграда – Юрий... Словом, все свои – родные, близкие, любимые.

ЖИЗНЬ. «Кислородмонтаж» – единственная в регионе фирма, которой дано право проверки, а при необходимости и ремонта оборудования, поступающего от заводоизготовителей. Ответственность – огромнейшая. Причем, ответственность не только за

качество и сроки собственной работы, но и, как в начале самостоятельного производственного пути (мастер участка, начальник смены и т.д.), за жизнь, работу, заработки, социальное, жилищное и прочее благополучие вверенного ему коллектива.

И он справляется. Профессионально, достойно, с честью. Оправдывает обязанности, возложенные на него высоким начальством, и надежды, которые возлагались на него в свое время и старенькой преподавательницей института холодильной промышленности, и братом Иваном, и покойной маманей – Анной Егоровной Калиничевой, матерью-одиночкой, родившей, взрастившей и поставившей на ноги пятерых детей. Той самой Анной Егоровной, которую когда-то не понимали и осуждали соседки-подружки (за то, что в трудные послевоенные годы родила этих пятерых детей), а в последние годы жизни говорившие с нескрываемой завистью: «Нюша, какая ты счастливая со своими ребятами... какие они у тебя хорошие, дружные, работающие, заботливые. Не то, что наши...»

Как говорится: Бог все видит и всем воздаст по справедливости за дела и долготерпение.

...На сегодняшний день на счету СМУ ЗАО «Кислородмонтаж» – многие объекты здравоохранения Череповца, Вологды, Никольска (специалисты СМУ выполняют в роддомах и больницах этих городов централизованные подводки кислорода, а затем обслуживают их).

Кроме того, существенен вклад рабочих и инженерно-технического состава СМУ в деле возведения соответствующих объектов в странах СНГ, на космодроме Байконур, а также в Индии, Нигерии, Ливии, Монголии, Вьетнама, бывшей ГДР, на Кубе.

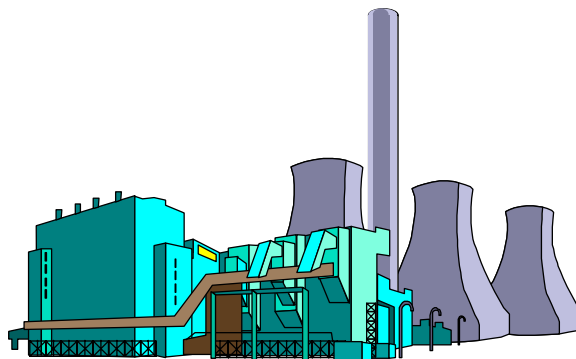
Управление специализируется на монтаже, капремонте и наладке кислородных станций, блоков разделения воздуха, систем и установок с низкотемпературными процессами и выполняет механомонтажные работы по технологическому оборудованию, трубопроводам и металлоконструкциям на объектах различных отраслей народного хозяйства.

Так, в июне 2004 года был сдан в эксплуатацию еще один гигантский воздухоразделительный комплекс АКАр 60/35. Эту работу СМУ выполнило в качестве генерального подрядчика для крупнейшей стройки Череповца – ЗАО «Севергал». Заказ был уникален не только своей масштабностью, но и, можно сказать, ювелирным исполнением каждого фрагмента установки.

И уже не один год СМУ ЗАО «Кислородмонтаж» на правах генподрядчика и субподрядчика тесно сотрудничает с другими строительными организациями городского строительного-монтажного комплекса: с ЗАО «Доменстрой», ОАО «Металлургремонт», первым Череповецким монтажным Управлением ЗАО «Металлургпрокатмонтаж», Управлением инвестиций ОАО «Северсталь», Управлением капитального строительства мэрии Череповца.

И на всех важных документах, связанных либо с началом строительства очередного уникального объекта, либо с разрешением на его эксплуатацию, стоит подпись начальника СМУ ЗАО «Кислородмонтаж» **Калиничева Михаила Андреевича**.

Так кому же, как не ему, носить это славное и гордое звание – «ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ»?



СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ**К 70-летию Н.Рубцова****Николай КОНЯЕВ****ПОМИНКИ***(Пьеса)***Действующие лица:**

НИКОЛАЙ РУБЦОВ
 БОМЖ, ВЫДАЮЩИЙ СЕБЯ ЗА БРАТА
 РУБЦОВА
 ЗЭК – ДРУГ ЮНОСТИ РУБЦОВА
 МОСКОВСКИЙ ДРУГ РУБЦОВА
 ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ РУБЦОВА
 БИОГРАФ РУБЦОВА
 ЖЕНЩИНА –
 актриса, играющая ее, сразу будет играть

и ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ РУБЦОВА – ТАЮ
 и МАТЬ ДОЧЕРИ ПОЭТА – ГЕТУ,
 и его воспитательниц,
 и его родственницу – Валентину.
 ЖУРНАЛИСТ
 ПОДРУЖКА ЖЕНЩИНЫ РУБЦОВА
 УБИЙЦА РУБЦОВА
 МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР.
 СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР.

По ходу действия пьесы на сцене течет три рода времени.

Обычное время – те несколько дней торжеств, связанных с увековечиванием памяти Рубцова. Протекают эти дни в летней Вологде.

Время жизни – время, в котором совершаются признания и измышления стареющей убийцы.

И вечное время – время, в котором появляется Рубцов, время, в которое переносятся герои пьесы в своих воспоминаниях. У этого времени нет последовательной хронологии, нет постоянного места. Действие эпизодов этого времени происходит и в Москве, и в Вологде, и в Тотьме, и в Приютино, и в Никольском...

Все три времени должны быть отделены друг от друга музыкальным и световым оформлением. Лишь иногда по ходу действия пьесы эти времена будут пересекаться между собою.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

Часть сцены представляет кладбище. Много тумбочек со звездами, много крестов. На переднем плане могильная оградка, столик, скамейка. Край кладбища легко трансформируется в парк, в болото, в окраинную улочку. Другая часть сцены будет изображать то отделение милиции, то зал суда, то ресторанный зал, то клубное помещение...

ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Отделение милиции. Ночь. Тусклая лампочка. Выкрашенный в казенный цвет барьер, деревянная скамья. Дверь в камеру. Решетка на темном окне.

Двое милиционеров возятся с пьяным бомжом.

БОМЖ. Отпустите меня! Мне письмо надо спросить!

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. А документы у тебя есть, урод?

БОМЖ. Какие документы?! Я письмо шел спросить!

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. В четыре часа ночи?! (*напарнику*) Сержант! Запри его в камеру.

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Он же загадит все!

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. Тебе что ли сидеть там?! Запри... Если загадит, убрать заставим. Языком вылижет!

БОМЖ. Мужики... Я же письмо только спросить хотел...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Сейчас спросишь... Мы тебя самого в ящик запакуем!

Заталкивает мужика в камеру.

Сонной дымкой затягивает мутновато-синие стены, крашенный коричневой краской барьер...

Хлопает дверь. В белом морозном воздухе появляется в отделении женщина. Это – убийца. Она в валенках, на голове – туго замотанный платок.

УБИЙЦА. Арестуйте меня.

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. (*смотрит на молодого*) Трезвая?

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. (*подходит к женщине и принохивается*) Вроде не пьяная...

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. (*зевая*) Тогда завтра пусть приходит... На сегодня план выполнен...

УБИЙЦА. Арестуйте меня. Я человека убила.

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. Ты?!

УБИЙЦА. Я... Нечаянно... Я не знаю как получилось...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Где?

УБИЙЦА. Дома.

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Дома?!

УБИЙЦА. Да. У него дома... Я жила у него...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Т-так... Убитого как звали?

УБИЙЦА. Рубцовым... Николай Михайлович Рубцов...

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. Фамилия известная...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Он *что* был у нас?

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. А как же... Заглядывал... Раньше-то частенько заглядывал, а последние годы остепенился, видно...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Ясно... Тогда понятно, почему я о нем не слышал. До меня еще было... *(Отгоняя сон, проводит рукой по лицу, словно хочет перекреститься. Достает бумаги)* Т-так... Значит, сейчас у нас пять часов утра... 19 января 1971 года... *(к убийце)* Рассказывай, как случилось это...

УБИЙЦА. Я не знаю... Я не хотела... Он пьяный был... Он опять пить начал... Я не хотела... Я убежать хотела, а он схватил... Мы на пол упали... Я вырывалась... Вдруг смотрю, а он уже не дышит лежит...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. По-онятно о... Убитый кто был?

УБИЙЦА. Я же сказала... Рубцов...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Это я слышал... Я про профессию спрашиваю! Работал где?

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. Он нигде не работал...

МОЛОДОЙ МИЛИЦИОНЕР. Тунядец?

СТАРЫЙ МИЛИЦИОНЕР. Вроде этого...

УБИЙЦА. Он стихи писал, как и я...

Она замирает, свет чуть слабеет, и все: и убийца, и милиционер, и отделение как бы отодвигаются от зрителя. Свет смещается туда, где металлические ограды кладбища, кресты и тумбочки со звездами...

КОМПАНИЯ ПЕРВАЯ

На авансцену выходит компания...

Впереди мужик в эковской фуфайке, с гитарой в руке.

Следом за ним кражистый мужчина в очках, с портфелем. Это Вологодский друг Рубцова. Рядом с ним – биограф Рубцова.

Искательно заглядывая им в лица, бежит рядом бомж, в котором зритель пусть и не сразу, но узнает мужика, что рассказывал в отделении милиции о письме, которое ему надо было получить в пять утра. Только одежда пообтрепалась, подзагрязнилась.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Ну, вот и пришли... *(Стягивает с головы кепку)* Здравствуй, Коля!

ЗЭК. *(вытаскивает из кармана поллитру)* Вот куда, значит, Колян, свинтил от нас... Ну, чего, мужики, помянем человека? **(бомжу)** Ты бы прибрал тут, керяло вонючее...

Бомж стремительно обмахивает рукавом столик, скамейку. Вологодский друг открывает портфель и достает сверток, бутылку, пластмассовые стаканчики. Биограф раскладывает все на столе. Садятся на скамеечку рядом с зэком.

БИОГРАФ. Пусть земля ему будет пухом...

ЗЭК. За Коляна... **(бомжу)** Иди, керяло, сюда... Плесни под жабры... Мы дружбана поминаем... Поэта Рубцова... Слышал такого?

БОМЖ. *(берет стакан)* Как же не слышать... Говорят, его баба решилась...

ЗЭК. *(кивает)* Ага... Ребята у нас рассказывали на зоне... Она его топором зарубила...

БОМЖ. Топором? Как это топором?

ЗЭК. Ну, как-как... Не знаешь что ли, как это делают? Подошла сзади и шмякнула топором по голове...

БИОГРАФ. А вы что, Николай Иванович, тоже хорошо знали Рубцова?

ЗЭК. Знал, конечно... Колян ведь простой, как отвертка, был... Подойдет и говорит: хочешь я тебе стихи почитаю?... А я чего... Валяй, говорю... Вот так, вообще, и жили... Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал про детство свое, какое оно у него было плохое – рано остался без родителей... У них было два брата: он и Олег...

БИОГРАФ. Альберт...

ЗЭК. Олег, по-моему... Он уже женился тогда. У него типа комнаты было... А Николай в нашем доме поселился, в общежитии. Я ему понравился, он мне понравился, в общем, подружились. Другие-то на Николая не обращали внимания, потому что он привязчивый оказался, старался свои стихи прочесть... А у людей ведь свои заботы... Ну, вообще нашел меня, и мы с ним частенько в парке сидели, разговаривали. Стихи прочитает, а потом спрашивает: нравится? Нравится, нормально, конечно... А он говорит: пойдём, я – тебе еще почитаю... Так и ходим всю ночь с ним. Можно сказать, частенько ходили... Поэму свою читал. В ней все с самого малого детства, как он из детдома... Про себя и про брата. Они как раз вместе и росли там. Кормиться было трудно, так они убежали с братом. В общем, читал там о каждой корочке хлеба. Рассказывал эту поэму очень долго... А вообще нормальный парень был. Дружбу любил настоящую. Не любил, когда изменяют ему... Он верил в человека... *(смотрит на бомжа, который утирает глаза)* Ты чего это, керяло? Чего это из тебя капает?

БОМЖ. В глаз что-то попало...

ЗЭК. А ты еще плесни под жабры... Помогает от сырости...

БОМЖ. Если можно...

БИОГРАФ. Расскажите еще, Николай Иванович, про Рубцова... Вы, наверное, и в армию его провожали?..

ЗЭК. Н-нет... Ну, в общем, об этом для биографии не обязательно знать, но заступился я тогда за одного товарища, и, короче, посадили меня. Так что, скорее, это Рубцов меня провожал, ну и потом писал письма... И с армии писал... Такие письма были ужасно-прекрасные... Сейчас я жалею даже, что они не сохранились... Я ведь потом снова сидел. Наш дом разломали, и куда-то исчезло все...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Давайте еще помянем Николая Михайловича... Вот слушаю я тебя, Николай Иванович, и совершенно другое вспоминаю... Мы с ним в техникуме вместе учились, и общага у нас в монастыре была... Ну, и храмы там... Ни икон, ничего не осталось, конечно, только стены... Так вот там и любили мы испытывать себя на смелость... Для этого всей гурьбой шли в полуразрушенный собор, от которого остались только стены и внутренний карниз, прерванный проломом. Нужно было пройти по карнизу на головокружительной высоте и перепрыгнуть через пролом. Я боялся, а Рубцов нет... Рубцов прыгал... *(Смотрит на биографа, который вытаскивает записную книжку и что-то чирикает в ней)* У меня уже напечатано это в воспоминаниях...

БИОГРАФ. Я другую мысль записываю... Знаете, я подумал сейчас, что в этом рубцовском прыжке на головокружительной высоте, над темной бездной погруженного в мерзость запустения храма – очень много от предстоящей жизни, от пути, который назначено было пройти Рубцову... Понимаете?

ЗЭК. *(уклончиво)* Кто знает, кому и какой путь назначено пройти... Я вот такую историю вспомнил... Он приезжал ко мне, когда узнал, что я с зоны приехал. И вот такой интересный эпизод вытанцевался... Он до Бенггардовки на электричке доехал ... Уже ночь была... Он и вышел на шоссе, проголосовал машину... А это хмелеуборочник, в общем, оказался... Одним словом, чего он про свой путь знал... Он и не загадывал никогда наперед. Бутылка есть и хорошо...

БОМЖ. И что с Колей было?

ЗЭК. Я же сказал, что баба его зарубила топором...

БОМЖ. Я про тот случай, когда он в ментовку загремел...

ЗЭК. А что с ним тогда могло быть, если поддавший он? Отвезли его в вытрезвитель... А у него с собой сто пятьдесят рублей. Так пока не раздели, восемьдесят рублей спрятал в валенок. А остальные отдал. Ну и, короче го-

воря, утром деньги, которые сдавал, ему вернули, а те, что в валенке были, – исчезли... Он ко мне пришел в дырявых валенках. Вот честно говорю – дырявые пятки. Сто пятьдесят рублей, а пятки на валенках рваные!

БИОГРАФ. А в каком это году случилось?

ЗЭК. Сейчас соображу... В шестьдесят втором я женился... Значит, шестьдесят четвертый, примерно... Точно не помню, но вроде так... У меня сынишке уже года два исполнилось. Так вот, пришел Рубцов и жалуется, так, мол, и так, в такую историю попал... Ну, короче говоря, взяли мы, это дело отметили... И он уехал в Вологду. Обещал приехать. Даже, по моему, это не шестьдесят четвертый был, а где-то побольше... Я его больше уже не видел...

БИОГРАФ. Может, он из Москвы приезжал?..

ЗЭК. Да. Он уже учился где-то... Значит, это было позже. Из Москвы он тоже ко мне приезжал, а это было позже... Потому что у меня опять неприятность получилась... И, короче, я уже на зоне узнал о его кончине... Такой журнал есть – «Молодая гвардия»... Там некролог написан был: трагически погиб... Я потом спрашивал вологодских ребят, а они говорят: да, его жена зарубила...

БИОГРАФ. Задушила...

ЗЭК. Или задушила. Ну... Я вологодских ребят спрашивал: знаете такого? Да, говорят, знаем... Его топором сожигательница порешила... Но я не про это рассказать хотел... Дело в том, что он все время в ментовку залетал, как и я... И на зону мог попасть, да Бог миловал...

Смотрит на женщину в черном платке. Опустив голову, она медленно идет по тропинке между могилами.

ЗЭК. Это ты, Тая?

ЖЕНЩИНА. Я, Николай Иванович...

ЗЭК. Ты чего тут?

ЖЕНЩИНА. Дак, Виктору моему, Николай Иванович, сорок дней сегодня... А вы чего гулянку на кладбище устроили? Поминаете кого?

ЗЭК. Ага... Мы Кольку Рубцова поминаем... Не забыла такого?..

ЖЕНЩИНА. Чего же забывать... Помню, конечно... Но у него вроде зимой память...

БИОГРАФ. В январе... Только сейчас торжества передвинули... Поэтому летом...

ЗЭК. На... *(наполняет стопку)* Выпей... Вы ведь вроде ходили с ним? *(к биографу)* Колька у нас весельчак был, на гармошке любил играть. Ночами, бывало, не давал спать некоторым – гармошка, ведь громко играет ... **Что,** Тая, было такое?

ЖЕНЩИНА. Было всякое... Только как-то у нас ничего серьезного и не получилось... Почему-то не нравился он мне... Девчонка

была, чего понимала? Мы же не знали тогда, что он такой знаменитый станет...

ЗЭК. Не... Тогда интересное, елки зеленые, время было... *(отходит от компании в глублину сцены)* Я вот такой случай запомнил... Впрочем, Николай из-за Таи сильно тогда переживал. Вечером пришли с ним на танцплощадку, девок еще ни одной нет...

Освещение сцены изменяется, оттесняя кладбищенскую компанию, само кладбище. Перед нами что-то похожее на парк...

С гармошкой в руках, выходит из-за кустов Рубцов.

РУБЦОВ. *(перестав играть)* Николай, ты Тайку не видел...

ЗЭК. Видел... На крыльчке стояла...

РУБЦОВ. А, не спрашивал, гулять не придет?

ЗЭК. Так вы же поругались вчера вроде...

РУБЦОВ. Поругались... Только мне ее все равно увидеть хочется...

ЗЭК. Я так думаю, ей тоже...

РУБЦОВ. Чего тоже?

ЗЭК. *(хохочет)* Также хочется...

РУБЦОВ. А почему ты решил так?

ЗЭК. Смешной ты пацан, Колька... Она сегодня весь вечер на крыльчке стоит, слушает, когда ты играть на гармошке начнешь...

РУБЦОВ. Николай, у нас же голоса похоже! Сыграй, которую я придумал, а! *(Отдает Зэку гармошку.)* Я хочу, чтобы Тайка ее послушала!

ЗЭК. Да сам и играл бы...

РУБЦОВ. Нет... Играй ты! А я пойду, напугаю ее!

Исчезает за кустами. Зэк берет гармошку, начинает петь:

Сколько водки вышито!
Сколько стекол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...
Эх, сивуха сивая!
Жизнь была... красивая!

Песня звучит, но свет смещается. И мы видим крыльчко дома.

На крыльчке, облокотившись на перильца, стоит девушка. Это Тая... Она слушает звучащую в темноте песню...

Из-за кустов, сзади, появляется Рубцов, крадется к девушке. Осторожно трогает рукою ее лодыжку.

ТАЯ. Ой, кто это! *(Хватает стоящее на крыльчке ведро и выплескивает воду в Рубцова)*

РУБЦОВ. Тайка! Это же я!

ТАЯ. Ты?! А как же ты поешь там?!

РУБЦОВ. Это я Белякова попросил сыграть! Напугал я тебя?!

ТАЯ. Ты на себя посмотри! *(не выдерживает и заливается смехом)*

РУБЦОВ. А чего мне на себя смотреть... Я на тебя смотрю... Пошли гулять лучше...

ТАЯ. Ты же мокрый совсем!

РУБЦОВ. Да не мокрый я совсем... Пошли...

ТАЯ. Как не мокрый, если полведра вылило...

РУБЦОВ. А у тебя вода немокрая была...

Хохочут теперь уже вдвоем, с этим смехом и пропадает в темноте юная Тая, а Рубцов, как-то сразу посерьезнев, выходит на авансцену...

Облетели мои георгины
И последние ночи близки
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет, меня не порадует – что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда.

Прогудели мои пароходы
Проскрипели телеги мои
Я пришел к тебе в дни непогоды
Так изволь, хоть водой напои!..

Еще звучит стихотворение, а мы снова видим компанию у могильного столика. Тая снова здесь, только не та молодая, что стояла на крыльчке, а постаревшая, в черном платке...

ЖЕНЩИНА. *(поежившись)* Ничего у нас с ним не было. В армию проводила и все... А потом? Потом я встретила с одним человеком...

БИОГРАФ. А Рубцов приезжал к вам?

ЖЕНЩИНА. Приезжал... Знаете, какой он парень стал? В таком виде приехал, что мы даже перепугались все. Весна была, а он в рваных валенках, из кармана бутылка торчит... И говорит моему Виктору: выйди! Мне, говорит, надо поговорить с ней. А я говорю: нет! Чего нам с тобой разговаривать? Николай тогда посмотрел на Виктора и пальцем погрозил: смотри, если только ее обидишь, из-под земли достану. *(Берет протянутый стакан.)* Я чего-то раньше и вообще не замечала, чтобы кто-то особенно пил раньше... И вот Рубцов явился в таком виде. Весна. Сыро... А он в валенках без галош... Весь мокрый... Бутылка в кармане... Я потом об этой встрече его родственнице рассказала, которая на Котовом поле живет. А она говорит: никогда не поверю. Он, знаешь, как ходит? С тростью, в шляпе... Ну, не знаю, говорю, я его таким никогда не видела... А он ...Правда, с тростью ходил? В шляпе?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. *(пожимает плечами).* Всяко бывало... Однажды, шли с ним ночью и тут дорогу нам преградила ватага,

человек шесть. Хмельные все... Матерятся... Запахло мордобоем...

Замолкает. Свет прожектора выхватывает из темноты худенькую фигурку Рубцова с гитарой...

Из-за кулис доносятся пьяные голоса.

– Этот что ли к Нинке твоей лезет?

– Заходи сбоку, Серый!

РУБЦОВ. (хватает камень и вскакивает) Не подходи!

– Это кажись не те, не они...

– Этим, Серый, тоже не помешало бы ввалить.

– Когда надо будет, корешок, тогда и ввалим...

Уходят. В свете прожектора остаются Рубцов и вологодский друг.

РУБЦОВ. Чего это они?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. По-моему, они за Нинку нас изгваздать хотели...

РУБЦОВ. Так за Нинку вовсе и не нас надо...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Они и пошли искать не нас...

РУБЦОВ. Ага... *(отбрасывает камень)* Если бы не попросили, пошли бы они искать...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Колька, ты же противник всякого насилия, а тут... за камень сразу! Неужели бы камнем ударил?!

РУБЦОВ. Я же детдомовский... *(поднимает с земли гитару)* В детдоме, если не умеешь за себя постоять, плохо совсем...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. А если бы убил камнем мужика?

РУБЦОВ. Не убил же...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Но ведь мог...

РУБЦОВ. И меня много раз могли убить... Разве в этом дело?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. А в чем? В чем дело?..

РУБЦОВ. Я и сам пока не знаю – в чем...

Садится и начинает наигрывать на гитаре, а свет окружающий его меркнет – снова перед нами возникает и кладбище...

ЖЕНЩИНА. Про Рубцова мы все считали, что он детдомовский, что он и не пьяница совсем... А однажды на Новый год я поздравительную открытку получила от него. Вместо письма там были стихи... Но такие обидные для меня, злые! Я поняла, что это его стихи. Оценивая меня, он не жалел самых злых эпитетов. И все... Больше не приезжал он ко мне...

ЗЭК. Он мне в тюрьму писал... Почти все письма стихами были написаны...

БИОГРАФ. А вы этих писем не сохранили?

ЗЭК. На зоне себя-то не всем сохранить удается, не до писем там...

БИОГРАФ. Жаль... Сейчас автографы Николая Михайловича все ищут... А о чем стихи были? Не помните?

ЗЭК. Ну, как о чем... Про мать, которая умерла...

ЖЕНЩИНА. Про море писал... Про любовь...

ЗЭК. Про лодку, которая сгнила... Про песни, которые у нас на зоне поют...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Не знаю отчего, но до сих пор не могу позабыть, как Рубцов пел свои песни. Он не пел, а выл... Кажется, вся его жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России, с вечной бездомностью, вмещалась в это пение... И вот, сколько живу, а больше и не слышал, чтобы пели так...

ЗЭК. Раньше на зоне так пели...

БИОГРАФ. А теперь?

ЗЭК. Теперь и на зоне культурней стало... Под Высоцкого да Розенбаума лупят...

БОМЖ. (шмыгнув носом) Больше за нас спеть некому...

ЗЭК. Чего-чего? Ты чего сказал-то, керяло?

БОМЖ. А ни хера не сказал, кроме правды! Кольку убили, вот и некому спеть за нас...

ЗЭК. Ну-ка иди, подвинься сюда...

БОМЖ. Чего идти-то... Что?! Не нравится? Ну и насрать. Я все равно сказал! Понял?!...

ЗЭК. Ты не мандражируй, керяло... И так видно, что, ты привык дерьмо глотать... Но я не гасить тебя хотел... Похвалить собирался. Правильно сказал. На! Прими, керяло вонючее, раз у тебя голова еще не отсохла... Залей, чтобы крепче держалась... *(пьет вместе с бомжом).*

БИОГРАФ. Тая, вы говорили про стихи, которые Рубцов вам дарил... Про письма... Они сохранились у вас?..

ЖЕНЩИНА. Наверяд ли... Столько годов прошло... Если фотографии только... Я видела их недавно в альбоме...

БИОГРАФ. А вы не покажете?

ЖЕНЩИНА. Так домой ко мне приходи-те... Я вообще отдам ... Чего они мне...*(ежится)*

ЗЭК. Холодно? Согрейся маленько, Тая... *(наполняет стопку)*

ЖЕНЩИНА. Не... Жутковато чего-то стало... Он ведь говорил Виктору моему, что изпод земли его достанет... Приду, говорит и все выясню. И если что не так – достану... А сегодня Виктору как раз сорок дней... *(замолкает, испуганно зажимая рот)*

БИОГРАФ. Ну, что вы, Тая... Что вы... Это совпадение просто...

ЖЕНЩИНА. Совпадение? Не знаю... Все равно – жутковато... Вчера-то и на уме не было, вспомнить. А сегодня только о Рубцове и разговариваю... Пойду... *(К биографу)* Если проводите, я вам отдам фотографии... Он молодой на них совсем... Красивый вообще-то...

Уходят.

Рубцов, что сидит в стороне, не слышит этого разговора... Он, уже давно перебирает струны гитары, склонив голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, вот начинает не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь...

Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве промчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И порой раздавался пароходный свисток...
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ...

И снова Рубцова заволакивает темнота, и только его песня звучит над проступившими из сумерек декорациями кладбища. Здесь за могильным столиком сидит знакомая нам компания. К ним подходит милиционер. Козыряет и, видимо, просит предъявить документы. Все встают, начинают рыться в карманах. Продолжает звучать несущаяся из темноты песня Рубцова.

А последние листья вдоль по улице гулкой
Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.
На меня надвигалась темнота закоулков,
И архангельский дождик на меня моросил...

МИЛИЦИОНЕР. *(развертывает справку, которую ему протягивает зэк)* Бе-ляков... С зоны?

ЗЭК. Так точно, гражданин начальник! Досрочное освобождение. Еду домой...

МИЛИЦИОНЕР. А тут чего околачиваешься?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Мы друга, товарищ милиционер, зашли навестить...

ЗЭК. Ага, гражданин начальник... *(кивает на могилку)* Николай корешком моим был...

МИЛИЦИОНЕР. А с жильем, где определился? Здесь, с бомжами?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Ну, что вы, товарищ милиционер... Он у меня остановился...

МИЛИЦИОНЕР. Ну, так и идите домой... А здесь еще завтра выпьете ...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. В самом деле, Николай... Пойдем что ли?

ЗЭК. Пошли... *(Уходят).*

МИЛИЦИОНЕР. *(к Бомжу)* Ну, а ты чего? Почистил паспорт?!

БОМЖ. Нет пока...

МИЛИЦИОНЕР. Ну, смотри сам... Я тебя предупредил... Потом приberi все... Завтра митинг будет... Начальство приедет, гости...

БОМЖ. Вы не беспокойтесь... Я все тут приберу...

Милиционер уходит. Бомж торопливо засовывает за пазуху еду...Свет на сцене выравнивается и видно теперь и сидящего Рубцова. Бомж замечает Рубцова и вни-

мательно смотрит на него, потом -- на стоящий на могиле стакан.

БОМЖ. Этого... Тебе оставить?

РУБЦОВ. Пей... *(перебирая струны гитары, поет)*

Ну, так что же? Пускай рассыпаются листья!
Пусть на город нагрывает затаившийся снег!
На тревожной земле, в этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый, неплохой человек.

ПРИЗНАНИЕ ВТОРОЕ

Освещается декорации отделения милиции. Только сейчас это уже зал суда. На скамье -- это скамья подсудимых! -- убийца. За ее спиной пожилой милиционер.

ГОЛОС СУДЬИ. Вы утверждали на предварительном следствии, что убили гражданина Рубцова в состоянии аффекта. Теперь вы говорите, что убивали в порядке самозащиты... Рубцов напал на вас?

УБИЙЦА. Да... Он кидал в меня горящие спички...

ГОЛОС СУДЬИ. А почему спичек не нашли на полу?

УБИЙЦА. Я подмела пол...

ГОЛОС СУДЬИ. Когда?

УБИЙЦА. Уже после... После... Знаете, он, когда я уже легла в постель, открыл дверь на балкон и сорвал с меня одеяло...

ГОЛОС СУДЬИ. И что сделали вы? Начали его душиить?

УБИЙЦА. Нет... Я лежала и думала -- вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. И вдруг он говорит, как ни в чем не бывало, чтобы я ложилась с ним спать... Я вскочила, чтобы уйти от него навсегда, но он остановил меня. Я вырывалась, а он не пускал. Мы упали на пол... Завязалась борьба... *(хочет отойти от скамьи, но милиционер ударивает ее)* Он начал душиить меня, но я укусила его за руку, а потом сама схватила его правой рукой за горло. Рубцов не хрипел, ничего не говорил, не кричал. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синее. Тогда я разжала пальцы...

ГОЛОС СУДЬИ. Вы говорили, что, защищаясь, укусили его за руку?

УБИЙЦА. Да...

ГОЛОС СУДЬИ. Но при осмотре трупа Рубцова никаких следов укуса не обнаружено... Зато... *(шуршит бумагами, читает)* ...на горле трупа имеются множественные царапины... На правом и левом локте -- ссадины... Повреждения могли быть причинены при захватывании шеи пальцами. рук. Полудлунные ссадины характерны для давления ногтями пальцев. Сам характер убийства, множественные ссадины на горле Рубцова свидетельствуют о том, что подозреваемая как бы рвала горло руками...

УБИЙЦА. Он довел меня... *(снова делает попытку отойти от скамьи и снова ми-*

лицонер удерживает ее). Я должна была защищаться... Я уже не понимала, что делаю... Обычно я всегда спасала его... Однажды у нас такой случай произошел... Он приехал ко мне в поселок, и – представляете! – облил меня водой... Я убежала в дом и закрылась на щеколду, а он стал ломиться, выбил стекла в окне и порезал себе вену на руке... Если бы я не наложила жгут, он бы истек кровью, еще до прибытия скорой помощи... Я спасла его тогда! Я не знаю, как получилось, что мне не удалось спасти его на этот раз...

Голоса становятся глуше... Судебный зал постепенно погружается в темноту.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене – тот же зал, только сейчас уже не судебный, а клубный... Идет торжественный юбилейный вечер. В зале мы видим уже знакомых персонажей.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ ПОЭТА. (*выступает со сцены*) Мы собрались здесь, чтобы вспомнить о Николае Рубцове... Он родился в Емецке... Отец у него работал продавцом в сельпо. Потом вступил в партию... Стал начальником ОРСа местного леспромхоза... Но он оставался простым крестьянским мужиком...

ЖЕНЩИНА. (*обращаясь к московскому другу, с иронией*) Простым... Говорят, когда по радио передавали «Интернационал», он выстраивал всю семью в шеренгу и заставлял слушать партийный гимн, вытянувшись по стойке смирно...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Ну и что... В Америке тоже свой гимн слушают...

БИОГРАФ РУБЦОВА. Так ведь свой...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (*со сцены*) Михаил Андрианович компанейским человеком был... И выпить любил, и песни попеть... Когда возвращался со службы, первым делом заводил патефон...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Странно, но Николай Михайлович никогда не вспоминал в рассказах об отце...

АКТРИСА. А если и рассказывал, то каждый раз по-разному...

БИОГРАФ РУБЦОВА. А сколько раз он убивал своего отца в стихах? Помните: «На войне отца убила пуля»? А это правда, что Михаила Андриановича арестовывали в тридцать седьмом?

ЖЕНЩИНА. Рубцов рассказывал, что арестовывали...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (*со сцены, открывая книгу*) «Я родился, в семье значительного партийного работника. Его даже врагом народа объявили, потом освободили... Помню снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я

ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери... оказывается, это мы отца провожали. Его забрали, так мы с ним прощались. Это было в Емецке в начале 37-го. Отца арестовали, ну, как многих тогда. Он год был в тюрьме, чудом уцелел... Статья о его реабилитации была помещена, кажется, в 1939 г. в Архангельской областной газете... Отцу сообщили среди ночи, что он свободен. Он сначала не поверил, а потом собираться стал. Ему писем насовали, чтоб передал на свободе родственникам. Выпихнули его за ворота в глухую ночь, на улице мороз, а он в одном пиджаке и идти далеко. Ну, отец у нас крепкий был, ходовой мужик. Тетка потом мне рассказывала, отцова сестра, она тут, в Вологде, жила. Говорит: «Смотрю утром в окошко, вроде Миша бежит, ожигается, в одном-то пиджачке да по морозу-то...»

БИОГРАФ РУБЦОВА. (*к московскому другу*) Тут непонятно... Если Михаила Андриановича забрали в январе, то отчего же на нем был только один пиджак?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (*со сцены, читая книгу*) «Давно это было. За Прилуцким монастырем на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был ясный, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: «Держите его! Держите его!» И тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

– Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. «Стой! – закричал он. – Стой! Стой!» Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдрут: «Стой! Стрелять буду!»

Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом...» (*закрывая книгу*) Все это поразило меня... И впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было.

А сейчас, сейчас я хочу передать слово московскому другу Николаю Рубцову.

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (*поднимаясь на сцену*) Николай редко рассказывал о себе. Все что я знал о его семье, я знал из его стихов. Об отце, который ушел на фронт, когда умерла мать...

Голос его микшируется, он продолжает говорить, но мы слышим как разговаривают у сцены

БИОГРАФ РУБЦОВА. (*к актрисе*) Между прочим, когда началась война, Михаил Анд-

рианович стал заправлять военторгом в Кущубе... Соседи вспоминали, что Михаил Андрианович не забывал и себя, распределяя продукты... Жизнь пошла веселая, как раз такая, которая всегда нравилась Михаилу Андриановичу.

ЖЕНЩИНА. И, конечно же, появились и женщины. Семья стала тяготить Михаила Андриановича. Александра Михайловна тогда и начала жаловаться на сердце, а 26 июля 1942 года...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (со сцены)

Мать умерла.
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скудную природу...

ЖЕНЩИНА. Говорят, Николай умудрился потерять тогда хлебные карточки.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Да... Соседи вспоминали, что Николая сильно выпороли, и он сбежал из дома.

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (со сцены)

Откуда только -
Как из-под земли! -
Взялись в жилье
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменилось,
За мной пришли,
Куда-то повезли.

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип и плеск парома,
И крик «Скорей!»,
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу.

На сцену поднимается актриса.

ЖЕНЩИНА. (открывая книгу, читает)
«Вдруг голоса откуда не возьмись! Топот за окнами и хлопанье дверей... Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах проталкивает вперед присмиревших гостей». **(закрывает книгу).** Ребята, это ваши новые друзья. Они протопали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома, без передышки... **(Снова открывает книгу и начинает зачитывать фамилии).** Вася Черемхин! Коля Рубцов! Ложись на эту кровать. Мартюков подвинься!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (к биографу) В спальнях было холодно. Мне Анатолий Мартюков рассказывал, что не хватало постельно-

го белья. Спали на койках по двое. Рубцов - вместе с Анатолием Мартюковым. Не было и обуви - детдомовцы ходили в башмаках с деревянными подошвами. Еды не хватало, и дети воровали турнепс - пекли его на кострах.

ЖЕНЩИНА. (со сцены) «Годы были трудные, голодные, поэтому мало помнится веселого, радостного, хотя взрослые, как только могли, старались скрасить наше сиротство. Особенно запомнились дни рождений, которые отмечали раз в месяц. Мы с Колей родились оба в январе, поэтому всегда сидели за столом в этот день рядом, нас все поздравляли, а в конце угощали конфетами, горошинками драже. Как на чудо, смотрели мы на эти цветные шарики».

БИОГРАФ РУБЦОВА. (обращаясь к актрисе) А Рубцов вспоминал иначе... Помните...

Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, -
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

До слез теперь
Любимые места!
И там, в глуши,
Под крышею детдома,
Для нас звучало
Как-то незнакомо,
Нас оскорбляло
Слово «сирота».

Разница поразительная! Одни вспоминают детдомовский нищенский быт, а для Рубцова и нищета, и голод существуют как бы, на втором плане...

ЖЕНЩИНА. Да... Дело в том, что в Никольском детдоме жили, в основном эвакуированные дети. Из Белоруссии, с Украины... Из Ленинграда блокадного тоже были... Попав в детдом, они сохранили даже вещи родителей и очень берегли их. И многие верили, что после войны родители их вернутся и обязательно возьмут их из детдома - этой верой только и жили, тянулись со дня на день...

БИОГРАФ РУБЦОВА. (Он уже на сцене рядом с актрисой). Николай Рубцов тоже участвовал в этом захлестывающем детдом мечтаний о родителях. Он знал, что отец жив, и верил - а во что еще было верить? - вот закончится война, и отец заберет его, и в домашнем тепле позабудутся тоскливые и холодные детдомовские ночи.

ЖЕНЩИНА. И действительно, в сорок пятом-сорок шестом стали приезжать в Никольский детдом родители за детьми. Помню хорошо, как за первой из нас приехал отец - за Надей Новиковой из Ленинграда... **(Подни-**

маются на сцену вологодский и московский друзья Рубцова). Для нас приезд отца за Надей был большим праздником, потому что каждый поверил, что и за ним могут приехать. И жизнь наша с тех пор озарилась тревожным светом надежд, ожиданий...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Ждал...

БИОГРАФ РУБЦОВА. Он ведь не знал, что отец давно уже демобилизовался и, вернувшись в Вологду, устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги – на весьма хлебное по тем временам место... Но про сына, сданного в детдом, он так и не вспомнил. Да и зачем вспоминать, если он снова женился, если уже пошли новые дети...

ЖЕНЩИНА. Таких обманутых детей в детдоме было немало. Каждый переживал свою трагедию по-своему, и далеко не все могли пережить ее... Однажды у нас, в Николе, случилась беда. Утонул в Толшме детдомовец. Мы знали – это Вася Черемхин. В один из июльских дней, в «мертвый час», когда в спальнях царили сны, Вася вышел на улицу... Он всплыл в смутном месте реки, под Поповым гумном. Там стояла высокая темная ель... вода была темной и неподвижной. Два дня поочередно дежурили старшие на берегу ому-та».

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Но это потом, когда война кончилась... А во время войны... **(Открывает книгу, читает)** «Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки»...

Обнимает московского друга и они поют хором:

Скоро, скоро мы уедем
И уедем далеко,
Где советские снаряды
Роют землю глубоко!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (продолжая чтение) А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к родной школе. Там нас встречала Нина Ильинична и заботилась о нас, как только могла...

Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принадлежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготавливать чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. И мы с превеликим прилежанием выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго

по вечерам горел в ее окне свет, горел озабоченно и трепетно, как сама ее добрая душа. И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе: погиб на фронте муж...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Спасибо, скромный русский огонек...
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (обнимая москвича)

Мы детдомовски ребята
Мы нигде не пропадем!
В синем море не утонем
Бережочком пройдем!

БИОГРАФ РУБЦОВА. 12 июля 1950 года Николай Рубцов уехал в Ригу, уехал поступать в училище...

Замолкает, прислушиваясь. Из-за кулис доносятся голоса.

– **Фамилия!**
– **Рубцов!**
– **Сколько лет?**
– **Четырнадцать...**
– **Свободен! Не принят!**
– **Почему?**
– **Молод пока...**
– **Но я издалека приехал, дорога три дня... Здесь я никого не знаю...**
– **На будущий год приезжай! Следующий!**

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (Задумчиво)

Я в фуфаячке грязной
Шел по насыпи мола,
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:

ЖЕНЩИНА. (поёт)

Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно...

ХОРОМ.

Умолял, караулил...
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Кроме моря и неба
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,
Где толкают друг друга
И толкают друг другу...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...
О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (поет)

Так зачем мою душу
Так волна волновала,
Посылая на сушу
Брызги сильного шквала...

ХОРОМ.

Кроме моря и неба
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...

БИОГРАФ. Оборванный, голодный Рубцов
вернулся назад в Николу.

*Замолкает, прислушиваясь. Из-за кулис
доносятся голоса.*

– Ну, что, Рубцов... Не приняли в мо-
реходку?

– Нет...

– Ну, что поделаешь, парень. Иди то-
гда в наш лесотехникум...

ЖЕНЩИНА. 13 августа Николай Рубцов
уехал сдавать экзамены в Тотьму...

БИОГРАФ. В город, в котором тридцать
пять лет спустя, ему поставят памятник.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Здесь, в золотом
листопаде монастырских берез, и увидел я
впервые русоволового, с очень живым, заго-
релым лицом улыбающегося подростка...

*Смотрит, куда-то за кулисы. Из-за ку-
лис доносятся голоса.*

– Давай, Николай! Давай!

– Куда пошла, зелена рать?

Гремела рать, зелена рать

Пошла я в лес, зелена рать.

Грибы ломать, зелена рать!

БИОГРАФ. В Тотьме любили испытывать
себя на смелость...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Всей гурьбой шли в
полуразрушенный собор, от которого остались
только стены и внутренний карниз, прерван-
ный проломом. Нужно было пройти по кар-
низу на головокружительной высоте и пере-
прыгнуть через пролом.

ЖЕНЩИНА. Рубцов прыгал. Было жутко-
вато, но почти не страшно...

БИОГРАФ. В этом рубцовском прыжке на
головокружительной высоте, над темной
бездной погруженного в мерзость запустения
храма – очень много от предстоящей жизни,
от Пути, который назначено пройти ему.

ЖЕНЩИНА. Какая-то зияющая глубина в
нем была... Пропасть, знобящая тревога, не-
уют! Возле него всегда такое беспокойство ох-
ватывало... Место не возможно было найти
себе...

БИОГРАФ. Рубцову тогда еще не исполни-
лось шестнадцати лет... А потом?

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. А потом Рубцову
исполнилось шестнадцать, и, получив пас-
порт, он уехал в Архангельск...

ЖЕНЩИНА. Уехал позабыв в общежитии
техникума затрепанную тетрадку со своими
стихами...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Рубцова влекла ро-
мантика...

ЖЕНЩИНА. А, может, все было гораздо
проще? Может, ему просто есть нечего было?
Вот он и поехал искать счастья по России...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Дул холодный ве-
тер, густая темнота висела над рекой, как в
стихах, которые еще предстоит написать Руб-
цову...

ЖЕНЩИНА.

Была сурова пристань в поздний час,
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало поторапливали нас.

И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви! Тоской свиданий кратких!
Я уплывал... все дальше... без оглядки
На мгlistый берег юности своей.

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Забрызгана
крупно
и рубка,
и рында,
Но час
отправления
дан!
И тральщик
Тралфлота
треста «Севрыба».
Пошел промышлять
в океан...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Подумаешь,
рыба!
Треске
мелюзговой
Язвил я:
– Попалась уже? –

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

На встречные
злые
суда без улова
Кричал я...

**ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (складывая руно-
ром ладони)**

– Эй, вы!
На барже! —

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

А волны,
как мускулы,
взмывленно,
рьяно,
Буграми
в суровых тонах
Ходили
по черной
груди океана,
И чайки
плескались
в волнах...

По мере чтения стихов, актеры постепенно «расходятся», начинают дурачиться. Чем больше выдумки будет проявлено ими здесь – тем лучше. У зрителя должно возникнуть ощущение молодой энергии, наполняющей эти стихи.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Старпомы ждут
своих матросов.
Морской жаргон с борта на борт
Летит, пугая альбатросов,
И оглашен гудками порт.
– Иду!

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

А как же? Дисциплина!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Оставив женщин и ночлег...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Иду походкой гражданина
И ртом ловлю роскошный снег.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам

ХОРОМ:

В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (указывает на женщину)

Вот бледнолицая девица
Без выраженья на лице,
Как замерзающая птица,
Сидит зачем-то на крыльце.

ЖЕНЩИНА. (хрипловато)

– Матрос! –

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (поясняя)

Кричит...

ЖЕНЩИНА.

– Чего не спиться?
Куда торопишься? Постой!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

– Пардон!

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (поясняя)

Кричу...

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

– Иду трудиться!
Болтать мне некогда с тобой!

И Женщина, и оба Друга выходят на авансцену.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Я вырос
В хорошей деревне!
Красивым -
Под скрип телег!

ХОРОМ.

Одной деревенской
Царевне
Я нравился
Как человек!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Там нету домов
До неба,
Там нету реки
С баржой...

ХОРОМ.

Но там
На картошке с хлебом
Я вырос такой большой!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ.

Под звуки джаза,
Под голос
Притонных дам...

ХОРОМ.

Я выстрадал,
Как заразу,
Любовь к большим городам!

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Я зрею
Под рявканье МАЗов
На твердой
Рабочей земле.

ХОРОМ.

Но хочется
Как-то сразу
Жить в городе и в селе!

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (отбивая чечетку, идет в пляс)

Я весь в мазуте,
весь в тавоте,
Зато работаю в тралфлоте!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (берет гитару и начинает петь)

В твоих глазах –
Любовь кромешная...

ХОРОМ. (подхватывая)

Немая, дикая, безгрешная!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (поет)

И что-то в них
Религиозное...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. (кривляясь)

– А я – создание несерьезное –

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (поет)

Сижу себе
За грешным вермутом,
Молчу, усталость симулирую...

ЖЕНЩИНА.

– В каком году
Стрелялся Лермонтов? –

МОСКОВСКИЙ ДРУГ.

Я на вопрос не реагирую!

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (поет)

Пойми, пойми
Мою уклончивость,
Что мне любви твоей
Не хочется...

ХОРОМ. (подхватывая)

Хочу, чтоб все
Скорее кончилось!

ПЕРВЫЙ АКТЕР. (позабыв про гитару)

Хочу!

ЖЕНЩИНА.

Но разве
Это кончится?..

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. Я помню, как он встретил меня, когда я приехал к нему в Питер, где он работал на Кировском заводе... А получка на Кировском заводе доставалась нелегко... Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем... Суп отвергал... А потом он уехал учиться в Москву... Не знаю чего там случилось, но года через два он вернулся назад, к нам, на вологодчину...

Он продолжает выступать, но голос микшируется и мы слышим разговор вышедших на авансцену Московского друга и Журналиста.

ЖУРНАЛИСТ. (подсовывая Московскому другу микрофон) Расскажите, когда вы первый раз увидели Рубцова?

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Первый раз это было в редакции журнала, где я тогда работал... Помню, было жаркое лето... С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, шум пронсящих к Никитским воротам машин. Рядом с нами в Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути заглядывали ко мне... Человек по десять в день... И все со своими стихами... И вот однажды, заскрипела дверь, и в комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза... Я начал читать его стихи, и сразу вспомнил, что уже слышал об этом парне...

Постоянно его фамилия мелькала в разговорах абитуриентов. Дескать, Рубцов, Рубцов... Песни поет в общаге под гармошку. Ну, думал, какой-нибудь юродивый... А он вот какой оказался... Но я стал читать стихи и сразу забыл... о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет... Так мы и познакомились с Николаем, так подружился и дружба наша не прерывалась до конца его жизни...

ЖУРНАЛИСТ. Да... Я знаю об этом... Мне рассказывали, что вы его даже от тюрьмы отмазывали...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Ну, не совсем я... Вернее, не только я...

ЖУРНАЛИСТ. Но ведь такой случай был?

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Чего только не было с Колей... Я расскажу вам другое...

ЖУРНАЛИСТ. Вы про случай с тюрьмой расскажите...

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Я расскажу и про суд, но не сейчас...

Отступает от журналиста в глубину сцены, где идет «торжественная часть».

ЖУРНАЛИСТ. (наступая на него) А когда, если не сейчас?

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Когда время придет...

ЖУРНАЛИСТ. А сейчас что? Слабо?

МОСКОВСКИЙ ДРУГ. Сейчас не время... *(ныряет за спину женщины)*

ЖУРНАЛИСТ. Бойтесь правду рассказать?

ЖЕНЩИНА. Прекратите! Как вам не стыдно?

ЖУРНАЛИСТ. А почему нельзя говорить?!

ЖЕНЩИНА. (оборачивается к зэку) Мужчина! Почему вы разрешаете ему вести себя так...

ЖУРНАЛИСТ. А вы считаете, что нужно разрешение, чтобы правду говорить?

ЗЭК. А ты знаешь правду?!

ЖУРНАЛИСТ. Знаю! Мне инвалид рассказывал, которого Рубцов избил, когда они погром в ЦДЛе учинили!

ЗЭК. Я такой тебе погром сейчас устрою, что ты сам у меня инвалидом станешь!

Выталкивает журналиста со сцены.

ВОЛОГОДСКИЙ ДРУГ. (Он все еще на трибуне, и все еще продолжает говорить) Тогда, приехав в Вологду, Рубцов помирился со своим отцом... Помните, у него стихотворение есть... «Жар птица»... Впервые здесь Рубцов сказал об отце, как о живом человеке, которого не только *не убила на войне пуля*, но который сам *готовит ружье на лису*... Впервые Рубцову удается поставить точку в неразберихе отношений с отцом... Но это не всё... В конце июля 1962 года Николай Рубцов, на вечеринке, знакомится – во второй раз! –

со своей будущей женой Гетой... Я должен сказать, товарищи, что Генриетта Михайловна приехала сегодня к нам... (*Оборачивается к женщине*) Так ведь, Гета, было все?

ЖЕНЩИНА. Дак не знаю я чего рассказывать-то... Мы провожали в армию Владимира Аносова... Был праздник...

Медленно погружается в темноту помещение с митингом. Чуть в стороне – ярко разгорается летний день. Веселье парни и девушки пляшут под гармошку.

Гета медленно стягивает с головы черный платок и, сразу помолодев, шагает туда в ярко освещенный круг...

Играет гармошка, несутся по кругу пары, как огонь, вспыхивают частушки...

Вот Рубцов, увидев Гету, подламывая локтями, рванул лежащую на груди красномехую хромку и неожиданно резко запел...

– Девчонки-девчоночки
Отшибли мне печеночки.
Хожу я без печеночек,
А все люблю девчоночек.

ЖЕНЩИНА.

– Играй громчей.
Подпевай ловчей!
Нынче вечером узнаем —
Гармонист залетка чей?

Общий смех, крики: «Давай, Николай! Давай!» Хохочут.

ЖЕНЩИНА. (*наклонившись к подружке*) Кто этот парень-то?

ПОДРУЖКА. Ты, что не познала? В детдоме-то вместе росли... На дне рождения у тебя, помнишь, на гармошке играл и свое стихотворение пел... Вспомнила?

ЖЕНЩИНА. Нет...

ПОДРУЖКА. Дак Колька это, Рубцов! Погостить приехал!

ЖЕНЩИНА. Ой! Он же лысый-то совсем стал!

ПОДРУЖКА. Лысый... Лысина, говорят, в хозяйстве вещь полезная...

ЖЕНЩИНА. Для чего?

ПОДРУЖКА. А говорят, блины пекчи удобно!

ЖЕНЩИНА.

– Ты подружка, запевай,
Но меня не задевай.
Если хочешь поругаться,
Поругаемся давай.

РУБЦОВ.

– Капуста, капуста
Капустится.
Постоит, постоит
И – опустится

ЖЕНЩИНА.

– Как я с Колей на гулянке
Сапогами топала.

Хотя Колю не любила,
А конфеты лопала

С пением частушек, с перестуком каблучков, исчезают со сцены танцующие, в кругу света остается одна только Гета. Она медленно повязывает голову платком. Уже ничего не осталось от праздника.

Гета проходит к декорациям, изобраающим казенное помещение, садится там на стул.

ЖЕНЩИНА. Осенью я поехала в Ленинград, устроилась в Ораниенбауме почтальоном... Когда разыскала общежитие Рубцова, его уже не было там... Я ему записку оставила, где я... А 25 октября у меня был день рождения... Я сидела одна в общежитии, и грустно думала, что даже знакомых у меня нет здесь...

Распахивается дверь и в нее заглядывает подружка.

ПОДРУЖКА. Ты чего сидишь-то тут, Гета...

ЖЕНЩИНА. А чего?

ПОДРУЖКА. Дак тебя молодой, красивый там спрашивает... Сходила бы посмотреть... Да вон он, сам идет...

Входит Рубцов.

РУБЦОВ. Можно?

ЖЕНЩИНА. Проходи, Николай... Садись...

РУБЦОВ. А где же праздник? У тебя вроде день рождения сегодня...

ЖЕНЩИНА. Не забыл?..

РУБЦОВ. Детдомовское не забывается...

ЖЕНЩИНА. Не с кем, Николай, праздновать... Я ведь не надеялась, что ты приедешь...

РУБЦОВ. Ну, а я приехал... Я, Гета, с похорон еду. Отца хоронил...

ЖЕНЩИНА. Болел-то долго?

РУБЦОВ. Нет... Еще летом, когда я в Ни-
колу заезжал, здоров был... Потом я в Москву экзамены сдавать ездил, а вернулся в Ленинград – тут письмо... Пишет, что болеет... А немного времени и прошло – телеграмма пришла... Уже в Москве... Чтобы на похороны приезжал... У тебя, правда, ничего выпить не куплено? Я все деньги на похороны проездил...

ЖЕНЩИНА. Дак есть подружкам-то бутылка взята...

Встает, ставит на стол бутылку вина, стакан.

РУБЦОВ. Чего один-то? Выпей тоже... День рождения ведь не у меня...

ЖЕНЩИНА. Пей, Николай... Отца помянуть надо... Вспомни, как о родителях в детдоме-то мечтали... Сколько тогда думано было... Твой-то за что сидел?

РУБЦОВ. (*Наливает вина в стакан. Пьет*) Лучше бы уж сидел...

ЖЕНЩИНА. Да что ты, Николай! Ты у матери моей спроси, каково там было... Ее за колоски судили, и столько годов в заключении провела...

РУБЦОВ. А мой, Гета, хоть и украл, говорят, вагон с яблоками, а не сидел... *(кивает на стену)* Чья это гитара у тебя...

ЖЕНЩИНА. Подружки... Сыграй что-нибудь...

Рубцов берет гитару. Перебирает струны. Потом смотрит на бутылку. Гета наливает ему вина. Рубцов начинает петь...

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.
Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.
На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...
Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

Откладывает гитару. Смотрит на стакан с вином.

РУБЦОВ. Что ты, Гета, как не детдомовская? Поддержи компанию... Хорошо разве гостю одному пить...

ЖЕНЩИНА. Да ведь не знаю, нельзя мне...

РУБЦОВ. Болеешь что ли?

ЖЕНЩИНА. Не болею...

РУБЦОВ. А чего тогда?

ЖЕНЩИНА. *(опустив голову)* Дак ребенок у меня будет...

РУБЦОВ. *(внимательно смотрит на нее)* У тебя?

ЖЕНЩИНА. Дак у нас с тобой, Коля...

Рубцов поднимает стакан и пьет.

Свет меркнет. Рубцов хотя и рядом сидит с Гетой, но смотрят они в разные стороны. Женщина встает. Завязав платок, выходит на авансцену.

ЖЕНЩИНА. Утром мы простились на ораниенбаумской платформе. Денег у Рубцова совсем не было... Я купила ему билет на электричку до Ленинграда. Было сыро. В свинцовой дымке едва проступали вдалеке очертания Кронштадта. Дул с залива холодный, пронзительный ветер. Летели на мокрый перрон последние листья...

Подходит к Гете Рубцов. Остановливается рядом, угрюмо сутулится...

ЖЕНЩИНА. Электричка идет...

РУБЦОВ. Я поеду...

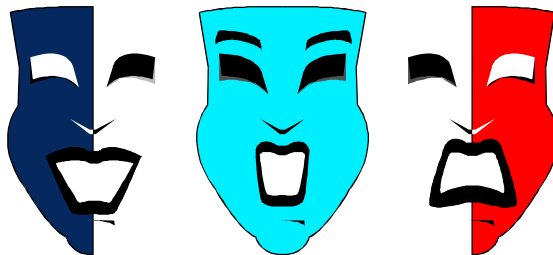
ЖЕНЩИНА. Что мне делать, Николай...

РУБЦОВ. Поеду я... А ты... Ты, Гета, в Николу возвращайся, к матери... Чего тебе здесь одной бедовать?

Отходит в сторону.

ЖЕНЩИНА. *(повернувшись к зрительному залу)* И я вернулась назад в Николу, из которой больше уже не уезжала никуда. Устроилась работать в клуб на тридцать шесть рублей жалованья. В апреле у нас родилась дочка... Мы тогда получили телеграмму из Москвы... *(откуда-то из рукава достает бумажку. Разворачивает и читает)* «Назови Леной. Очень рад. Коля»... А потом он приезжал в Николу на каникулы... Жил у нас, когда его исключили из института... Перед смертью он тоже просил приехать к нему, привезти Лену на Новый год... Но мы не смогли поехать... Дороги замело снегом и автобус не ходил...

(Окончание следует)



СТИХА ТВОРЕНИЕ**Борис ОРЛОВ****МОЕ СЕЛО***К.К. Озерову*

"Брей тово!" – все равно, что с санскрита перевод... Так вот с ним и живем.
Мы потомки воров и бандитов,
бритых наголо русским царем.

От бояр и дворян убежали...
"Стой, купчишка, покуда живой!"
Наших предков нещадно стегали
вызывные стрельцы за разбой.

И работой, и пьянкой нескромной
удивляли весь благодный мир.
Наше Брейтово, если припомнить,
утром – фабрика, ночью – трактир.

Воля вольная... Бога приемли
да ума набирайся из книг!
Наши земли – кремлевские земли! -
обходил стороной крепостник.

...Все в былом! Мы пока еще живы,
но печальнее день ото дня.
Нас встречают заглохшие нивы
и пивбар под названьем "Чечня".

* * *

Кажется, что не жила, а пела
Нецензурно... шел за годом год.
Нечего продать ей, кроме тела -
Душу даже дьявол не берет.

Не находит на вокзале дела –
Мало лиц, зато хватает морд.
Нечего продать...! И даже тело
Не потянет и на третий сорт.

* * *

Лишенные и голоса, и крова,
Мы утонули в ненависти лютой.
В стране свобода слова... но такого,
Которое оплачено валлотой.

Калеки, старики, сироты, вдовы
Унижены – на бездуховность мода.
В стране свобода слова... но такого,
В котором похоронена свобода.

* * *

Призраки коварства и мытарства
Топчутся пугливо у ворот:
Тот изображает государство,
Этот имитирует народ.

Атмосфера хаоса и блуда.
Семь кругов – не семь небесных сфер.
Каин – прокурор, судья – Иуда,
Главный идеолог – Люцифер.

* * *

И пьем не то, да и едим не так,
А в результате – койка, шприц и клизма.
Не только водка, женщины, табак -
Жизнь вообще вредна для организма.

И от микробов нам не убежать,
И не взлететь над безвоздушной бездной.
Всё вредно: и дышать, и не дышать...
При этом вряд ли умирать полезно.

Вера ЧИЖЕВСКАЯ*г. Обнинск Московской обл.***РОДСТВО**

Цыгане, пойте! В вашей власти я!
Вся трепещу в густом многоголосье,
Где петь никто и никого не просит,
И песня словно сущность бытия.

Пригрезится неясное родство –
И мне цыганка, будто бы в награду,
Споет свою старинную балладу,
В которой, что ни слово - колдовство!..

И я готова броситься в рассвет,
украсть коня, и жечь костры ночами,
Гадалкой стать и сладкими речами
Вас обмануть за несколько монет...

Цыгане, пойте! Я вам подпою
О дивном сне, напоминавшем сказку,
Где ром седой с улыбкою цыганской
Клал колокольцы в колыбель мою...

Ром - цыган (*прим. ред.*)

Галина КАЗАНСКАЯ

* * *

Любую боль легко перенести,
Внушив себе, что все не так уж плохо
И, не издав ни стопа и ни вздоха,
Идти вперед по прежнему пути.

Зачем себя проблемами терзать,
Что в сущности значенья не имеют?
Плоды ведь упадут, когда созреют,
Нам нужно только терпеливо ждать.

Решиться так, иначе ли вопрос –
Не из чего не надо делать драмы.
Но мы порою, как ослы упрямы,
Воспринимая слишком все всерьез...

В. СТАН

ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ РЫЖАЯ...

С годами чувства не стареют

Говорят, что ты рыжая – нет,
Это солнце под челкою скрыто,
Всем оно золотистый свой свет
Раздает с головы непокрытой.
Пусть девчата с усмешкой глядят –
Их завидки берут, несомненно.
И нередко мальчишеский взгляд
Замечала сама ты, наверно.
Тот огонь в волосах увидал
Прошлым летом мальчишка курносый,
«На беду» засмотрелся тогда
На волнистого золота россыпь.
С той поры для него солнце – ты.
Как любитесь он волосами!..
Всё забыл, ведь такой красоты
И не снилось мальчишке ночами.
Ну, конечно, ты рыжая, да.
И ни с кем понапрасну не спорь ты.
Сохрани, сбереги этот дар
И, прошу, цвет волос не испорти.

1959 г.

Александр СИДИХИН

* * *

Путь к часовне очень длинный,
К вере он еще длинней.
Покрестились, но забыли
Одолеть дорогу к ней.

Неокрепшему сознанию
Страшен всякий передел.
Снова в сердце колебанья...
Значит, рано – не созрел.

Душу рвут противоборства,
Несмирения судьбой,
Ненависть через покорство...
Вечный спор с самим собой.

Да, терпеть бывает больно,
Но зато среди забот
Забывается неволью
То, что так порой гнетет.

* * *

Даль туманом путь мой стелет,
Вдоль залива лентой водит...
За густой стеной пшеницы
Незаметны, вы, Страшницы!

Вот он – дом за косогором
На меня глядит с укором.
Вижу, в середине дня
Здесь никто не ждет меня...

Разве, эти повитухи –
Две беззубые старухи.
Им щербины не помеха:
Чешут – кто, за чем приехал.

Сразу по глазам читают.
Опыт, как в тазу водицу,
При дожде не расплескают...
Знают – сын домой стремится.

Те же: голос у калитки,
На веранде дверь упряма.
Мой блокнот – мои пожитки.
Всё,
Я дома –
«Здравствуй, мама!..»

ПРОЗА XXI ВЕКА**Вячеслав ОВСЯННИКОВ****МОЯ ЕЛЬ***(Рассказ)**6 марта*

Вот я и вернулся под крышу родного дома. Теперь уж, надеюсь, я никуда отсюда не уеду и дотяну тут до своего конца. Последний раз я был тут десять лет назад. Много воды утекло с тех пор. Теперь я тут один. Все мои в земле. Елочка, которую мои родители посадили в саду в год моего рождения – ее не узнать! Это ель! Не обхватить! Красавица! Стройная, разлапистая, шишки развесила. Радость ты моя! Ладно, проживем еще. Я книг с собой привез, кучу книг, целый кузов. Грузовик чуть не сломался, таща мою библиотеку сюда из города. Ничего, ничего, скучать не будем. Правильно я говорю? Чтения на мой век хватит, а это для меня главное.

7 марта

Эту ночь я плохо спал. Дом промерз. Пришлось встать посреди ночи и опять затопить печь, хотя с вечера я жарко натопил, не жалея дров. Толстое ватное одеяло, лыжный костюм, шерстяная шапка на макушке, только лыж и палок не хватало, вот как я спал и проснулся в восьмом часу с головной болью. Еще темно, сад в снегу, моя ель и над ней месяц – яркий гребешок. Не знаю, что меня потянуло, я надел пальто и пошел к ели. Она в углу сада, снегу много, я перелезал через сугробы, проваливался, наконец, добрался. Стоял, гладил ее по потресканной коже, прижался щекой. Мне было так хорошо, как никогда еще не бывало в моей жизни. Несмотря на холод в мире, тело ели было теплое и пахло смолой.

14 марта

Яркие, голубые дни. Колесо повернулось к теплу, и сегодня утром я слышал, синичка пиликала у меня в палисаднике. Я не бил баклуши. За эту неделю я совершил много полезных, практических дел. Надо хорошо меня знать, чтобы оценить по достоинству проявленную мной предприимчивость и незаурядный энтузиазм. Не каждому дано так решительно преодолеть свою природную лень, победить вялость духа и из апатичного слюнтяя превратиться вдруг в человека с энергичным, кипучим характером. Не мешало б взглянуть в зеркало: не раздались ли у меня скулы и не стал ли подбородок квадратно-волевым, как у

героя кино? Что ж скромничать, я горжусь своими подвигами. Во-первых, я сходил в поселковый совет и уладил там свои отношения с государством. С одного маху не удалось, я ходил в это учреждение четыре дня; там так много кабинетов, что в глазах рябит, и у каждой двери уже с раннего утра посетители толпятся, а очередь движется медленно, черепаха быстрее ползет. Но я не роптал, я набрался терпения и справился с великим делом. Теперь у меня на руках документы с печатями и подписями юридических лиц. Любой может удостовериться, что я имею полное законное право владеть моим домом, в котором родился 60 лет назад. Кроме того, я хозяин целого поместья: в моем владении 12 соток земельного участка! Во-вторых, я побывал в местном отделении милиции и получил новую прописку в паспорте. В-третьих, я нашел лесобазу и договорился, что мне привезут машину дров. Зима еще не махнула ручкой, а в сарае у меня три щепки. Это не все. Я насадил новый черенок на лопату /старый сломался в сучке при первом же моем напористом нажатии/ и расчистил от снега дорожку к моей ели. Теперь я могу навещать ее, когда захочу, беспрепятственно.

20 марта

Мне привезли самосвал дров, пять кубометров. Свалено на дороге перед моим домом. Береза, осина, толстые, тяжелые бревна. Теперь их перетаскать на двор, распилить и расколоть. Сам справлюсь. У меня есть топор и двуручная пила. Я очень хорошо приспособился пилить один двуручной пилой, кладу бревно на козлы, прижму и – вжик-вжик. Словно я с невидимкой на пару пилю. Зачем мне чья-то чужая помощь? Кого-то просить... Просить для меня – хуже смерти. А нанимать – я не так богат; обдерут как липку. К тому же все они балаболы, у меня с некоторых пор появилось отвращение к новым знакомствам, я решил ни с кем тут не знакомиться, и пока, к счастью, не видел ни одного соседа, ни справа, ни слева.

Весь день до позднего вечера я таскал бревно. Я вот что придумал: взял канат, связал петлю, затянул на конце бревна, с другого конца каната тоже петлю завязал, надел на себя через голову, на грудь, взялся, уперся, сдвинул рывком и волоку, как бурлак, по сне-

гу все равно что по маслу идет. Таким способом всё и переправил к себе на двор. Устал, работа все-таки, тяжелая. Но зато никто теперь не будет меня упрекать, что я загородил дорогу и создал препятствие их ногам и колесам. Я человек аккуратный, люблю порядок, я даже весь сор убрал, ни щепки после себя не оставил, чисто подмел улицу, как будто тут ничего и не было. Совсем уж в темноте, когда заря погасла и первая звезда прорезалась, я пошел навестить мою ель. Стоял, обхватив руками и прижавшись щекой, без мыслей, в каком-то беспамятстве.

29 марта

Работа закончена. Я один без посторонней помощи распилил бревна, расколол чурбаки на ровные полешки и сложил в поленницу. Сарай заполнен доверху, и теперь я спокоен, дровами я обеспечен на новую зиму, и в доме у меня будет тепло. А эта зима, похоже, растаяла в одну ночь, и ее студеная душа улетела к своему суровому отцу – Северному полюсу. Она, как и я, вернулась в свой родной дом. Еще вчера снег пластом лежал в саду, а сегодня – ни клочка, как слизано, ручьи бегут. В канаве – бурный поток. Так тепло, что я снял ватник и шапку, повесил их на колышки забора, стою тут у калитки и смотрю на быструю воду. Я люблю смотреть на бегущую воду и на огонь тоже люблю смотреть, как он полыхает, яростный, и на черную, взрытую землю, и на ветер. Все четыре стихии мне любы. Есть и пятая...

– Что, утопленника нашел? – раздался голос с дороги. – Тут каждую весну утопленники всплывают. Оттают и всплывают в канавах. В прудах – как плоты, распухшие, мужик или баба, не разберешь. Тащи к себе в сад! Чего на него любоваться! Удобрение – высший сорт!

Смотрю: седобородый, в ватнике, как у меня, шапка набекрень, дед Мазай. Я машинально провел пальцами по подбородку, зарос, щетина. Так был занят заготовкой дров, что забыл бриться. Вот, думаю, стоит передо мной незнакомый человек, а как будто мой брат, у него есть тень, и тоже – отбрасываю свою, мы с ним родня, братья Тени. Голова у него круглая – как небо, ступни квадратные – как земля...

Ель моя посветлела, каких-то птах приютила у себя в лапах, маленькие птички с желтой грудкой, а звону от них – заливаются колокольчиками – дин-дин-дин. В городе есть такие магазины, у них входная дверь с колокольчиком, входишь-выходишь – звенит, тонко, мелодически, серебряной трелью. И там бывал, и не раз, с кем-то, кто был дорог моему сердцу, в старые, забытые годы, но что там, в этих магазинах продают – убей, не помню.

Я пошел к вокзалу купить бутылку вина.

Никто тут мне не удивляется, ватник, сапоги, небрит – свой в доску. Туда шел по шоссе, солнце слепит, самосвалы с песком проносятся, ревя колесами, расплескивая лужи. Обрато – через лес, по корням, они, как жилы, змеятся. Железная кровать, чемодан, ржавый газовый баллон, черные волнистые диски с дырочкой в центре, сосновая иголочка по ним в вальсе кружится. А на этой что? Сличенко?..

Устроил пирушку: поставил табуретку под моей елью, сел, бутылочку откупорил, налил красного вина в стакан. "За что пить будем, – спрашиваю. – "Твой тост!" – "Последний луч пурпурного заката" – поет она. – "Я ехала домой, я думала о вас". Захмелел, не встать. Крепкие градусы. Крутится, меридианы. Звезд! Числа им нет! Вселенная!

4 апреля

У меня столько хлопот по хозяйству, что некогда посидеть с книгой. Прежде всего я решил выбросить весь хлам, накопленный поколениями. Чего только я не нашел в доме, в подполе, на чердаке, по всему участку. Обувь без пары, ведра без доньев, морской китель без пуговиц, тазы, чайники, банки, склянки, кости, гвозди ржавые, тряпье, склад пустых бутылок, поршни, шланги, провода, пружины, части неизвестных механизмов, что-то похожее на швейную машинку, как бы точильный мотор с наждачным кругом, как бы половина слесарных тисков, корпус от чего-то, сгнившие шкуры. Горы барахла, казалось, век не перетаскаю. Я нагружал тележку доверху и вез к лесу. Там у местных жителей устроена гигантская свалка, которая простирается на версту вдоль дороги. Я возил пять дней, с утра до ночи. Последнюю тележку, самую тяжелую, с железом, отвез сегодня. Едва дотащил, долго не мог отдышаться, сидя на пне в лесу. Зато теперь у меня и в доме, и на участке – аскетическая чистота. Оставлены только нужные для жизни вещи. Освободясь от дряни, я почувствовал большое облегчение, словно родился заново, теперь я другой человек и все у меня будет по-новому. На этой волне, и часа не отдохнув, горя нетерпением, я взялся за тряпку и швабру и сделал большую приборку в доме: вымыл полы, обтер пыль, смел паутину с углов и мертвых мух с подоконников. В доме четыре комнаты, чердак и подпол. Я сплю в уютной комнатке с окном в сад. Это восточная сторона, отсюда я вижу мою ель, она как на ладони. Тут же у меня рабочий стол и часть книг, им не хватило шкафов и книжных полок, и они сложены вдоль стен, как кирпичи. Нужен стеллаж, доски есть, рубанком я когда-то умел работать. Но это не к спеху. Удивительно: с тех пор, как стал тут жить, не прочитал ни страницы, не написал ни строчки и ничуть не тянет. Да, это ведь та самая комната,

где я спал в свои ранние годы, когда дом еще был полон голосов, скрипели половицы и пели двери. Та же кровать, задняя ножка также выпадает из паза. Матрас, постельное белье, подушка. Старые друзья. Только теперь мне одной подушки мало, я кладу себе под голову две; не так давно, лет десять-двенадцать назад я полюбил высокое изголовье. Раньше я спал на боку, я хорошо помню, на правом боку, как положено, а теперь я сплю исключительно на спине, вытянув руки вдоль туловища, словно солдат но стойке "смирно" перед генералом. На боку спать я совершенно разучился, и мне уже не свернуться калачиком, как бывало прежде, тело не желает, оно категорически против, и я не хочу с ним спорить по таким пустякам и пытаться сломить эту привычку.

10 апреля

Обрезал яблони. Они старые, много сухих суков, стволы расщеплены, поросли мхом и лишайником. Почистил, замазал садовым варом, побелил. Сучья собрал в кучу и разжег костер. Пламя плясало, огненные космы, шаман, бубенцы, изгонять злых духов из моего сада...

– Хозяин! – услышал я крик с улицы. Оставив костер гореть без присмотра, я пошел узнать, в чем дело.

Женщина с велосипедом. Агент страхования. Не только от пожара, от наводнений – тоже, от землетрясений, от ураганов, тайфунов, от извержения вулкана. От всех стихийных бедствий, вместе взятых. От любого рода несчастий; даже, если метеорит вздумает упасть именно на мой дом, презрев соседей, то и тогда я получу в возмещение ущерба кругленькую сумму, которой буду несказанно рад, имея все-таки хоть что-то, а не пустые руки. Симпатичная, словоохотливая, и этот беретик... Да, у нее собачье чутье, этим она отличается, на другом конце поселка повела ноздрями – дымом пахнет. Вот и прикатила на дымок.

Проявил любезность, пригласил в дом.

– Какая чистота! – удивилась она. Сняла сапоги и, оставив их за порогом, вошла в комнату. Чулки тонкие.

Она писала за столом свои страховые квитанции, а я тем временем достал деньги из кошелька и, сжимая их в кулаке, ждал, когда она закончит.

– А книг-то! – заметила она, озираясь. – Как у профессора!

Проводив ее до дороги, я снял шапку. Жарко. Ее велосипед расплескивал лужи, она ехала, виляя, крепко держась за рога, которые, казалось, перестали ей подчиняться и вырывались у нее из рук.

Потемнело. Повалил снег с дождем. Я уже не мог работать в саду. Не смыло бы мою по-

белку с яблонь. А ель моя! Пошел к ней и опять обнял ствол и, прижавшись, стоял, слушал шум непогоды. Долго я находился в этом чудесном забытии; с шорохом скатывались капли по иглам, хвоя вздрагивала.

15 апреля

У меня горячие дни. Тружусь как пчелка. Работы в саду невпроворот. Даже весело: такую кипучую деятельность я тут развил. Руки соскучились по лопате. Я же прирожденный землекоп, так и родился с лопатой в руках. У меня грандиозные планы: устрою у себя райский сад, посажу яблони с райскими яблоками, у них алые бока и черви их не смеют трогать – бог запретил. Начал копать участок за сараем – там картошке самое место. Земля, как пух, сама копается, припеваючи. Полдень. Цыгане орут с дороги, лица у них, как желуди, козырьки блестят, старый цыган и молодой, продают конский навоз. Я купил телегу навоза, перевозил в тачке на огород. На грядках будет тучная почва. Семена я привез из города, всякие овощи. Пошел с мешком на рынок. Старик продает картошку с синими глазками для посадки. Сорт "Чародейка". Не пожалею. Дома посмотрел по лунному календарю: какой благоприятный день для посадки картофеля. В полнолуние, оказывается, нельзя, не советуют. Ну, пусть. Нашел четыре железных бочки, почистил от ржавчины и покрасил суриком. Как пожарные. Поставил, когда высохли, с четырех углов дома, под водосток, мои часовые на страже с четырех сторон света, откуда бы туча не пришла, предупредят и примут удар. Мне бы еще водоем в саду. Думаю вырыть пруд, саду нужна вода. На дождь надейся, а сам не плошай. Да и мало будет четырех бочек при таком размахе моего садоводства. Решено – сделано. Сразу стал рыть котлован недалеко от того места, где моя ель растет. Она протянет корни в пруд и напьется вволю. Летняя жара не страшна, когда есть свой пруд. Я взялся за работу с большим воодушевлением, к вечеру сделал порядочно, углубился по поясу. За слоем глины пошел песок, копать легче. У забора нашел большой камень, перекатил его к ели. Он оброс мхом, как зеленый бархат, сидеть мягко, и что-то вроде спинки есть. Отличное кресло.

25 апреля

Моя посевная, благодарение небесам, закончена. Весна в этом году необычайно ранняя, сильно забежала вперед, сад весь в цвету; и я тоже словно живу ускоренной жизнью и бегу вперед самого себя. За десять дней я совершил великие дела. Построил оранжерею на южной стороне сада и застеклил синим стеклом. Это стекло и металлический сборный

каркас для оранжереи мне тоже цыгане доставили. Они тут целыми днями кружат по дорогам, грохоча своей телегой и предлагая жителям нужные в хозяйстве вещи. Конь – зверь, сивый дьявол, косматая грива до земли, глаза горят волчьими. А наложил на дороге, дай бог! Такие бомбы дымятся! Я поспешно вышел с ведром и лопатой и собрал. Удобрение для моих питомцев. Я сделал это вовремя, опередив соперников. Из соседних домов уже бежали женщины с совками и ведрами, но увидев, что я опередил их, ворча, повернули назад. Только одна кривоногая старуха в кирзовых солдатских сапогах, которая обогнала всех и оказалась ближе других к дарам коня, обескураженная неудачей, как громом оглушенная, не сдержав своего огорчения, топнула кривым сапогом и крикнула, глядя мне в лицо лютым взглядом: "Понаехало каких-то!" Я пропустил мимо ушей этот злобный выпад.

У цыган, как я заметил, кроме конского транспорта, есть и машина: ярко-красного цвета, как огонь. С утра до вечера курсирует от вокзала до табора и обратно, привозя-увозя молодых цыганок. Разукрашены, поют, кричат, золотые обручи в ушах, пляшут на сиденьях, размахивают руками, высунув их за стекло кабины, машина вихляет боками, вот-вот опрокинется в канаву. Одна цыганка сидит сверху на кабине, скрестив босые ступни, и курит. За рулем невозмутимый молодой цыган.

Четыре дня и четыре вечера я рыл пруд. Он глубокий, скрыл меня с головой. Я придумал ему форму совершенного квадрата: 4м x 4м. Пифагорейский тетрактис. Вырытую глину я свозил на тележке к северной границе участка. У соседей, с которыми я граничу с этой стороны, почва неплодородная, болото, кочки. Сваливая глину, я видел две сутулых фигуры, они копошились недалеко от меня, за ржавой сеткой забора, сажали куст крыжовника. Я с ними поздоровался, они не ответили на мое приветствие, только посмотрели на меня исподлобья враждебным взглядом. Женщина в косынке по-крестьянски, мужчина – в пятистой армейской куртке. Пруд, чтоб укрепить берег, я обложил булыжником. Вода уже набирается по щиколотку, пробился подземный ключ. А если дождь поможет, то вот пруд и полный.

Посадил картошку, следуя указаниям лунного календаря. Для каждой картофелины делал лунку, подсыпал печной золы, клал навоза и, пошептав магическое заклинание, засыпал землей. Чародейка. Проверим в августе: обманул или нет старик.

По окончании дела поздним вечером сижу на камне возле моей ели. Слова нам не нужны; она, как и я, любит молчать. В последнее время у меня появилось отвращение к людской речи, тошнит от слов, от всего сказанно-

го. Дошло до того, что я теперь не могу читать книг даже любимых мной писателей, не могу читать стихи. Да, теперь и стихи не могу. Другая жизнь и берег дальний. Мне кажется, теперь я до гробовой доски не раскрою ни одной книги, кроме «Справочника садовода и огородника».

3 мая

Я обхожу мой сад. Полный триумф. Чудеса роста. Мои растения словно с ума сошли, у них неслыханный темп, я никак не ожидал такого успеха. Ведь я не делал ничего особенного, не применял никакой химии, обыкновенные крестьянские средства. Огурцы, помидоры, тыквы, укроп, редис, лук, салат – все какое-то великанье. Картофель уже зацвел, ботва могучая, как лес стоит. Что же за клубни будут? С человечесью голову? Вечером ко мне явилась толпа садоводов, пришли даже с самых отдаленных домов, они желают, чтобы я поделился знаниями, открыл тайны. Я их разочаровал и сказал, что у меня нет никаких тайн, я сам не могу себе объяснить, почему у меня такая феерия. Они не поверили, ни один из них. Подозрительно и хмуро глядели они на меня, и на мой сад, и на мой дом. Когда они ушли, я запер калитку на замок. Я решил с этого часа никого не впускать на мой участок.

Ель моя выпустила новые зеленые веточки на концах своих ветвей. Иглы мягкие, кислые. От цинги. Теперь у нее есть сестра – отражение в пруду. Пруд наполнился, вода прозрачная – горный хрусталь, на дне ключ бьет. В пруду появились обитатели: и водоросли, и головастики, и пиявки. Карасей бы развести. Сажу на камне, уже темно, ночь. Честно признаться, я встревожен, это нашествие садоводов не выходит у меня из головы.

17 мая

Сад растет стремительно, словно он одержим манией плодородия.

Деревья, кусты, растения охвачены общим порывом, в их корнях и жилах кипит могучая сила и с чудовищным ускорением гонит их к цели их жизни – к созреванию плодов, к урожаю. Каждая ветка, каждый листок трепещут в необычайном возбуждении, они как под током. Утром я выхожу в сад, и сад поворачивается ко мне всеми своими сучьями и листьями, как к солнцу, мое появление вдохновляет его на ботанические подвиги, он творит чудеса, его плоды растут и наливаются у меня на глазах. А что делается с садами соседей? Они обезумели, они все тянутся ко мне, устремились в мою сторону, они вырываются корнями из земли, пытаются достичь того, что их влечет, и гибнут, несчастные, жертвы своего неудержи-

мого желания. Пришли жители с улицы Ми-чурина, кричали и угрожали мне смертью: они разорвут меня на куски, если я не прекращу свои телепатические опыты. Не знаю, как их умиротворить, они не хотят меня слушать.

В пруду появилась рыба: караси и карпы. Откуда они взялись? Как бы то ни было, рыба играет в моем пруду; в день скармливаю этим ненасытным грам буханку.

Теперь я редко покидаю пределы моего участка. Я окружен враждебностью, кожей чувствую сотни злых глаз, горящих ненавистью, со всех сторон, как дула ружей, направленных на меня и мой сад. Сегодня обнаружил: пропали все четыре бочки под водосточками на углах дома для сбора дождевой воды. Вчера был ливень, бочки были полны. И вот – вода вылита, бочек нет. Их катили по дорожке (остался след). Должно быть, перебросили через забор; калитка у меня на замке.

Мне понадобилось сходить в магазин к вокзалу, у меня кончилась крупа и чай. Как только я сделал несколько шагов по дороге, на меня посыпались камни, брошенные невидимой рукой. Зря злобствуют, ни один камень в меня не попал; камни сами отклонялись от мозга тела, они не хотели причинять мне вреда.

Вечером я сижу под моей елью. У нее новые шишки, изумрудные, смолистые. И слышу, как ель молчит: глубокий колодец, полный чистой прозрачной воды; и мне легче.

30 мая

Пора собирать урожай, мои овощи лопаются от спелости, мои фруктовые деревья и ягодные кусты согнулись под сочным грузом; ветви ломаются, не выдерживая такой лавины плодов, хотя я поставил по всему саду подпорки. Сегодня обнаружил, что у оранжереи разбиты стекла. Раздались крики с улицы, полетели камни. На дороге перед моим домом опять собралась толпа, на этот раз вдесятеро больше, вооруженная садовым инвентарем; запрудили всю улицу, ревели, угрожающе размахивая лопатами, мотыгами и граблями. Решив их задобрить, я вынес им ведро вишен, собранных накануне, ведро опрокинуто ударом ноги, вишни раздавлены. Тогда я предложил им взять весь урожай, я еще выращу. Это они поняли.

Толпа, ликующе взвывая, ринулась на мой участок. Повалили забор, сорвали с петель калитку и отбросили далеко в сторону. Меня сбили с ног, я упал в канаву. Сотни рук опустошали мой сад, женщины, старики, дети, взрослые мужчины с толстыми, красными мордами тащили полные ведра, корзины, ящики, катили тележки и тачки, стремглав мчались к своим домам, торопясь вернуться и

взять еще. Их глаза горели жадностью. Через час от моего сада остались рожки да ножки, он весь был переломан и вытоптан. Мамаево побоище. Я стоял и смотрел на это разорение, сжав кулаки.

Вечером того же дня, когда я возился под морозящим дождем, восстанавливая порушенный нашествием забор, ко мне опять обратилась та женщина, агент страхования. Она ехала мимо на своем велосипеде и, увидев меня, решила поговорить. Я хорошо сделал, что застраховал свой дом и участок, что ж, она права. Чтобы сказать мне это, ей вовсе незачем было слезать с седла. Да, вишни были хороши, дорога наелась досыта, синяя, в соке... Посмотрела на меня, добрые и грустные глаза, зачем ей такие глаза, ей, агенту страхования?

– Уезжайте-ка Вы отсюда, – сказала она. – Чем скорей, тем лучше.

.....

Не спится. Пошел к моей ели. Простоял около нее всю ночь. Ветер, песня вольная добра молодца, "Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка..." Думай, не думай. Завтра начну все сначала.

8 июня

Погода переменялась, грозы. Я плохо сплю, бывает, и до рассвета томлюсь без сна, лежу на спине, и только и занятия у меня – отгонять черные мысли. Жалят, жужжат. Может быть, и бесплодно прожитая. Не спорю. И вспомнить нечего. Забыл, разлюбил. Чья-то тень на краю земли. Атлантида, Лемурия. И я там был, мед-пиво пил. Забудусь с первым лучом, и лезет чертовщина... А днем хожу-брожу, спад, апатия, руки опускаются. Сад изломан, на него страшно смотреть; осколки стекол от разрушенной оранжереи хрустят под ногой. Пошел к пруду кормить рыб: и они мертвы, плавают кверху брюхом, вся поверхность пруда покрыта их телами. Четыре вороны тяжело взлетели, прервав свое пиршество, потревоженные моим вторжением. Нет сомнения, что моих рыб отравили ночью, подсыпали порошка. Дождь и сегодня держит меня дома, как в тюрьме. Я не знаю, что делать. От вида книг меня тошнит, зачем их тут столько, горы, пирамиды книг по всем комнатам, эта ученость, эти вымыслы, эти плоды человеческого мозга? Нельзя читать книги, всю эту кучу надо отправить обратно в город. Я сижу у окна в моей комнате и смотрю на дождь, у него такие тонкие стружки, и он на них играет свою небесную мелодию, играет для земли, и земля заслушалась, эта музыка льется, шурша, ей в уши, льется, льется, конца этому не будет...

Что ж, я взял зонт и пошел на почту. Там есть телефон, и можно связаться с любой точкой Земного шара. Минута разговора – пуд

серебра, минута молчания – пуд золота. Знает рожь высокая, продает товар купец...

Весь путь, пока я ехал в город, бушевала страшная гроза, молнии с треском ломались над поездом, и потоп стеной заливал стекла вагона. Машинист боялся грозы, тормозил, поезд едва полз. Вместо обычного часа мы тащились два с хвостиком и на вокзал прибыли поздно вечером. Гроза устала сверкать своими электрическими ужасами, она разрядилась на всю катушку, лужи, молочный пар, тополя. Почему так светло и небо не меркнет? Так белые ночи, чудик! Вот она, смотри, какая белая – как статуя! И руки, и ноги, и плечи, и грудь, и живот – всё, всё у неё белое! Белей полотна. Краше в гроб кладут!

10 июня

Вот и конец, пробыв сутки в городе, я вернулся, меня томили недобрые предчувствия. От платформы я шел через лес, думая о своем, и часто спотыкался об корни. Пластинка с романсами лежала на том же месте, а гора мусора, казалось, выросла втрое, скоро тут будет свалка до верхушек сосен, до неба. В лесу я столкнулся с двумя молоденькими цыганочками, эта встреча меня оглушила, как удар грома, как обухом по голове, их смуглота дикая, от них пахло лошадьё, они несли мешки. "Мужчина, носки не нужны?" – спросила одна, остановясь, золотые перстни. Отрицательно покачав головой, я прошел мимо. Ни слова не проронил я, не разомкнул уст. Зачем мне

носки, ну, зачем мне носки, да от цыганок, да краденые?..

Смотрел ли я в городе фильм «Фараон»? Кажется, смотрел, это было давным-давно, в кинотеатре «Рубеж», мы сидели где-то на «камчатке», и я чувствовал кожей тот горячий локоть... Или я опять перепутал? Не пой, красавица, при мне...

Дом цел, замок на месте, окна не тронуты. Я сразу же пошел к моей ели. Она лежала во весь свой рост, раскинув на обе стороны колючие руки. Иглы не шелохнутся, веки опущены, душный день, парит. Пень широк. На свежем спиле по окружности проступили капли смолы и сверкали как алмазики. Я стал считать кольца. Шестьдесят. Я не ошибся, ведь я пересчитал пять раз. Ровесница. Родители мои, отец и мать, посадили эту елочку в год моего рождения, в мае. А мне в феврале шестьдесят стукнуло, вот так-то.

Я пошел в дом, лег на кровать, как есть, не раздаваясь. Я уже не встану. Тело мое коченеет, начиная с ног, и холод идет выше и выше, достигнув живота, останавливается, пупок, узловая станция, тут перепилено, товарный состав с лесом на север, к Мурманску, за Полярный круг... Холод, отдохнув, движется дальше, ему открыт свободный путь, горит зеленый огонь светофора; шпалы хрупки, как ракушки, хрустальные рельсы – две струны в жаркий день над железнодорожной насыпью, дрожат-звенят... Поезд, груженный льдом, тяжело поднимается в гору, выше, выше... Я чую под сердцем родничок. Это моя ель растет, ее корням надо много воды.

Юрий ЧУБКОВ

ОБЕЛИСК

(Повесть)

В те свирепые времена век девятнадцатый ходил беременный веком двадцатым. Сто лет. Сто лет во чрево его светлые умы бросали семена добра и справедливости, усердствовали при этом до одурения, чрево распухло и с трудом волочилось по грешной земле. Ожидалось: вот уж двадцатый-то век!.. И люди поверили и с нетерпением ожидали. Да, ходил девятнадцатый век на сносях. И, наконец, разродился...

Благообразным мужичком, мужичком с причастия, проходил по улицам и подворотням Санкт-Петербурга новорожденный двадцатый век и, глядя в его невинные глазки, вдохнув постного духа с прилизанной головки, ничего такого нельзя было подумать... А между тем в высших, неземных сферах Некто уже распорядился, уже строились планы событий и были эти планы ужасны...

В цирюльне на Петроградской стороне цирюльных дел подмастерье Мишка Гиппиус завивал пейсы раббе Соломону, завивал старательно, от усердия высунув кончик языка на левую сторону малинового толстогубого рта. Жесткий волос раббе не поддавался раскаленным щипцам, дымился и в цирюльне сильно пахло паленым. Запах паленого перемешался с запахом дешевого одеколона и сунувшийся было в распахнутую дверь бездомный пес брезгливо фыркнул и отскочил прочь. В ту же дверь свободно влетали с улицы мухи и, покружив над головой раббе, не найдя в цирюльне ничего съестного, шаркались обратно. Многие, обманутые прозрачностью единственного окна, бились на стекле в изнеможении. Мишка походя давил их пальцем и сбрасывал на пол. На улице пьяный мужик играл

на балалайке, ругались двое извозчиков, ругались, войдя в раж, с надрывом.

– Рай, – говорил раббе Соломон и высовывал при этом из-под нечистой простыни нечистый же указательный палец и тыкал им в потолок, – должен быть на Земле, а не на небе. Запомни это, мой юный друг Мойша. Все произойдет по завету Господа, Бога отцов наших. Слушай: «Приснился фараону Египетскому соя: вот он стоит у реки и вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотию; но вот после них вышли из реки семь коров худых видом и тощих плотию; и съели коровы худые видом и тощие плотию семь коров хороших видом и тучных». Чуешь, Мойша?

– Нет, раббе, не чую.

– А семь коров худых видом и тощих плотию – есть семь колен Израилевых, претерпевших великие муки и гонения. Семь коров хороших видом и тучных плотию – зажавшаяся буржуазия. Но слушай, слушай. «И проснулся фараон и заснул опять и снилось ему в другой раз: вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших; но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром; и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. И позвал фараон молодого еврея Иосифа, раба начальника телохранителей, и спросил, что сон сей означает. И ответил Иосиф: семь колосьев хороших – это семь лет великого изобилия; после них наступят семь лет голода и истощит голод землю. И наступили семь лет изобилия и земля в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал Иосиф всякий хлеб семи лет и положил в городах.

И наступил затем голод по всей земле и отворил Иосиф житницы и стал продавать хлеб и скопил многие богатства».

Слушай, Мойша: скоро наступят на русской земле семь таких хороших лет. Но после них наступят семь лет страшного голода и разрушений. И сожрут семь коров тощих семь коров тучных и тогда явится в России новый фараон и призовет к себе семь колен Израилевых и скажет: нет столь разумных и мудрых как вы. Вы будьте над домом моим, слова вашего будет держаться весь народ мой. Я поставлю вас над всею землей, без вас никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей. И откроют еврей житницы и рай наступит на Земле, а но на небе. Тебе, мой друг Мойша, очень скоро понадобится револьвер против коров тучных. Купи револьвер, Мойша.

* * *

И увидит Мишка, что все так и произойдет, как говорил раббе Соломон, по завету Господа, Бога отцов наших: пришли семь лет изобилия и длились они до четырнадцатого года. Потом пришли семь лет худых и страшных,

когда брат убивал брата, отец сына и сын отца, и наступил голод по всей земле российской. И длились эти годы семь лет. Тут явился маленький лысенький фараон, призвал семь колен Израилевых и сказал так:

– Правьте, творите новую экономическую политику, станьте над домом моим.

И отворили сыны Израилевы житницы, и наступили другие семь лет изобилия и благоденствия. Но тут пришел Усатый фараон и посадил семь колен Израилевых в ГУЛАГ...

* * *

Но это будет потом. Потом, гораздо позже. А в тот день, заперев циркулюню на большой висячий замок, Мишка пошел к сапожнику Лева Венцелю и сказал так:

– Слушай, Лева, люди говорят, что у тебя есть револьвер. Продай мне его.

– Таки што говорят люди, мне это интересно? Люди много чего говорят.

– Так есть у тебя револьвер или нет?

– У меня много чего есть. Может быть, у меня есть револьвер, может быть, у меня нет револьвера. Может быть, у меня один револьвер, может быть, у меня много револьверов – кто знает? Да и зачем тебе, Мишка, револьвер? Зачем вообще парикмахерскому подмастерью револьвер? Разве брить их благородия надо с револьвером?

– Лева, я не спрашиваю, зачем у сапожника лежат револьверы.

Венцель посмотрел на него мелкими, разноцветными глазами и задумчиво почесал в затылке.

– А ведь ты прав, Мишка. Зачем еврею револьвер? Чтобы убить гоя, когда тот придет его убивать. Да, ты прав.

Лева Венцель залез рукой в свой сапожный ящик, пошарил там и вытащил револьвер. Револьвер, бывший в употреблении, со стертым во многих местах воронением.

– Бери, Мишка, я очень задешево его тебе отдаю. Скоро каждому еврею понадобится револьвер!

И тут сделался Лева нервен и очень взволнован. С густо заросшего его лица глаза засверкали разбойничьим светом, а руки затеребили сапожницкий засаленный фартук и ноги под фартуком засуетились, затопотали.

– Иди, Мишка, и помни!

И Мишка вышел от Левы Венцеля в большой задумчивости.

Был день неизвестно какой. Был день обычный, похожий на все дни предыдущие и на все дни последующие, как полицейский агент похож на всех людей и на каждого отдельно взятого. Да, был день обычный.

Так вот, в тот день в Мишкину каморку пришел сапожник Лева Венцель в распахнутом пальто, из-под которого видны были черный суконный жилет и крахмальная рубашка.

На шее болтался криво повязанный галстук, а на голове была шляпа. Борода Левина началась прямо от полей шляпы, и глаза и нос его выглядывали как бы из глубины, из тьмы-тьмушей. Глаза сверкали зловеще. Он без стука отворил дверь и поманил Мишку корявым, коричневым от дратвы пальцем.

– Выдь-ка, Мишка, на момент.

Мишка лежал на кровати и думал. Он встал и пошел было на зов, но Лева его остановил.

– Оденься. Да револьвер прихвати, что я тебе продал дешево.

– Зачем?

– Так надо.

Мишка оделся, из сундучка достал револьвер и пошел следом за Левой. Прошли они кухню и коридор и вышли на лестницу. Там стояли трое, тоже в черных шляпах и поношенных пальто. Все бородатые брюнеты. Не говоря ни единого слова, спустились они по лестнице. Мишка шел последним.

– Лева! – позвал он шепотом.

– Тс-с-с! – замахал на него Лева руками. – Какой я тебе Лева? Здесь мы не имеем имен, здесь мы имеем только партийные клички. Я – Коган.

– Ну, хорошо, пусть Коган. Так куда мы идем?

– Акция, – сказал Лева.

И все, и ничего более не добавил. Какую акцию, где, что – ничего такого. Молчали и другие, и так молча спустились они до самого нижнего этажа, где уже не было квартир, а была одна дверь в подвал, другая – на улицу.

– Что? – опять не выдержал Мишка.

– Молчи, – Лева-Коган ткнул его кулаком в бок. – Идемте, товарищи, на улицу, ибо здесь стены и двери, которые так имеют свои длинные уши.

Они вышли во двор, сплошь уставленный штабелями дров. Смеркалось. Был тот день полон весеннего морозца, в воздухе потрескивало, с крыш, с водосточных труб свисали огромные глыбы льда и одну бабу, говорили, прибило где-то сорвавшейся сосулькой. По узкому, между дровами, проходу они пошли гуськом и пришли к небольшому закутку, скрытому со всех сторон штабелями, скрытому от чужого любопытного взгляда. Пришли и сгрудились тесной кучкой, потому что пространства вокруг никакого не осталось.

– А дрова не имеют ушей? – спросил один – тщедушный, но с мощной, однако, бородой.

– Так это мы сейчас проверим, – сказал Лева и стал ощупывать, опробовать поленья – не шатаются ли, нет ли где схорона, в котором спрятаться может соглядатай. Не стоит ли кто-нибудь за штабелем. Нигде ничего такого не обнаружилось.

– Чисто, – кивнул он.

– Итак, – сказал высокий субъект, по виду студент (чувствовалось, что был он среди них главный), – мы не хотим, товарищ, – он бородой указал на Мишку, – знать вашего имени, а будете называться вы Парикмахером. Просто Парикмахером. Я – Копытин, это, – он ткнул пальцем в тщедушного, – Ворошило, а это – Зубилин. Когана вы знаете. Вот и вся наша пятерка в сборе. Объясните, Коган, товарищу, – и отвернулся, как будто остальное его уже не касалось, как будто остальное должно идти само собой. Лева взял Мишку под руку, приник к нему и зашептал в ухо:

– Ну, ты как?

– Что «как»?

– Твердо?

– Я... твердо, – от Левы на Мишку пахнуло табаком и дегтем. – Слушай, Лева...

– Коган! – зашипел Лева. – Здесь я Коган!

– Ну хорошо, хорошо, извини... Только не кажется ли тебе, что прежде надо было объясниться?

– Нет, не кажется, – жестко сказал Лева. – Это уже никакого значения не имеет. Ты вовлечен, ты фигурант.

– Куда вовлечен? Да может я бы отказался!

– Да? – как бы даже удивился Лева. – Это каким же Макаром? Это как же бы ты оказался?

– А вот так! Взял бы и отказался.

– Шутишь. Никакого обратного пути тебе уже нет.

– Ну, Лева...

– Коган!

– Тьфу! Ладно, я же не отказываюсь. Однако... нельзя же так...

– Ай-яй! Какие такие наши церемонии! Я тебе револьвер давал? Я его тебе для чего давал? То-то. А ты брал. Ведь брал?

– Ну брал...

– Ага! Ты таки брал револьвер и прятал в карман. Он у тебя и сейчас вот тут лежит. Ведь лежит?

– Лежит...

– Ну вот видишь! Ведь, если револьвер в кармане лежит, значит, для чего-то таки он там лежит.

– Да я...

В этот момент человек, назвавшийся Копытиным, обернулся.

– Скоро? – спросил он.

– Да-да, сию минуту! – Лева еще ниже склонился к Мишке и еще тише зашептал: – Значит, так, есть один гой... то есть, агент. Агент охранки. По его наводке повесили Моню Черного, ты это можешь себе представить! Ты знал Моню Черного?

– Н-нет.

– Ну все равно. Моня был человек, Моня был настоящий революционер! Это тебе говорю я – Лева Венцель... то есть, Коган. Комитет решил провести акцию. Аксию возмездия.

– А как его зовут?
 – Кого?
 – Ну этого, гоя. Агента.
 – Зачем тебе? Тебе совсем необязательно знать его имя. Тебе не нужно его знать, потому что акцию исполнишь ты. Так решил Комитет.
 – Я?!

– Ты. И чем меньше о предмете ты будешь знать, тем для тебя же лучше. Без имени проще, без имени человек как бы и не человек, а так себе... пес какой-нибудь.

– Но я никогда еще никого не убивал!

– Каждый революционер когда-нибудь никого не убивал. Но начинать надо. Потом будет проще. Революции, Парикмахер, без крови не бывает. Мы – чернорабочие революции – так сказал один большой человек. Так что давай. И помни: это не человек, это пес смердящий.

– Я не умею!

– Ничего, научись. Акция простенькая, потому тебя и выбрали. Для посвящения, так сказать.

– Скоро? – опять остановился Копытин.

– Готово! – Лева как держал Мишку под руку, так и поволок его. – Уже идем!

Мишка молчал, Мишка в ужасе смотрел на Копытина. Нет, думал он, он не Копытин, не может этот человек носить такое имя. Так думал Мишка, глядя на аскетический лик высокого человека, заглядывая в его черные неподвижные глаза. Глаза были словно пришитые пуговицы. И жуткий из них исходил взгляд. Взгляд проникал в Мишку, парализовал язык.

Они вышли из дровяного лабиринта, и тут увидел Мишка пролетку, запряженную тощей лошадежкой. На козлах сидел кучер в армяке и картузе. Козырек на картузе был как-то уж очень нарочито оторван и болтался. Да и армяк был велик. «Эге! – смекнул Мишка. – Этот кучер – тоже не кучер!» Они набились в пролетку и поехали. Пятеро фигурантов.

Спустился вечер, и зажигались в окнах домов огни. Нехотя топала лошадежка подковами по мостовой, вышибала искры. Ночь пала на землю, но еще она не установилась, еще не выткалась из нее особая небесная тьма – тьма, в которой живет свет. Ехали безлюдными переулками, куда не кажет носа в такой час приличный люд.

Но вот кончилась мостовая, и затрясло пролетку на ухабах, закачало – Мишка едва удерживался на подножке; спотыкалась во тьме лошадежка о невидимые, припорошенные снегом кочки, оступалась.

– Стой, – приказал Копытин. – Дальше пойдем пешком. Туда пойдем, – и рукой указал на небольшой деревянный домик. В единственном его окне, выходившем на улицу, тускло светилась за занавеской свечечка.

– Иди, – толкнул Мишку Лева. Толкнул, но не отпустил – направил его, крепко придерживая за локоть. Трое шли сзади, и мерзлый снег под их сапогами противно скрипел. – Ты теперь как бы мой крестник: я тебя рекомендовал, я за тебя ручался. Так что не подведи. Если что, мне за тебя отвечать перед революцией, перед Комитетом.

– Да кто тебя просил! – дернулся Мишка.

– Но-но! Пошали у меня! – подтолкнул его сильней Лева, и Миша услышал щелчок взведенного курка. «А ведь убьет!» – с тоской подумал он.

А свечечка сквозь занавеску светила, и сквозь занавеску же виден был склоненный к столу силуэт. Можно было предположить, что хозяин его – человек за окном – ест или пьет чай. К самому домику примыкали дощатые ворота с калиткой, дальше шел обыкновенный плетень, соединяющийся с соседним домом. Ворошило стал у окна, четверо перелезли через плетень во двор. Здесь еще было окошко, но темнее, рядом дверь и невысокое крылечко. Собаки не было, и вообще стояла вокруг поразительная тишина, как будто дело происходило не в Москве, в большом светлом городе. Блеклая звезда скатилась с небес, застряла у Мишки в глазу.

– Не надо! – прошептал он.

Но его уже подтолкнули сзади, несколько рук вознесли на самое крыльцо к двери.

– Стучите, – сказали в самое ухо, – представьтесь соседом.

Кто-то слишком громко шаркнул подошвой о ступеньку – на него зашикали!

– Тс-с-с-ш-ш!

Мишка мотнул головой, и весь этот скобоченный, однако прекрасный сам по себе мир мелькнул в его глазах. Мир прекрасен, надо только чуточку в нем подправить, выпрямить. И Мишка постучал в дверь костяшками пальцев. Постучал, но дверь вдруг сама отворилась, как будто некто за дверью уже ждал этого стука. Отворилась дверь в темный провал сеней, где никого не было видно, откуда могло последовать все. Даже выстрел. Мишка обомлел и отпрянул, но его вновь подтолкнули – подтолкнули в самый проем, в темноту.

– Есть кто? – все же спросил он, и вопрос его прошелестел невнятно. И, естественно, никто ему не ответил.

– Давай, давай! – послышался сзади похожий на трепет осенних листьев шепот Левы Венцеля. – Чего ты?

Тут надо было в темноте отыскать другую дверь, и Мишка зашарил рукой по стене – попались ему под руку какие-то ватные обвиски, тряпичные лохмотья – ясно было, что они-то и прикрывали дверь, хранили в доме тепло. За один из ватных обвисков Мишка ухватил и потянул – тот треснул и оторвался, остался у

него в руке. Да, была в этом домике бедность – бедность, не озабоченная даже тем, чтобы запереть дверь.

Сзади потянулся Лева, нащупал ручку и открыл. Все убожество обиталища разом предстало взору Мишки. Других помещений в доме, похоже, не имелось. Только и была вот эта комната, добрую четверть которой занимала печь. Дверца печи была открыта, и в ней жарко изнывали догорающие угли. Еще были стол и убогая деревянная кровать, застеленная серым суконным одеялом. На столе стоял большой медный чайник, за столом человек в толстовке пил чай из блюдечка. Из-под стола выглядывала его босая нечистая нога. Жаром и вонью пахло в лицо Мишки.

Не помнил Мишка, когда и каким образом оказался в его руке револьвер. Он даже изумился, увидев его наставленным на человеке за столом. Изумился и человек – застыл с поднесенным ко рту блюдечком. Видел Мишка, как выпучились его голубенькие глазки в белесых ресницах. Выпучились и за блюдце спрятались, как будто могло блюдце защитить их от пуль.

– Руки вверх! – крикнул Мишка, но крик его получился немощным и писклявым.

Его тут же оттеснили и вошли Лева с Копытиным. Зубилин остался в сенях на страже. От потревоженного в комнате воздуха пламя свечи заматалось панически, словно хотело убежать от вошедших, однако крохотный фитилек его удерживал. Наполнилась комната черными шляпами и черными револьверами. Блюдце выскользнуло из рук человека и разбилась о стол, плеснув чаем ему на колени.

– Адам Менц, – голосом, похожим на скрип тележного колеса, сказал тот, кого называли Копытиным, – ты предал святое дело революции! – в правой руке он держал револьвер, указательным пальцем левой тыкал в человека беспристрастно, как-то даже равнодушно. – За дела свои ты приговорен Комитетом к смерти. Тебе последнее слово. Что можешь сказать ты в свое оправдание? Говори быстро, у нас нет времени.

Видно было, как под столом задрожала нога приговоренного, и видно было, что он старается дрожь сдержать, но оттого становилась она только неудержимей – пятка выколачивала на полу дробь. Руками он ухватился за грудь и попытался встать, но неведомая сила накрепко пригвоздила его к табуретке.

– Я... Господи... – руки на груди засуетились и ухватились за столешницу, помогая телу приподняться. – Господа... товарищи ... я никогда...

– Только не ври, нам все известно. Вот документ. Это твоя подпись?

Приговоренному удалось приподнять от табуретки зад. Он глянул на придвинутую Копытиным бумагу.

– Мо... моя... Но, товарищи, Богом клянусь...

– Это он еще Богом клянется! – выступил сбоку Лева Венцель. – Это каким же Богом ты клянешься? Уж не Иисусом ли Христом? Уж не стал ли ты правоверным христианином?

– Ладно, – жестом руки остановил его Копытин, – не суть важно. Принимаешь ли ты, Адам Менц, революционный приговор?

– Помилосердствуйте, товарищи! – проговорил с трудом приговоренный, и лицо его сморщилось, и потекли по нему слезы. Однако заметил Мишка, что глазки его полнятся злобой и рыскают по комнате. Вдруг – никто не ожидал – головой бросился он в окно и вышиб ветхую раму; и вывалился наружу и крикнул, ушибившись, видимо, о мерзлый сугроб под окном. Запоздало посыпалось разбитое стекло.

– Ку-уда? – послышался вскрик Ворошило. – Стой!

Толкаясь и мешая друг другу, выскочили они на улицу и тут увидели: приговоренный выкарабкивается из сугроба, а Ворошило обеими руками запикивает его обратно.

– Обложили, гады! – бормотал отчаянно приговоренный, ползая в снегу на четвереньках и головой пытаясь боднуть Ворошило. В соседнем дворе взвился в бешеном лае пес.

– Стреляй! – Лева затеребил Мишку. – Ты исполнитель!

– Стреляйте, – спокойно сказал Копытин.

Мишка прицелился, но рука дрожала, рука просто подпрыгивала от страха, и на мушке то выпрыгивал приговоренный, то Ворошило; тогда зажмурил он глаза и выстрелил; а когда глаза открыл, то увидел, что приговоренный валится в снег, а Ворошило его подталкивает.

– Попал! – истерически крикнул Ворошило. – Попал!

– Добивай! – выпучился на Мишку Лева. – Сейчас набегут!

– Добейте в голову, – сказал Копытин.

Ухватившись за револьвер обеими руками, Мишка подбежал к поверженному. Тот, весь запорошенный снегом, приподнялся на локте и в сумраке ярко блеснул глазами.

– Товарищ... – прошептал он, и бледное, запорошенное снегом лицо его было страшно.

И чтобы не видеть этого лица, чтобы побыстрей его погасить, Мишка выстрелил. Потом выстрелил еще. И еще. И еще. И от каждого выстрела тело подпрыгивало и кувыркалось в снегу, перемешанном уже с чем-то темным. Этого темного становилось все больше. «Кровь!» – мелькнуло в голове Мишки. Спусковой крючок щелкнул вхолостую и раз, и другой.

– Расходимся! Расходимся быстро!

По всей улице во дворах задыхались от злобы собаки, хлопали двери, но людей видно не было – люди привыкли к выстрелам, люди

опасались. Мишка побежал; и вдруг обнаружил себя в одиночестве – куда подевались прочие, неизвестно. Глянул в один конец улицы, в другой – никого. Сообразил: если бежать по улице, он будет виден всем. Скакнул на какой-то забор, перевалился и оказался во дворе. На цепи рвался осатаневший пес. Мишка, обогнув пса, бросился в противоположный угол двора и там опять перемахнул; легкая сила страха несла его, и заборы только промелькивали; он закружился в этой круговерти заборов, не соображая, где находится. Еще через один забор перепрыгнул и вдруг очутился на той улице, возле того же домика. В окне без рамы и занавески трепетала на ветру все та же свечечка, под окном лежал труп. Мишка метнулся, но все силы из него уже вытекли, и в изнеможении он остановился; потом тихонько пошел прочь.

– Черт с вами, ловите!

Он шел, однако никто его не ловил, и по-прежнему на улице никого не было. Куда-то пропал револьвер – ни в руке его не было, ни в кармане. «Это хорошо!» – подумал Мишка и сунул окоченевшие руки в рукава. Теперь шел он как простой прохожий, как один из миллионов, идущих по Земле. И никто про него ничего сказать бы не смог. Просто идет еще один житель ее. Землянин. И постепенно кровь в Мишке успокоилась, и сердце стало на место и заколотилось обычным своим ходом. Он завернул за угол и прошел еще одну улицу, потом еще и еще – и так прошел пол-Москвы. И уже подходя к дому, подумал:

– Ну и что? Ну и ничего!

(Окончание следует)

Владимир АЛЕКСЕЕВ

МЫСЛИ И ДЕЛА ВЛАДИМИРА ЗАВАЛЯЕВА

(Повесть)

Разумеется, у нас все друг друга любят: лифтер лифтера, военный военного, физик физика. Об этой нежной любви можно было бы многое сказать, как и о том, что вся наша жизнь держится на любви.

Я вот, например, люблю соседку. Люблю представлять, как она одевается, как раздевается, как входит и выходит, как подходит к зеркалу и как смотрит на себя. Да, в этом есть какая-то странная наша связь, совсем непонятная мне связь, потому что я о ней часто думаю.

Но тот, кто предполагает, что здесь дело в сексе, что я, так сказать, сексуальный маньяк, ошибается. Чуть – я мечтатель.

Я в отличие от многих имею свободное время и поэтому я мечтаю. Я, например, вижу, как она мне улыбается золотистой улыбкой (бывает в некоторых женщинах нечто золотистое, нечто загорелое, пляжное), и я улыбаюсь ей в ответ.

Или я вижу, как мы прыгаем в летнее, явно отдохнувшее море и уплываем куда-то, черт знает куда: на какой-то крымский пляж, на какой-то французский, лазурный берег...

Ах, как хорошо жить в теплом солнечном мире, ходить в белых одеждах под этим нашим голубым и вечно юным небом и чтобы ветер этак шевелил волосы, не то в листве, не то в траве... Да, хорошо...

А тут выглянешь в окно: тоска, скука – какой-то двор, какие-то железные баки для помоев, а на брюках и ботинках грязь; пальто тоже в какой-то грязи и шерсти. Однажды,

выйдя из автобуса, я был как валенок, кто-то валенком по моей спине ходил и к моему задку весьма прикасался – вот я и вышел как валенок.

Ну, так вот, дорогие товарищи, бригадиры нашей жизни: посмотришь на мою жену – жена ничего себе – милая, спит на боку, приоткрыв рот: боже мой, как она тяжело дышит, и боже мой, какое бледное у нее лицо: ей бы на Лазурный берег, ее бы сливками отпоить, да на работу годик не пускать, а она, бедная, в этом сером Ленинграде, в этом сером Петрограде, в этом коммунальном жилище, с этаким-то мужем и с одним-единственным ребенком, должна пять раз в неделю ходить на работу: тьфу да и только...

Тут поневоле позавидуешь простому человеку, который строит и пашет, который ни о чем таком особенном не думает и который прямо, так сказать, на земле стоит и плечами небо подпирает: он тут тебе и пахарь, и свархарь, а если надо, из штанов леща показать может, не то что какой-нибудь там мечтатель, который не только гвоздя вбить не может, но который живет в своем треугольнике и до пятиконечной звезды ему не дойти...

Все это так. А что касается моей соседки, то я однажды возьми и скажи:

– Скучно, – говорю я ей, – жить на белом свете.

– А чего скучать, – говорит, – мне скучать некогда. Я в работе. А тот, кто работает, тому скучать некогда.

И как-то взглянула на меня странно.

«Разная идеология, – подумал я, и мне стало совсем скучно. Я только хотел ей предложить одну игру: вы, мол, свою комнату понарошку оставьте открытой на ночь, а я к вам ночью тихо и проберусь. Ну вот, и тихо, тихо с вами и лягу. А вы, так сказать, меня и подтолкнете.

– Как так можно! – скажете, – Вы, противный?! Ведь у вас есть жена, дети! – и с позором меня вон. А я, жалкий и дрожащий, буду умолять: «О, не говорите, не говорите моей жене – это ее убьет». Жалкий и дрожащий. Жалкий, но радостный. Да, об этом стоит на досуге подумать, из этого можно кое-что развернуть...

– Это, – я сказал, помню, ей тогда, – не я первый сказал о скуке. Это Николай Васильевич.

– Да, плевала я на вашего Николая Васильевича: барская блажь, идеология господ, я бы на месте культурных рабов давно бы отменила дворянскую литературу, потому как в наше время от нее создается только одно несчастье. Читаешь какого-нибудь Тургенева вместе с Толстым и так разнежисься, так размечтаешься, а утром – на работу. И так почти каждый день. А кроме того, она (эта литература) ни к чему хорошему привести не может, а приводит только к безделью. Вот вы ее любите – значит – вы бездельник.

Помню, после этих слов ее я весьма задумался. Я даже уважать ее стал... Да, – подумал я, – в ней что-то есть такое-этакое... Есть в ней какой-то твердый сплав. Ведь в этой мысли глубина есть... Ведь в этой мысли... Странное дело, почему-то сегодня все время думается о соседке. В сущности, моя соседка – банальный вариант нашей общекоммунальной жизни. Таких – тысячи, миллионы: они и в Бразилии есть, и в Польше, я уверен, они везде есть... Но то, что моя соседка заставляет иногда о ней думать, в этом есть какая-то странность, а может быть, и нет никакой странности: просто, она рядом; просто, я ее вижу каждый день, просто, при виде ее мне иногда хочется схватить ее – и: прямо в кусты... Но поскольку в нашей квартире кустов нет, я, очевидно, это и не делаю. Вот какое чувство вызывает она во мне, и за это я не ее презираю, а себя. Ибо я давно уже пришел к мысли, что не важен объект, а важен субъект, то есть не важно, что входит в тебя, а важно, что выходит... А выходит иногда – черт знает что такое...

* * *

...Ну вот, жена проснулась. Сейчас будет собираться на работу: бедное существо, она работает в детском саду, в няньках – и все ради ребенка. Все ради нашего дитя. Как это пошло нынче звучит "Дитя". Дитя, дитя...

Да, любой бы мужик, любой бы работника сказал тебе: «Да, походи ты на завод, да, зара-

ботай ты не сто, а двести, триста рублей. В противном случае – ты и никто, и не мужик даже. В противном случае, тебе и жениться не надо было...» Да, жениться, может быть, и в самом деле не надо было... (Об этом еще мудрейший из мудрейших любил рассуждать: надо или не надо жениться сторожам. Он так до конца и не успел высказать свою точку зрения: любимые граждане и яд цыкуты прервали его земное существование).

Да, вот ребенок сейчас проснется: начнется крик, писк – сердце так и будет щемить, так и будет разрываться, так и будешь чувствовать свою вину...

– А кто виноват? – спрашиваешь иногда себя. – Кто виноват, если я не могу себя ломать, если я такой родился; если я, можно сказать, мечтатель – все вкалывают, а я только сторожем и могу. Потому, что сторож – это и есть настоящий мечтатель, и хотя я сейчас с соседкой совершаю подкоп и бегу из концлагеря, хотя у меня сейчас, может быть, в груди десять пуль сидят, а у соседки – одиннадцатая, никто не знает, что значит быть мечтателем, что значит мечтать...

...Ну вот, раздался плач. Ну вот: «миленькая моя, хорошая, потерпи, сейчас я тебя одену, сейчас придем?»... – Вэ, вэ! – как ножом по сердцу. – Спать хочу.

Не выношу детского плача. Когда ребенок плачет, чувствую, что я зря родился, чувствую свою вину и чувствую, что хорошо бы, так сказать, просто не жить, просто, чтобы тебя не было. Этот детский крик и слезы, как обвинение, как Нюрнбергский процесс, как суд Линча... Она плачет, а я представляю, как мы с соседкой решили повеситься: она надевает мне прохладными руками петлю на шею. – Прощай, Владимир, – говорит, – ты был хороший сосед. – И ты тоже ничего, – говорю, – вот только давала многим. – Ну, это уж лишнее, – отвечает, – ты всегда был несколько вульгарен, тебе всегда не хватало вкуса. – Да, может быть, ты и права, – говорю, – но это оттого, что мне всегда приходилось думать о низменных предметах, вот, скажем, о деньгах...

Вот и теперь, когда я слышу, как плачет мой ребенок (и хотя я пальцем не двину, чтобы пойти на завод и из сторожа превратиться в фрезеровщика), я вынужден думать о низменных предметах: вот, как их, то есть мою жену и ребенка накормить, ведь устает, бедная, ведь раздражена... А ведь я ей предлагал: давай оставим этот большой город, давай я окончу курсы пчеловодов, и мы уедем куда-нибудь в маленький городок... Не хочет. Говорит: не жил я в маленьком городке с его сплетнями и нравами. Не хочет она менять культуру, так сказать, на природу. Хочет, чтобы ее дитя в институтах разных училось, хочет утончить его – это дитя, а потом бросить на страдание...

Но что они все мешкают, скорей бы ушли... Боже мой, какая погода? Снег какой-то, март месяц. Какая-то слякоть. Бывало, в хорошую погоду выйдешь на улицу, хочется за автобусом бежать; автобус на тебя: пых-пых, а ты за ним по асфальту... Прохожие на тебя смотрят, улыбаются... Ну, дурак, думают, а улыбаются, а все потому, что солнце, все потому, что хорошая погода. А теперь? Вот попробуй – победи, грязью всех обляпаешь и кто-нибудь тебя обязательно схватит за воротник и – туда же носом в грязь... – Сука! – скажет и еще что-нибудь похлеще. Вот как по погоде любят у нас в городе иногда выражаться. Бывало, так обругают тебя ни за что, ни про что...

...Наконец-то, хлопнула дверь и ушли.

Теперь можно (раньше было как-то неудобно, как-то стыдно) броситься на постель и дремать, или поставить на газ чайник и спокойно чаю напиток, без всякого детского крика, без всякой вины.

За стеной слышны шаги. Очевидно, соседка сегодня не спешит, очевидно, у нее есть время. Вот она подходит к туалетному столику, смотрит в зеркало, расчесывает волосы и...

...И на этом «и» я и застрял и дальше стал думать о стене, о том, что стена – это граница и что различными стенами ограничена наша территория, наше пространство... С каким бы любопытством я перешел бы через несколько границ и заглянул бы (ну, на месяц, на два) – что же там такое!.. С каким бы любопытством я бы на месяц, на два ввел свои действующие войска на территорию соседки!.. И, соответственно, она бы попала в вассальную зависимость. И, соответственно, дрожала бы от страха и ненавидела меня... А я, как злой разбойник Бармалей... Да, стоит об этом подумать... Здесь есть кое-что развернуть...

Однако соседка не пошла по коридору. На кухне звенит посудой. Что мне в ней нравится – это звон посуды у нее получается мелодичный. Моя жена тоже звенит, но как-то немелодично, как-то тупо, как будто это не посуда, а черепки из обожженной глины. Быть может, кто-нибудь подумает, что мне моя жена надоела... Чуть... Дичь... Ни в коей мере: моя жена душу большую имеет. Она, моя жена, она меня не оскорбит, не предаст, а главное – я мечтаю, а она мне в этом никогда не мешает. А что касается соседки, это все эстетика... Вот попробуй поживи с ней месяц: сразу же начнутся требования, сразу же начнутся банальные волеизъявления, мол, что это такое, как можно жить на такие деньги, как можно дальше с тобой существование продолжить.

Спрашивается, а как же ты до меня, голубушка, жила? Ведь, если подумать, то мне моих денег вполне хватает, а если я что-нибудь придумаю, то, может быть, будут и оставаться. Деньги, деньги... Помнится, один великий писатель только и говорил о деньгах, только и

жаловался, а нынче, когда заговоришь о деньгах – сразу же тебе: что ты, мол, говоришь о деньгах, что ты все жалуешься, что тебе их мало, что ли? Да, пойдешь ты на завод, да заработай!.. О век пошлости – я только потому и говорю о деньгах, потому иногда жалуюсь, что в историческом процессе, в мировом, так сказать, порядке деньги так и остаются деньгами, как сто, двести, тысячу лет назад. За деньги все можно купить, все, что продается. Деньги не нужны только святым или избранныкам. Или тем, кто когда-то в каком-то детском раю живет. Да, в детском, потому что самые лучшие дети денег не знают и не считают. Они, в крайнем случае, для них игрушка и не больше...

Ну вот, послышался звон с кухни.

Ах, слышимость-то, слышимость-то какая, коридор усиливает звук. И хотя это старая квартира, я живу на Невском, а помешай чайной ложкой в стакане на кухне, так в комнате, за десяток метров и через закрытую дверь, услышишь...

А каково было, когда я в новом районе жил. Унижение, да и только. Бывало, в туалете воду специально сливаешь – эдакий водопад устраиваешь, чтобы все твои звуки, все твои шорохи он заглушал. Я, бывало, когда соседи были на кухне, а они часами там торчали, никогда в туалет не выходил. Накинешь на плечи плащ – и на пустыри, благо они неподалеку от дома были. Заборы там, кустики. Турнепс, капуста. Сядешь между грядками и сидишь... Да, о чем жизнь иногда заставляет думать... Ведь попробуй, скажем, один день, хотя бы прожить, как тебе думается – не выйдет!..

...Ах, черт, как мелодично звенит... Прямотаки мурашки по телу ползут. Прямотаки тебя всего от этих звуков переворачивает. А ведь если подумать, то она совсем мне не нравится – эта моя соседка, хоть и голубые джинсы и золотистые волосы, и носик эдакий такой, прямо скажем, ничего себе носик... И взгляд, можно сказать, умный. А, поди ж ты, никакой этики... Размытая этика. Приходит часто с такими же, как и она, пижонами и пижонками: вот белые и голубые костюмы, да вот, сигареты дорогие, иностранные... Да, пьют, ругают нашу жизнь, нашу страну. А что вы сделали для нашей страны и для нашей жизни? – спрашиваю я вас. Вот я, хотя почти и ничего не сделал, я хоть и сторож, я, может быть, мысленно помогаю ей жить, я, может быть, мысленно болею за нее и за весь, так сказать, народ...

Ну, а вы-то что: перекупка книг, тряпок, пластинок; раз в неделю свальный грех, раз в год – аборт, ну и, конечно, какая-то более или менее сносная работа, где вы не то работаете, не то отбываете свое время...

...Однажды я по рассеянности зашел не в ту дверь. И что я там увидел?! Умолчу, что я там увидел. Это они называют «тан-гра-йога». Разумеется, после увиденного я тут же набросился на свою жену. И, разумеется, после того как освободился от определенного сексуального напряжения, мне как-то стало противно думать о соседке, хотя через несколько дней я о ней думал и думал как-то спокойнее.

«Эрозия этики, – думал я, – эрозия этики и забвение традиций». Да. Анархисты, феминисты и социалисты. Да, фашисты, коммунисты и экстремисты. На всех вас лежит большой грех. Тут всех вас надо декретом. Тут летит куда-то вагонетка под откос, и остановить ее можно только бросившись под колеса. Но кто это сделает? Председатель Совета министров? Я? Ты? Да, вот вопрос и стоит об этом подумывать.

Опять раздалися шаги по коридору. Хлопнула дверь. Вошла к себе в комнату. Слышен стук и движение за стеной. Стена, стена... И хорошо, что стена. Хорошо, что граница. Если бы не было стен, если бы не было границ, я бы о них не думал, как и о тех, кто живет за этими стенами и границами. Хотя хочется иногда разрушить эти стены и границы и, обнявшись с человечеством (соответственно для этого упав на землю), катиться, как перекати поле или как ком муравьев – куда? – бог знает куда? – лишь бы только в объятьях, лишь бы только всем вместе... Лишь бы не было никаких стен, лишь бы жил как дитя, пел песни, танцевал, бегал босиком...

...Ну вот, опять раздалися шаги по коридору, опять она на кухне; вот подошла к плите, вот звякнула сковородкой: слышен звук разбиваемого яйца: раз, два; почему – два, а не три? Эх, хочется сейчас упасть на пол и попластунски ползти на кухню, хочется, а почему – и сам не знаю.... Хочется тихо, тихо, так осторожно испугать ее, мою соседку, схватить ее рукой за щиколотку или дернуть за подол... Боже мой, что тут будет?! Какой крик раздастся, какой визг, какие проклятия?! Бить будет, наверняка бить будет! А ты – жалкий и дрожащий, будешь упрашивать ее, мол, не говори, не говорите моей жене... Мол, это я просто так, это я пошутил, это я – мальчишество это и больше ничего. Жалкий, но веселый. Дрожащий, но радостный. Но разве мои оправдания мне помогут, разве эти особы с размытой этикой понимают подобные шутки, разве они потерпят... Нет, они этого не потерпят. Они терпят унижение, извинение, преклонение. Они терпят восхищение, изумление, удивление и только потом, совсем уже потом, нападение, ласковое такое нападение, сильное такое нападение... Они – эти самые, размытые – ценят силу и власть. Вот – что они ценят...

...Но, боже мой, какая погода. Серость и слякоть. Над трубой (тут у меня напротив окон сосисочная, а вернее ее грязный зад, именно так я и думаю, когда из своих окон смотрю) какой-то не то парок, не то дымок, а внизу во дворе вонь картофельных очисток, громадные говяжьи кости, торчащие из баков, и какие-то страшные женщины в грязных белых халатах, женщины с папиросой в зубах, в рваных шлепанцах: иногда можно заметить, что они весьма подвыпивши...

...А сосисочная пользуется успехом, очередь перед ней со стороны Невского в обед: я сам там несколько раз обедал, до тех пор, пока не стал жить в этом доме и не увидел ее со двора, с черного, так сказать, хода. Конечно, мне бы, вообще, не хотелось ничего видеть с черного хода, мне бы всегда хотелось быть в идеалах, не замечая внешних деталей жизни... Мне бы всегда хотелось неким добродушным эйфориком шествовать по площадям и улицам нашего города, и по делам и мыслям всей нашей страны и всего мира, но не получается. Потому что – реализм! Потому что – декретом! Потому что – повязан веком и человеком, и этот человек тыкается носом подобно щенку: «Что? Что? Как? Как?»

А что – «как»? Кровь по земле течет – вот «как», и то прибывает, то убывает, а ты на берегу и сердце у тебя болит. Ты есть свидетель человеческих дел и свершений, и на тебя возложен груз, который, даже на время, некому переложить. Ты есть сторож, который не спит, а если и спит, то и во сне все всегда слышит...

Ну вот, пока я об этом думал, щелкнул замок, и соседка вышла. На работу – куда же еще. Тряпки. Юга. Мальчики. Тянет меня к ней, а не люблю. Это, очевидно, плоть к плоти тянет, а душа сопротивляется, потому, как ныне расщеплен человек (из осколков, из разных тотемных животных состоит), так что в одном человеке разные звери живут, рядом с козлом уживается какая-нибудь змея, а рядом с теленком – пантера. Вот они и враждуют между собой... Вот они и грызут друг друга. Как подумаешь об этом – горько все это. Прямо таки горечь во рту испытываешь. А где горечь, там – унижение. Вон как я был унижен первой женой: бывало, приведет к себе любовника, запретит с ним в своей комнате, а ты в своей сидишь и как кролик, не то от страха, не то от ненависти трясешься. Бывало, при встрече с ним (это она ему часто говорила), мол, познакомься – это мой бывший муж.

(В свое время мне приходилось видеть, как живущие в разводе продолжают жить в одной комнате и даже в эту комнату приводят к себе любовников: ты, например, спишь на одной постели, а через два метра на другой твою бывшую жену новый муж обнимает. И как обнимает! Лучше тебя обнимает. Смех. Унижение, да и только).

Так вот, бывало, запрется с ним в своей комнате и оттуда черт знает что раздается. Как будто ботинки с потолка падают или самолеты в небо взлетают. Как только соседи этажом ниже терпели. Однажды я взглянул на люстру, а она у меня ходуном ходит.

Помнится, я как-то решил на ней себя подвесить и в таком виде себя подобно известной рыбе засушить... Вот садятся они за стол, а эту самую подсушенную рыбу им к столу и подают, а эта подсушенная рыба никто иной, как я. Сунул голову в петлю, а петля – за люстру, но тут подо мной стул упал, я поскользнулся, веревка оборвалась, я шлепнулся. Разумеется, больно. И, разумеется, так, что заплакал. Не помню, отчего я плакал, то ли от боли, то ли от обиды, и так с петлей на шее разбежался и в их дверь – проломил:

– Привет, – говорю, – давайте, ребята, втроем секс устроим?

У меня на шее петля болтается и вид, очевидно, был странный. Так они мне устроили «секс втроем». Они меня в милицию, а та – скорую и в сумасшедший дом – как самоубийцу. Да, жизнь, жизнь что с нами иногда делает – какие кренделя, какие опусы, какие странички...

...Но пора собираться, пора мне на улицу выходить, пора мне дела делать, пора, так сказать, в магазин, продукты и прочее... Тут вот в кармане где-то должны быть деньги. Теперь на лестницу. Разумеется, я еду на лифте. Разумеется, все работают, а я еду. О, эта непричастность ко всем! Один мой приятель мне однажды и говорит: «Что ты непричастен ко всем? Что это ты хочешь доказать: все работают, а ты сторожишь, да и то не каждый день, да и то сутки через трое?» «Да, – говорю, – все работают, а я – сторож. И таких сторожей, как я, надо поискать». «Чем же ты недоволен?» «Я недоволен тем, что сторожам мало платят. Вот отчего жулики в наше время и развелись. И вот отчего наша планета, того и гляди, в таргарары когда-нибудь и упадет. Потому, как настоящий сторож – это с большой буквы сторож. Это не какой-нибудь торгаш, который за деньги готов все продать. Это сторож – идеалист, сторож, имеющий идеалы». Тут я, помнится, улыбнулся. Тут я, помнится, упал на колени и схватил зубами за его штанину и стал ее рвать. А штанина у него джинсовая. Штанина у него попсовая. И мой приятель чуть не помер от страха, когда я ему вцепился в его фирменные штатовские сальные штаны. Во имя которых он и работает и во имя которых он и живет. И приятель, помнится, озверел и чуть было не убил меня. Ну и обиделся, конечно. Ведь он, этот мой приятель, он – мелкий жулик. Когда-то ему не хватало денег, чтобы прокормить жену и двоих детей. Вот он и стал заниматься перекупкой книг, а потом дальше и больше: иконы,

бронза, серебро. Теперь, когда его жена бросила – его почему-то никак уже не остановить. У него уже выработался определенный взгляд: как придет ко мне, так этим взглядом по стенам и книжным полкам шарит – не завалялась ли где-нибудь какая-нибудь ценная книга или не висит ли у меня на стене какая-нибудь иконка. Деньги, конечно, у него есть. Но человек он, по-моему, конченный. Он тоже считает меня конченным. Я видел однажды его насмешливую улыбку, когда я в кафе вытащил из кармана мелочь и стал считать. «Думаешь, честность – это достоинство, – говорила мне его улыбка (он перед этим с подобной улыбкой нечто подобное мне говорил). – В нашей-то стране, в нашей-то великой державе, открой глаза и посмотри, только и живет всякая мразь и жулье. Посмотри, какие у них дома и квартиры, какие дачи и машины, и какие любовницы! А ты? Эка удивил кого-нибудь: сторож. Мир не переделать. Сторожи его – не сторожи. Он, если надо, тебя раздавит, а если надо, что захочет, то и украдет. И тебя заодно с собой вместе».

Ну да ладно, бог с ним. Я тогда его не убеждал и теперь не убеждаю: мир не переделать, но себя переделать в какой-то мере можно. Если, конечно, захочешь.

...Ну вот, наконец-то, вышел на улицу и, минуя грязный залитый помоями двор (весь в грязном снегу), вышел на Невский. На Невском не так серо и скучно, как это кажется, глядя из дома. На Невском всегда толпа, кто спешит, а кто и просто прогуливается. Сегодня минус один градус. Мороз, конечно, небольшой, но как-то промозгло и холодно. Как-то к весне зимнее пальто становится тяжелым и приземляет. Моя долговязая фигура в зимнем пальто, в черном таком пальто движется по правой стороне проспекта, мимо магазинов и витрин, туда, к Фонтанке, к этим самым известным коням, к этим литым лошадям. Дальше я не пойду. Посмотрю налево – там, где мост с цепями, и вздохну, как будто хорошо отдохнул, и перейду через улицу, дабы проделать обратный путь, по дороге заглядывая в продуктовые магазины. Что мне удивительно в деятельности современных магазинов, так это некая закрытость, некий герметизм. И как простой смертный не проникай в сущность их деятельности – все равно не поймет. Тут, очевидно, необходимо посвящение, тут тоже своя стена и граница. И не посвященный – не суй нос не в свое дело, ибо ты есть нарушитель определенных стен и границ, нарушитель ограниченного пространства. Вот почему, поскольку я не посвящен, я там – где открытое пространство, я там, где простой народ. И если и необходимо какое-то посвящение, так оно скорее касается не купли и продажи, а, что называется, свойствам твоей души... А, кроме того, в народе сконцентрирова-

на какая-то правда, какая-то многовековая истина, о которой он, может быть, и сам не догадывается.

– Народ – он тоже не дурак, – сказал мне один мой знакомый. – Народ – он тоже кое-что понимает. Посмотри, народ раньше верил, а теперь смеется. И ты смейся, – сказал он мне, – что ты ноешь? Посмотри, народ смеется, а ты ноешь.

– Где это ты видишь, – это я ему-то, – что народ смеется? Народ смеется сквозь невидимые миру слезы.

– Ох, уж эти мне слезы, как они у нас надели. Как это у нас часто бывает: один гениальный чудаковатый что-нибудь сболтнет или, походя, скажет, и все за ним тысячу лет готовы повторять: «как это он хорошо сказал, как верно!» Да мало ли что он помимо своей основной, так сказать, идеи наболтал. Мало ли что он, походя, сделал – обязательно надо повторять? Вот и ты любишь повторять. Вот и ты с легкой руки прежней, так сказать, культуры любишь эти самые гоголевские слезы. Да, забудь ты эту культуру, сними с себя эту маску. Что у тебя все нытье и жалобы на нищету, подобно неким литературным героям все тех же писателей прошлого? Небось, дневник пишешь, где одни мудовые рыдания?

Так он мне это и сказал.

– Что рыдать-то, – еще он сказал мне. – В плаче нет никакой свободы. Свобода может быть только в смехе. Посмотри, ведь веселых мужиков бабы особенно любят. Тебе баба, очевидно, изменила потому, что ты нытик? – Нет, мне баба изменила потому, что я имею один существенный недостаток: не умею зарабатывать деньги, а уж как следствие этого – я нытик. Ведь имей я сейчас деньги, я, может быть, не разговаривал бы с тобой, а был бы где-нибудь в Австралии или изучал бы нравы и быт островитян Туамоту. Или спускался бы с отрогов Гиндукуша, где разговаривал бы не с тобой, бытовым философом, а с каким-нибудь Кун-цзы, который бы меня не твоей мудростью наполнил, а другой, вечной. О вечности надо думать! – сказал я ему и не без некоторого пафоса. – А что касается твоего «смеха», хочешь, я расскажу тебе историю из моей сторожеской жизни, а вернее из того времени, когда я сторожем на заводе работал?

Так вот, на каждой фабрике или заводе есть такой мужик (в свое время каждая деревня не обходилась без своего юродивого или дурака), у которого больше всех и все это знают, ибо подобные «знания» на заводах и фабриках распространяются с невероятной быстротой: любит русский человек, собравшись в кружок, поговорить и посмеяться на тему «материально-телесного низа».

Ну так вот, ходит однажды этот мужик с похмелья по заводу и просит денег в долг, ра-

зумеется, на выпивку. И никто ему не дает. А одна из женщин возьми ему и скажи!

– Степаныч, покажи-ка, что это у тебя есть там в штанах, тогда я тебе просто так пять рублей дам – без отдачи.

А дело было на заводском дворе.

– Пойдем, – говорит, – в помещение, покажу.

Ну и показал. Женщина – в краску и смех. А он пятеркой весьма доволен остался. С тех пор он всегда был готов за пятерку всем показывать. Да только никто уже не хотел видеть: слух стал явным, правда раскрылась, тайна исчезла, и поэтому к этому делу все охладели... "Так это я к чему это говорю? – закончил я и не без улыбки. – Чтобы и я был веселый, как твой народ, мне тоже нужна пятерка в день, а не два с полтиной, как я, находясь в сторожах, получаю.

Не хотят нынче кормить сторожей. Особенно при нашей интеграции, девальвации и субординации.

Ну, да ладно. На этом, помнится, мы расстались.

...На Невском толпа днем никогда не стихает. Когда живешь на Невском лет двадцать или где-нибудь поблизости от него, только и делаешь, что спускаешься на лифте со своего какого-то там, пятого или четвертого этажа и без особых надобностей шествуешь по Невскому, рассматривая и разглядывая прохожих. Нет, надобности есть: в булочную или в какой-нибудь иной магазин, или в кулинарию. В общем, твоя обычная и каждодневная жизнь без особенных изменений и потрясений. И вот так, шествуя по Невскому и, заходя то в один магазин, то в другой, тебе так намелькаются лица, как будто ты с ними давно знаком, как будто ты о них все знаешь. Знаешь, что с каждым из них происходит: увеличивается или уменьшается их семья, растет или не растет благосостояние; видишь, как годы меняют одежду, лицо, мысли. Особенно, когда вдруг увидишь своего бывшего соученика, с кем в пионерах за руку ходил или соученицу, с которой на выпускном вечере танцевал.

Вот, не далее как вчера, встретил одну на углу Марата и Стремянной. Боже мой, сразу же на себя со стороны посмотрел, когда увидел в ее волосах седину. И ноги, эти ужасные ноги русских сорокалетних женщин и некое небрежение в одежде, чего не было десять лет назад. Некая неаккуратная старость, опущенность, можно сказать, были во всем ее облике, во всей ее бабьей фигуре. А в глазах – ничто. Так, пустота в глазах, стираются от времени и скуки глаза. Ни свежести, ни глубины, ни любопытства. Равнодушие – да и только. Нет, она что-то там ела. Какой-то жареный пирожок. Губы этикие полные, сальные – чавкала, небось. Вытерла рот тыльной стороной руки. Очевидно, и платка нет. Все спешит, все заня-

та. А если и не спешит, то ленива, как корова, и стойло ее грязно и запущено, и оживает она только тогда, когда выпьет. Да, такие дела. Сразу же взглянул на себя со стороны: все прикидываешься мальчишкой, подумал. Все в идеалах ходишь. А со стороны-то оно виднее. Со стороны-то оно, конечно, виднее, но, смотря кто на тебя со стороны смотрит... Я вот тоже смотрю на все со стороны, когда прогуливаюсь по Невскому. Вот и во мне, в моем сознании отражается он – многошумный, он – толпоносный, он – великолепный, с петербургскими такими, европейскими домами. И тут весь тончайший и горчайший смысл этого во мне отражения: хочется иногда эдак, шествуя по Невскому, потрясти кулаком и, глядя сверху на толпу, пылая пророческим гневом, сказать:

– Ужо вам! Забыли!

Отчего это желание во мне появляется, и я сам не знаю. Может быть, оттого, что я о человечестве в глобальном масштабе думаю. А может быть, от одного моего свойства: люблю мысленно покритиковать, люблю, так сказать, поругать. И если бы у меня была своя газета, я бы только и ругался, не злобно ругался, весело ругался, но все же ругался. И хотя я знаю, что лучше всего пожалеть, чем ругаться; лучше все о добром, о хорошем: лучше добром зло победить и, как говорится, похваливать тирана, дабы он окончательно не озверел, я все же предпочитаю ругаться. Потому как, когда я ругаюсь, меня прямо-таки вдохновение охватывает, мысль из меня так и прет, так и возникает, я, можно сказать, в этот момент творю. У меня, можно сказать, в этот момент проявляется социальный темперамент, а может быть, и пророческий – я этого пока не знаю.

Однако погода несколько улучшилась, к одиннадцати часам небо, очевидно, прояснится. Солнце улыбнется. Весной запахнет. С крыш будет капать. Весь Невский заиграет хрусталем и стеклом. Подошвы весело зашуршат по панели. Захочется за город, к голубым снегам и суровым елям. Захочется еще дальше: минуя среднюю полосу России, куда-нибудь в Душанбе или в Туркмению. Там, в Туркмении сейчас распускаются листочки, степь зеленеет, солнышко теплое встает, отары белеют, детишки на светлых полянках, маки, тюльпаны, мотыльки... Ах, хорошо там, в Туркмении, хорошо сейчас в Туркмении, а тут? Черт знает, что такое – тут!

Я вот в корне не согласен с басней Крылова: «Стрекоза и муравей», хотя в ней весь русский ум сказался. Ибо русский привык говорить без всяких оттенков и нюансов – это, мол, хорошо, а это – не хорошо. Мне вот, может быть, по душе не какой-нибудь трудяга-муравей, фермер-американец, мне ближе как раз стрекоза, а все потому, что в ней песня

слышна, а попробуй, услышь песню у муравья-фаланстера? Попробуй, добейся от него какой-то мудрости, хотя бы вроде всем известной расхожей истины, что, очевидно, хорошо знает стрекоза: мол, не хлебом единым жив абorigine, а песней божьей. В данном случае муравью надо время от времени подкармливать стрекозу, чтобы она раньше времени не умерла и тем самым не нарушила бы экологию среды...

...Вот и магазин париков, в нем я однажды был: волосы своей жены продавал, одиннадцать рублей дали. В этом есть что-то магически неприятное – в продаже волос жены, поэтому рядом со мной стоял один мой приятель, он-то и развернул газетку, где, как оказалось, было сто десять граммов волос... Я эту цифру на всю жизнь запомнил... Когда, будучи сторожем, живешь, что называется, с кормящей матерью, обязательно окажешься в том положении, что и хлеба тебе иногда не поесть и чаю не попить. Я, например, в прошлое лето, когда они (мои близкие) у тетки в деревне жили, за два месяца килограмм сухой горчицы съел, ну и весьма огорчался. Помню, встретил я как-то одного приятеля:

– Все, – говорю, – два дня ничего не ел, начинаю медленно умирать. – Это я ему с улыбкой говорил.

– А ты что раньше думал? – сказал он мне и тоже не без улыбки. – Сторожа вообще не должны жениться, а если женятся, не заводят детей.

– Хочется, так сказать, семейного счастья, – помнится, сказал я ему. – Хочется, так сказать, любви и покоя.

– Ах, Завалаяев, Завалаяев, – сказал он мне, – ты и рыбку хочешь съесть и на кол сесть. Так не бывает. Ты же знаешь историю культуры, ты же не зря в университетах учился, не зря арифметику проходил... А вот оказалось – зря. Цифру один от трех отличить не можешь. А еще претендуешь на какую-то духовность, бога хочешь узреть. А вот он, твой бог, и того: на три части делится и поэтому от мякины подниматься не может. Твой бог хлебом одним живет и ни хрена в остальном понимать не хочет. Развел жен и туда же – хочешь быть сторожем. Теперь у тебя прямая дорога золотником. А жен кормить надо – это еще на древних скрижалях написано. А то разведете жен и только о них и говорите или об их матерях, то есть о тещах, да еще претендуете на что-то возвышенное. Я, мол, не хухры-мухры, я, мол, сторож; я, мол, сторожу и сторожу нечто такое, отчего, если это нечто не посторожишь, то украсть могут, а, украдя, таких дел наделают, что всем, можно сказать, не поздоровиться.

Он говорил мне, а я же только улыбался ему, но как-то невесело улыбался, как-то улыбался, как будто он был прав.

– Пойдем-ка, – сказал он мне, – я тебя лучше покормлю, жену твою кормить не стану, а тебя, дурака, покормлю. Потому как дураков иногда кормить надо. Потому как дурак неокормленный может сделаться и злой. Может камень за пазуху взять или палку какую. А то ружье в руки возьмет или пицаль. Ты посмотри, что в других странах делается. Газеты, небось, читаешь: одни дураки на танках нороят других убить, а те с вертолетов. А все потому, что жен развели и не хотят в подчиненных быть, хотя в начальниках. Вот так и ты. То же хочешь быть в начальниках. Вот поэтому ты и недоволен, поэтому ты и любишь критиковать. Критиковать себя, батенька, надо! – закончил он обличительную речь и закончил с улыбкой. – А то вы всех критикуете, а себя нет.

Надо сказать, это его выступление мне очень понравилось. Я даже внутренне хохотал, когда он заговорил о пицали. Ведь и в самом деле, бывает, человек пицтит, пицтит, ноет, ноет – и за пицаль. Только он зря на мой счет пицаль приплел. Я в любом случае за пицаль браться не буду, ибо хоть я иногда и жалуясь на тяжелую жизнь, я ни в коей мере не считаю, что я как-то несчастлив или уныл. Нет, мне иногда хочется пожаловаться и поныть только потому, что хочется, чтобы мне кто-нибудь сочувствие выказал, руку пожал или в глаза заглянул, после чего я снова могу жить, могу снова вернуться к себе домой и, положив себя на постель, предаться своим мечтам и мыслям. Ох, уж эти мечты и мысли! Это они меня "погубили", как и русская дворянская литература. Я из-за нее, можно сказать, практического применения не имею. Я, можно сказать, один из типажей этой нашей литературы. Я даже иногда чувствую, как будто я с какой-то книги сошел и мне назад никак не вернуться. Из такого как я в свое время вышел бы какой-нибудь литератор или простой байбак-резонер, мечтатель-вздохатель, рассуждающий о какой-то, там, свободе и о том, что, мол, не дают, мол, ущемляют. А раз не дают и ущемляют, то лучше всего в сторожах, лучше всего на отшибе. Вот отчего, в данном случае, мой приятель был не прав, когда говорил, что я, мол, надел на себя какую-то маску, что, мол, я себя не критикую. Это как же я себя не критикую, когда я только и занят собой, только себя и анализирую. Самокопание – как некогда определяли товарищеской критики. Ох, уж эти мне критики! Они многим в свое время яму выкопали. А что касается моего практического применения, то, если я и мечтаю, что называется, принести людям пользу, то, по крайней мере, я вижу себя не меньше, чем кремлевским шутом. И это не потому, что я как-то возгордился или претендую на остроумие. Нет, это потому, что настоящий шут и есть сторож государства, охра-

нитель его и идеолог, центральный нападающий, без которого в футбольной игре нет и не может быть победы, в лучшем случае – ничья. А, кроме того, будь я шутом и имей я доступ к правителям, я бы, как некий пиит, милость бы к падшим призывал, умирал бы, так сказать, раздражение властителей и тем самым смягчал бы приговор. Приговор кому? Да, не знаю – кому. Одно я знаю, что пока существуют властители, существует и приговор. И потому, как говорится, в благополучном государстве необходимы шуты, синклит шутов, школа шутов и чтобы все они были на обеспечении, и чтобы у них были современные орудия производства в виде компьютеров или электронно-вычислительных машин...

...Вот и кинотеатр «Нева». Помнится, в детстве я только в этот кинотеатр и бегал. Помнится, как получу в школе пятерку, так и в кинотеатр... Да, детство, детство... А теперь вот тащусь мимо и со стороны на себя противно смотреть. И, в самом деле, шут, только шут гороховый.

– Эй ты, шут гороховый! – крикнул мне однажды мальчишка, когда я в удивлении от того, что он надо мной смеется, остановился. Он же, пробежав мимо, повернулся ко мне и снова это сказал. И сказал так, что я растерялся, а потом рассмеялся. Дети, дети – радуют меня чаще всего дети. В них есть нечто такое – истинное, что называется, они без предрассудков. Так и этот мальчишка – прямо в лицо:

– Эй ты, шут гороховый!

Я после этих слов сразу же на себя со стороны посмотрел. Я после этих слов сразу же стал относиться к себе по-иному. А ведь я тогда о глубинных процессах думал! О человечестве! О духовном! О том, как загнать человечество в общий закон! И в этом законе держать во всей строгости и справедливости! А он, на вот тебе – все сразу же и поставил на место: "Эй ты, шут гороховый!"

Да, шут гороховый... А ведь некогда, очевидно, не был шутом гороховым. Некогда мимо этого кинотеатра мальчишкой пробегал в школу. Некогда у меня была мать, она меня часто из школы встречала. Встречать-то, может быть, не встречала, но встретить могла.

Мать, помнится, все время сидела в пивном ларьке на бочке. Впереди ее приятельница – в белом халате, кран отворачивает, пену правит, а за ней мать и – руки в муфте... Да, вот матери теперь нет. Нет самой близкой мне женщины. Четыре мужика в резиновых сапогах, скользя по глине, гроб опустили на ремнях. Спи, мать, ты жила на свете. И звон раздался колокольный, и пахло глиной и травой.

...Да, насчет колокольного звона – не было. Гробовщикам по пятерке на брата – это помимо официальной оплаты – и будь здоров, Вася – живи с приветом... Вот и пошел спиной к кладбищу, в серый такой день, мимо ольхи и

березы, мимо осины и бредняка. Не было ни горя, ни удивления, а какая-то тоска, какая-то чухонская болотная тоска, за городом было сыро и в городе было тоже сыро... Казалось, какие-то птицы над кладбищем летали... "Да, удивительная вещь – жизнь", – думалось мне.

* * *

В смерти матери была какая-то обыденность – не страшно. Когда я вошел в комнату, помнится, это было после работы, она, приоткрыв свои голубые глаза, лежала, спокойно так лежала... Это потом, в морге, через два дня – этот самый коричневый цвет и опадение лица, и губы как-то запеклись, а тогда только по синим камушкам глаз я понял: «Это конец...» Светлый взгляд в никуда, и форточка распахнута – ночью был ветер, вот, очевидно, и распахнул. Холод и воздух, и запах какой-то сукровичный. Запах, от которого меня чуть не стошнило. Я от этого запаха еще долго не мог избавиться.

– Ну что, мать? – помнится, сказал я. – Ничего, лежи, лежи. Тут какие-то тетушки набежали...

– Снимите, – говорю, – кольцо, все равно в морге снимут...

Вот и все – больше я к своей матери не подходил. Ну, да ладно, что там о смерти... Смерть – это тоже стена, тоже граница, а пограничник не спит и слово его хранится. Слово его хранится, и он все простит и покроет. Одного не покроет – празднословия. Скажет: «Кто ты был в юдоли своей? Отвечай!» Вот и ответишь – да сложно будет... Скажешь: «маменька моя родная» и другие прочие подобные слова. А что слова? Важно – кем слова. Важно – кто слова. И за что – слова. А все остальное – Майя, о которой ты кое-что знал, но мало что ведал. Мало что ведал, а потому и остался один, как некая обманка, в которой истинное трудно увидеть...

...Да, стоит об этом подумать, стоит об этом поразмышлять и особенно мне, который от эгоизма ушел, но так ни к чему и не пришел. Вот отчего, когда речь заходит о матери, я чаще всего молчу или говорю в таком виде, что мне иногда самому стыдно становится.

...Мать, мать. Мать, помнится, чуть что, на хер посылала. Бывало, выпьет стакан – размягчится, сначала добрые слова начнет говорить, а потом и заплачет. Однажды я пришел к ней, а она смотрит в зеркало, а в зеркале пятьдесят лилипутов и все смеются. (Это ей кажется).

– Ну что, мать? – сказал я. – У тебя белая горячка. Тебя надо лечить?

– Пошел ты на хер, – говорит. – Это у тебя самого белая горячка. (Это она мне-то, своему сыночку). – От матери хочешь избавиться, раньше времени в гроб положить.

А сама смотрит в зеркало, а в зеркале пятьдесят лилипутов. И все смеются.

– Что это, – говорит, – соседка с ума сошла, столько лилипутов в квартиру напустила – целый цирк? И не стыдно им – что они там делают? Вон посмотри. – (Это она мне-то) – в зеркало.

А в зеркале – старуха с гривой седых волос, а в глазах трагический свет, свет проклятой ириниями женщины. Ну, не ириниями, конечно, но проклятой...

...Да, вот справа ресторан «Универсаль». Швейцар в фуражке с железной кокардой. Швейцар в темноте прихожей. Это прежде чем подниматься в зал на второй этаж. Это оттуда, со второго этажа, летом из распахнутого окна слышна музыка и голос этакий разудалый поет, мол, люблю я тебя, так люблю, а почему и сам не знаю. Я уже давно заметил, что нынче особенно модно ничего не знать: мол, не знаю и все.

А по Невскому мимо меня несутся машины. И белое влажное утро. И парят, и парят. А ты, Завалаяев, таким долговязым пережитком движешься по левой стороне – и впереди Адмиралтейство – и кораблик золотой. Ты, Завалаяев, с бледным таким лицом, с серым таким лицом, с таким лицом, как будто оно долго лежало под камнем, движешься с продуктовой сумкой. Вон милиционер, стройный такой молодец, ходит взад и вперед по середине проспекта, дымит себе в усы и энергично так свистит; полушубок, сапоги, португез; вот символ сторожа нашего века! А ты, Завалаяев, отживший тип. Ты – правнук широко распространившихся в свое время монстров, всех этих онегиных и хлестаковых, этих раскольниковых и смердяковых, этих аблеуховых и мерзляковых. Ты, жалкий асбест, реставрированный тип девятнадцатого века, совершаешь поход по квадрату или прямоугольнику и нет тебе никакого сюжета. Вот возьми тебя по сюжету, возьми и помести на какие-нибудь страницы: тоска, скука. А вот чтобы страсти, жизнь по страстям, любовь, там, ревность – этого ты себе не можешь позволить, ты на это не способен. Ты знаешь, что стоит тебе нечто по страстям совершить, как тебя сразу же и того... в рабы сдадут. Сразу же тебя в рабы и припишут. Удивительное это дело – современное рабство в наш организованный, в наш цивилизованный, в наш полный демократий век. Как подумаешь об этом, так и думать не хочется: сразу за голову хватаешься. Так запутано в этом мире, так запутано, что иногда от этой запутанности начинаешь смеяться. Лежишь себе на постели и смеешься. Приходит жена:

– Ты что, с ума сошел?

А ты смеешься.

– Нет, не сошел, – говоришь, – просто, – говоришь, – я хочу мысль изгнать и в пастуха на горах превратиться.

– Ты что, чокнутый? – бывало, скажет жена и пальцем, как отмычкой, у самого виска проведет.

– Нет, – ей отвечаешь, – это я думаю, как мысль изгнать и в детское состояние снова вернуться. Ибо мысль только к трагедии и ведет. Потому как мысль только тогда истинна, когда она в трагедии. А в трагедии счастья нет, как ее потом ни называй, благой вестью или мистерией. Трагедия – это путь к знанию. А знание – ужас великий и через этот ужас не всякому можно пройти...

...Ну, вот и кулинария. От ресторана «Универсаль». В нее надо спускаться вниз, делать несколько шагов по каменным ступеням. Тут в основном женское общество собирается. Женщины средних лет мельтешат, внимательно рассматривают витрины, девушки пирожные едят, платочком рот утирают...

...Полные такие девушки от шестнадцати до семидесяти, а глаза навывкате и дышать трудно. Я бы некоторых женщин каждый день набивал бы пирожными, чтобы они ими, наконец-то, пресытились и не ели бы так плотно.

По правую сторону, на витрине, за стеклом – полуфабрикаты, дальше салаты, жареные котлеты, рулеты, голубцы и печенки. Смотришь на все это – и никакой тебе трагедии. Только некое отделение слюны и её желание упасть на пол. Когда жизнь сводится к ежедневному обдумыванию, что купить и при этом поменьше истратить, или что вообще сегодня поесть – тоже нет никакой трагедии. Есть томительно-утомительное существование: экзистенция выживания. И хорошо, когда ты один, но если у тебя есть дети – есть отчего схватиться за голову. Бьешься, бьешься, сводишь концы с концами, проклинаешь, что в сторожа пошел, что, многим кажется, не у дел оказался. Не хочу, мол, в школе литературу преподавать, не хочу, мол, определенную тенденцию выстраивать и тем самым души детские ломать. Потому как иную литературу узнал, иную проведаль. И потом, какая там литература, когда ты руками и ногами к своему рабочему месту привязан. Какая там литература, когда у тебя нет никакой свободы. Литература существует для тех, у кого есть свобода.

– Это, – сказала однажды мне моя соседка, – Гоголи с Пушкиными могли позволить себе быть свободными, да всякие баре и господа. А нам надо вкалывать, а кто не хочет этого делать – воровать. Вот так-то.

...Ну, вот, поскорее на Невский, на воздух. Широко и облегченно вздохнул. На воздухе как-то легче, чем в помещении. Несколько

ступенек вверх. И в дверь – боком. Ибо с мужиком брюхами встретились. Нет тебе, Завалаев, уступить, а ты замялся, понравилась ли тебе физиономия, что ли, или за брюхо хотел подержаться... Вот брюхо к брюху: причастились, побратались и дальше, чтобы навсегда, может быть, навеки расстаться...

Да, чем-то близким пахнуло, родным, что ли. Нравятся мне некоторые толстяки, хоть я и тощий, а нравятся. С таким бы толстяком и по стране пешком. Эх, хорошо бы однажды взять и по стране пешком! Стоит об этом подумать, стоит об этом поразмышлять, как и о своем родном, близком, которое, говорят, нынче забыто, но в связи с возрождением должно возродиться... Все это может быть и хорошо: возрождение, там, воскресение. Но вот что не хорошо: тут один писатель из тех самых любителей кустиков и деревней (сами живут в городах, а поэтизируют деревню), выступая по телевизору, а вернее у него встреча была с читателями, сравнивая американскую ферму с нашим совхозом, заявил, что, мол, отличие нашего скотного двора от американского состоит в том, что у нас скотник каждую корову по имени зовет, по имени знает, не то что фермер, у которого все коровы под номерами ходят и у каждой коровы на шее вместо нашего русского звоночка компьютер болтается. Вот отчего, мол, у нас к скоту как-то теплее относятся, душевнее, что ли. И у коров простые имена простых русских женщин: Машка, там, Дашка. Не то что в Штатах какая-нибудь 213-ая или 215-ая.

Этой мысли, вышесказанной писателем, сидящие в зале читатели весьма хлопали: мол, какой молодец, какой умный. А того не могли понять земляне, что конец-то коровам у нас и в Америке – один и тот же. Известно, какой конец. И еще неизвестно, что лучше: душевнее ли относиться к коровам или равнодушно. Ибо, когда душевно относишься, а потом режешь, тогда слеза течет и жалость пронзает, а ты плачешь и режешь, режешь и плачешь. И, значит, ты вдвойне подлец, потому как в этом плаче любви нет. Ибо любовь есть там, где никто никого не режет. А уж если говорить о том, где душевнее к коровам относятся, так это в Индии... Да, хорошо бы сейчас в Индию. В Индии сейчас тепло – цветы, кусты, женщины...

...Известна ли вам, дорогие господа, древнеиндийская мысль: «Когда касты смешиваются, женщины начинают развращаться?» Не напоминает ли вам эта мысль что-либо? Не напоминает ли эта мысль, что ты не на праздник пришел, а на простой обычный семейный скандал?

(Окончание следует)

Светлана ЗАВЬЯЛОВА

БАБКА НЕДУХОВНАЯ

(Рассказ)

Покачиваясь с боку на бок, Анна Ивановна переставляла свои толстые больные ноги по нагретому за день асфальту. Узкая улица, подобная ущелью, нескоро вынесла ее к перекрестку. От него до работы рукой подать. Старуха говорила с собой по одинокой успокоительной привычке: «Чегой-то я взмокла вся? Уморилась... А и то – бабка старая, а все ползу на работу. В церкву разве зайти? Там и не жарко. Только что не приученные мы. Сейчас, вишь, дети ходят, а нам, старым, тру-у-удно. Жисть-то пролетела без этого, все сами решали, а теперь-то у-ух! Я и ступить-то там не умею...».

Анна Ивановна побилась с дверью, не зная – тянуть ее или толкать. Неожиданно дверь подалась вперед и старуха с авоськами влетела на середину храма. Службы не было, несколько человек стояли редкой группкой у распятия.

Две женщины в очках и длинных до полу юбках одновременно обернулись и посмотрели с укоризной. Анна Ивановна стала пятиться назад и задела подсвечник. Он качнулся, лампадка с маленьким ласковым огоньком вдруг подпрыгнула, плеснулось масло, и огонь погас. Масляное пятно медленно расплывалось под иконой, и в нем отражался строй свечек.

Анна Ивановна громко охнула, поставила авоськи, пошарила в одной из них и вытащила рулон туалетной бумаги. Разорвав обертку, она с трудом опустила на колени и начала бумагой вытирать масло. Около масляного пятна вдруг возникли белые босоножки.

– Что же Вы делаете?

Анна Ивановна, перебирая руками по полу, села на пятки и посмотрела вверх. Тонюсенькая, как пятирублевая свечка, задрапированная во все черное, девушка со страдающим лицом стояла рядом, прижав к груди слабые руки.

– Я, миленькая, вытираю...

– Чем? Чем Вы вытираете? Это же кощунство! Какая Вы не духовная!

Анна Ивановна совсем растерялась.

– Чегой-то? Детка, не плачь, я быстренько...

– Уйдите, ради Христа! Это невозможно! Что у Вас на голове?

В редкие недлинные волосы Анны Ивановны был всунут массивный темный гребень, доставшийся ей в наследство от матери. Теперь, из-за суматохи, он вылез и торчал напо-

добие рогов. Девушка зарыдала в припадке благочестия.

Анна Ивановна с трудом поднялась с затекших колен, засунула масляную бумагу в авоську и побрела к выходу.

– Бумагу сожгите, только не выкидывайте, сожгите бумагу обязательно! – причитала девушка вдогонку.

По выходе из храма Анна Ивановна хотела идти сразу на работу, но... ноги не шли. Она села на ступеньку церковного крыльца и стала наблюдать бесконечное движение машин. Люди, сидящие в машинах, показались ей по-

хожими друг на друга – курящие, жующие, кричащие в трубки. Было очень скучно.

– Вот и ходила бабка в церкву... ой-ой-ой... – Она стала покачиваться из стороны в сторону, потирая большие расставленные ноги, и говорила вслух:

– Я, может, не туда зашла? Может, у нас с ими вера разная? Попа даже не увидала, а хотела про сына спросить, ведь совсем спи-и-лся.

Анна Ивановна сглотнула комок, подступавший к горлу. «Разве ж я грешно жила? Не убила, не ограбила никого. Работа все съела. Все мозги мне работа съела... Как это она сказала – "темная"? Не так... забыла я».

Стукнула дверь, и на крыльцо из храма вышла небольшого роста, кругленькая женщина с веселыми глазами.

– Ой, Вы не ушли еще, как хорошо! Я думала, бежать за Вами придется.

– Чегой-то? – испугалась Анна Ивановна.

Женщина села рядом с ней. Длинные седые волосы были убраны в высокую прическу, и от этого ее голова в пестром платочке казалась очень большой. Но это не портило ее, а придавало ей сходство с ребенком.

– Я нынче на родине была. А родина моя от города Тольятти в 70-ти километрах. Так представляете, прямо за нашим садом обнаружили мощи святого иеромонаха Пантелеймона. Он умер лет 120 назад. А мощи совсем нетленны. Рядом монахиня была, так она тленна. А он целый весь, и облачение цело. А там внизу в склепе вода была. По колено в воде стояли, когда гроб вынимали. А запах какой дивный шел! У меня невестка землицы набрала оттуда. «Еду, – говорит, – в автобусе и вдруг запах. И все тоже заметили, завертелись. Будто духи, только лучше». Все друг на дружку смотрят, и она тоже, виду не подает. А

дома к больной ноге приложила – вся боль прошла. А так уж лет 15 мучилась. Благодати столько!

Женщина встала, не переставая улыбаться. Она и говорила как-то ласково, бережно выпуская каждое слово, цenia то пережитое ею состояние. Она помогла Анне Ивановне подняться.

– Как ты, миленькая, говоришь приятно...

– Провожу Вас?

Она взяла одну сумку и стала спускаться с крыльца.

– А чудес как много сейчас совершается! В тот день, как мощи подняли, пришла бабушка деревенская, вериги принесла. Этого иеромонаха вериги. Она про мощи ничего не знала. Ей отец их передал, он старостой был церковным. И вдруг в этот день она их решает в церковь нести. А еще одна крест его принесла. Так и собралось все. Только иконы еще нет.

Он все ходил с иконой. Смоленскую Божию Матерь знаете?

Анна Ивановна помотала головой.

– Ну, все равно, – так же ласково сказала женщина, – узнаете еще. Это ничего. Чудес-то как много!

Она замолчала. В молчании перешли дорогу.

– Но и скорби были... – голос ее изменился. – Я сына похоронила.

– Как? – спросила Анна Ивановна, потрясенная этой фразой в чередe слов.

– А убили, наверное...

Женщина снова говорила ласково и с улыбкой:

– Всю родню Саша собрал. Не было истерик. Тишина какая-то. И благодати много. И тогда и теперь. Как облако.

Она поставила сумку и поцеловала Анну Ивановну в морщинистую щеку.

– Простите. Пойду. Бог в помощь Вам, милая...

Она шла в толпе медленно, важно, как корабль. Анна Ивановна смотрела ей вслеп и еще долго видела высоко поднятую голову с большой прической.

...Плевки, окурки и мусор вокруг урн сегодня не так раздражали Анну Ивановну. Она убирала, мыла и даже не говорила вслух, а мучительно думала, словно ей надо было решить что-то важное и от этого решения изменится ее катящаяся к закату жизнь. В речи странной женщины из храма половина слов ей была непонятна. Вспомнилась почему-то бабушка, и впервые стало жаль, что могила ее не сохранилась – затоплена или какой стройкой разорена... Ничего не осталось в памяти.

И уже поздно вечером, когда Анна Ивановна потянулась стереть засохший плевков на стене, на нее вдруг, как внезапный ливень, обрушилось это постороннее горе и ей страшно жаль стало неизвестного чужого сына Саши.

Анна Ивановна присела на край вымытого унитаза и заплакала, как не плакала уже давно. Свое привычное горе с пьяницей-сыном отошло в сторону. И эта незнакомая женщина со своим странным рассказом, не сломленная потерей Саши, стала очень родной, пробив оболочку обычных отношений, которые считаются нормальными между людьми и часто просто скрывают безразличие. И если так легко говорила она о смерти, значит, череда рождений и смертей имеет какой-то смысл и не все кончается смертью. А есть что-то страшное и прекрасное потом, а меня обманули еще в детстве и через это я теперь несчастна. Лучше бы убили меня, бабушку недуховную, потому что я не знаю ничего, кроме работы. Потому что я всю жизнь ложила шпалы. А их ложишь и ложишь и конца им не видно. Может, до самого неба я ими дорожку выложила. И пусть по ней идет Саша и его мать, любовью преодолевшая горе, и другие еще люди... А мне-то теперь как же?

НАСЛЕДНИКИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Бахыт КЕНЖЕЕВ

* * *

Отложена дуэль. От переспелой вишни на пальцах алый сок. В ту пору без труда ссужали время мне - но амба, годы вышли, платить или бежать. Еще бы знать куда...

Долги мои, должки, убытки и протори командировочные, справки, темный сон о белом корабле на синем-синем море, откуда сброшен я и в явь перенесен.

Там угловатый хрип, ограбленное лето - и море ясное. И парусник белей счетов, оплаченных такую же монетой, что давний проигрыш моих учителей.

* * *

Говори - словно боль заговаривай, бормочи без оглядки, терпи. Индевет закатное зарево, и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдаёт

до сих пор - но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола -
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой -
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

* * *

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,

о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Роцца претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.
Не просите у осени смысла -
пожалейте ее, господи.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: "не отдам"
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

* * *

Словно тетерев, песней победной
развлекая друзей на заре,
ты обучишься, юноша бледный,
и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах
насобачишься, видит Господь,
наводит иронический шорох -
что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человецье,
и еще наостришься, строка,
обихаживать хитрою речью
неподкупную твердь языка.

Но нежданное что-то случится
за границей той чепухи,
что на гладкой журнальной странице
выдавала себя за стихи.

Что-то страшное грянет за устьем
той реки, где и смерть нипочем, -
серафим шестикрылый, допустим,
с окровавленным, ржавым мечом,

или голос заоблачный, или...
сам увидишь. В мои времена
этой мистике нас не учили -
дикой кошкой кидалась она

и корежила, чтобы ни бури,
ни любви, ни беды не искал,
испытавший на собственной шкуре
невозможного счастья оскал.

* * *

Хорошо на открытии ВСХВ
духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве,
и кружат карусели.

Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем - была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт - угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы -
и топориком в темя -
чтобы выгрызло мозг из своей головы
комсомольское племя.

* * *

Я знаком с одним поэтом: он пока еще не стар.
 Утро красит нежным светом стены замков и хибар.
 Он без сна сидит на кухне. За стеною спит жена.
 Стынет кофий, спичка тухнет, и в тетрадке ни хрена.
 Это страшно, но не очень. Завещал же нам "молчи"
 цензор Тютчев в дикой ночи или, правильной, в ночи
 размышлявший о прекрасном и высоком, но пера
 не любивший, даже классно им владея. До утра
 в тихой мюнхенской гостиной созерцал он чистый лист
 у потухшего камина, безнадежный пессимист.

Не грусти - для счастья нужно огорчаться иногда.
 Например, спешит на службу граждан честная орда,
 и легко ль казаться важным, если знаешь наперед,
 что никто из данных граждан книжек в руки не берет?
 Это грустно, но не слишком. Велика поэтов рать,
 нет резона ихним книжкам без оглядки доверять,
 лучше взять другой учебник, простодушный мой дружок,
 где событий нет плачевных и терзаний смертных йок.
 Это чудо-руководство ты купи или займи,
 только как оно зовется - не припомню, шер ами...

Там, гуляя звездным шляхом, астрофизик удалой
 водрузил единым махом новый веры аналой,
 рассчитал, что в мире зримом ни начала, ни конца,
 доказал, что время мнимо, и отсутствие творца
 обнаружил он, затейник. Полон зависти поэт,
 и кипит его кофейник, и покоя в сердце нет:
 милой жизни атрибуты, радость, страсть, добро и зло-
 как же их увидеть, будто сквозь волшебное стекло,
 чтобы жар любви любовной вдруг двоиться перестал
 и предстал прозрачным, словно сквозь магический кристалл?

В рассужденьях невеселых ты проводишь краткий век,
 будто прошлого осколок, будто глупый человек.
 Звуки песенки негромки, но запой ее в беде:
 все мы прошлого обломки, сны о завтрашнем труде,
 то ногами спички ищем, то бросаем меч и щит, -
 оттого и слог напыщен, и головушка трещит.
 Где найти дрожжей бродильных, как услышать тайный глас
 и безоблачный будильник на какой поставить час?
 Спи: судьба тебя не судит. Не беги ее даров.
 Все равно тебя разбудит моря сумрачного рев.....

* * *

*Майору заметно за сорок - он право на льготный проезд
 проводит в простых разговорах и мертвую курицу ест -
 а поезд влачится степями непахаными, целясь в зенит,
 и ложечка в чайном стакане - пластмассовая - не звенит.
 Курить. На обшарпанной станции покупать помидоры и хлеб.
 Сойтись, усомниться, расстаться. И странствовать. Как он нелеп,
 когда из мятежных провинций привозит, угрюм и упрям,
 ненужные, в общем, гостинцы печальным своим дочерям!*

*А я ему: «Гни свою линию, военный, пытайся, терпи -
 не сам ли я пыльной полынью пророс в прикаспийской степи?
 Смотри, как на горной окраине отчизны, где полночь густа,
 спят кости убитых и раненых без памятника и креста -
 где дом моей музыки аховой, скрипящей на все лады?
 Откуда соломкою маковой присыпаны наши следы?»
 «А может быть, выпьем?» «Не хочется». Молчать, и качать головой -
 фонарь путевой обходчицы да встречного поезда вой...*

Татьяна СЕМЁНОВА

ДВОРЕЦ ДОЖДЕЙ

– Дворец Дождей, разденьтесь в гардеробе
и зонтики оставьте на хранение.
Дворец Дождей – единственный в Европе, –
последнее в сезоне наводнение.
Не Дожей, а Дождей, хотя похоже:
блестящим полом мокрого асфальта,
«Фонтаном слёз», стекающим на ложе
гранитное, под трели пиццикато.
И Ларчик Зимнего откроется так просто,
шкатулкой музыкальной из нефрита:
ключами молний грохнет перекрёсток,
и в унисон процокают копыта.
И Ангел, не теряющий надежды,
Хоть выбился уже из сил последних,
петровскою иглой сошьёт одежды
из облаков – для статуй в Летнем.
Но если ринется, подхваченный волною,
потоками Невы Потоп библейский,
все петербуржцы, словно братья Ноя,
поместятся в ковчег Адмиралтейский.
И если Вы хоть чуточку счастливый,
и повезёт, – через дворцовый купол
Вы радугу увидите с залива.
А может быть и две блеснут кому-то...

ЛЕСОПОВАЛ

Считай, везло – из первых двух пригонов
народу, что деревьям полегло.
А дед в депо был сцепщиком вагонов.
Лишь палец оторвало.
Повезло.

Бухгалтер в лагере как раз проворовался.
Для деда отшумел лесоповал, –
велели, чтоб в бумагах разобрался,
орали: «Что профессию скрывал?»

Потом в район возили под конвоем –
сдавал баланс, гордился – честью честь.
И пусть в галюн ещё водили строем,
а всё-таки на жизнь надежда есть...

...на пароходе мы проходим шлюзы.
Как быстро здесь построили канал.
Он был могилой целого Союза,
но деда моего не доконал.

И даже на мои к нему вопросы
он сразу никогда не отвечал.
Наверное, запомнились допросы
и папиросы «Беломорканал».

СОСНА

Сезанн – он как «Сезам!»,
стучи, – тебе откроют.
Проси, – тебе дадут.
Проснись. К тебе пришли.
Как весело глазам!
Под этою сосною
отыщешь свой приют
и пядь родной земли.

Внизу чернеет ствол
привычкой пепелища.
Но золотая ветвь
на солнце, как загар.
Живое существо
знакомое, как нищий,
стоявший много лет
у входа на бульвар.

Ты рад ему отдать
последнюю копейку,
когда вернёшься вновь
в тот город детских снов.
Сосна и есть сосна,
но что-то вдруг навеет,
корнями ищет дна,
познания основ.

* * *

Есть поэзия в слове «баланс»,
как в профессии эквилибриста.
Бухгалтерия – это пасьянс,
авансцена большого артиста.

Даже кружево скрепки стальной –
паутина покрепче капканов.
Эта логика связи двойной,
как в хороших шпионских романах.

Только цифры способны молчать.
Бланки – словно турнир в Касабланке.
Ну а если поставить печать,
это доллары, фунты и франки.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Мне хула, как хвала. Всё опять повторится сначала:
дикий посвист толпы, озверев, прокричавшей: «Распни!»
Я напрасно ждала. Где сходились концы и начала,
на дороге судьбы Гефсиманские гасли огни.

Невозможная честь вместе с Богом и Сыном молиться
нынче выпала мне накануне великой беды.
Что я делаю здесь? Но, увидев уснувшие лица,
как собака во тьме я твои отыскала следы.

Мне бы только успеть... Стук мечей и метание люда...
Вифлеемской звездой скатилась за ворот слеза,
обрекая на смерть. И меня целовали Иуды
предрасветной порой, отрекаясь и пряча глаза.

* * *

Ты хочешь знать что у меня внутри,
критическую точку матерьяла?
Не жаль игрушку, – ну тогда смотри,
я на изломе только твёрже стала.

Отлично скроен и пошит наряд,
и не беда, что где-то есть заплатка.
Ведь мода возвращается назад
для вечной жизни антиквариата.

Матёрый волк и старое вино...
Но речь идёт, конечно, не об этом,
а лишь о том зачем оно дано
двойное дно шкатулочке с секретом.

* * *

Я стану каяться на лестнице,
уже спускаясь по ступеням,
и вид пересечённой местности
меня поставит на колени.
И пусть осудит население,
презрев до глубины души,
ведь я прошу, прошу прощения
у этой пыли и глуши.
За то, что городскою павою
ступаю – плечи, каблукки...

Гуляю местными канавами
и раздеваюсь у реки.
Моё «бикини» – революция,
и мотоциклы тормозят...
Кувшинки восковыми блюдцами
следят за мной во все глаза.

И вдоволь нахлебавшись взглядами
и неизбывною тоской,
почувствую себя наядою
и... завладею их рекой.

Виталий ДМИТРИЕВ

* * *

Возможно, где-то и есть глубина,
но эта гладь лишена объёма.
Если тебя поднимает волна,
ты ничего не видишь кроме
таких же волн. Посмотри вокруг –
настолько спокойно житейское море,
что даже если тонет твой друг,
это не воспринимаешь как горе.
Ты видишь волны, а их накат

* * *

В.Д.

Я давно тебя наизусть учу.
Напишу роман, – назову судьбой.
Я хочу прильнуть к твоему плечу.
Положи в карман, унеси с собой.
Никому меня не показывай,
ни о чём меня не расспрашивай,
и о ней при мне не рассказывай,
замети пути к дому нашему.
Будет нам, мой друг, по ночам светло,
целый мир вокруг – отражением.
Это раньше нам в жизни не везло.
Так давай – назло невезению.

ЗЕРКАЛО

А.Тарковскому

Своим дыханьем поутру
мир, словно зеркало, протру,
Тарковский мир – он не таковский,
с травой живою на ветру.

Своим дыханьем поутру
отогреваю конуру.
Мои нехитрые покои
рукою женской прибору.

Своим дыханьем поутру
одушевляю всё вокруг.
В окно мне птица постучится,
И я подумаю – к добру.

Своим дыханьем поутру
разбережу тебя, мой друг,
и загляну в глаза такие,
что от волнения умру.

на сушу скрыт навсегда от глаза.
Сплошные волны. Над ними закат.
А дальше – ум заходит за разум.
Поэтому лучше бы и не писать,
а бормотать стихи, как молитву,
сам которую понимать
ты не обязан. Слова, что слиты
воедино, рождают сплав
мыслей, чувства, остатков воли.
Поэзия – это стусок боли,
стусок жизни, её состав.

Поэтому лучше бы думать о том,
 что завтра тебя ожидает то же,
 что и сегодня – холодный дом,
 сомканный сон, постылое ложе,
 жизни неутолимая жажда
 и смерть, в которую входим дважды.
 Поэтому лучше бы и не жить.
 Но этот выбор нам не дан свыше.
 Имеющий уши – да услышит,
 глаза имеющий – да различит
 в своей неповторимой судьбе
 ситуаций готовые звенья.
 Но когда изменяют и слух, и зренье –
 так легко изменить себе
 самому. За волной волна.
 Для ситуаций и их стечений
 нет ни правил, ни исключений, –
 только жизнь. А она – одна.

* * *

Жизнь пришла в запустенье.
 Скупая пора нищеты
 наступает, но ты
 всюду ищешь знамение,
 повод казаться беспечным,
 повторяя: “Конечно.
 Я всё понимаю, но это не вечно”.
 Жизнь пришла в запустенье.
 И можно писать наугад
 что угодно: дорогу, стареющий сад,
 бормотание листьев ночных,
 паутину сырых фонарей,
 город, поле, казарму, колючую сеть лагерей,
 только стоит ли, если
 Жизнь пришла в запустенье.
 Если дело не в строчках
 (куда и зачем рифмовал),
 не в позиции даже.
 Ты знаешь подспудно,
 что боль неподсудна.
 Искал, находил, потерял...
 Это, в общем, не трудно.
 Жизнь пришла в запустенье.
 Зачем тебе этот рефрен?
 Я готов отказаться,
 но что мне предложат взамен,
 если жизнь –
 в самом деле, пришла в запустенье?

* * *

Благословляю всё, что скоротечно.
 Страшнее смерти разве только вечность –
 избави Бог от таких чудес.
 Уходит жизнь по замкнутому кругу.
 Секунды набегают друг на друга
 и нет зазора – времени в обрез.

Я презирал дотошность циферблата.
 Всё впереди. Но вот – круглеют даты.
 Нам говорят – Виновник торжества.
 А виновато, в сущности, лишь время,

которое рифмуется как бремя,
 но не с любой строкой, а только с теми,
 в которых даже музыка мертва.

Вот так – стихи. Я знаю их повадки:
 берёт строка за горло мёртвой хваткой,
 и не поможет вычурнейший слог,
 коль все другие блёкнут, словно тени,
 и, как актёр, стоишь на шаткой сцене,
 бубня один и тот же монолог.

Быть или не быть?
 Зияет неудача.
 Я просто жестом мысли обозначу.
 Позорный прочерк... Забежав вперёд,
 нарушив связь концовки и начала,
 как их связать? И стоит ли? Пожалуй –
 Другая тема. Эта подождёт.

Вот так. Произнесёшь – Другая тема.
 Но те же и рифмовка, и система
 инако мыслить. Каждое звено
 цепляется надёжно друг за друга.
 И всё опять – по замкнутому кругу.
 Неужто же другого не дано?

Ночь глубока, но в комнате светлеет,
 кусочек неба медленно белеет
 и первый снег ложится на дома.
 Я подхожу к окну – Какая свежесть!
 Я говорю – Куда Вы, Ваша Светлость,
 Высочество, Величество, Зима?

Кружится снег, и лист последний кружит,
 кружится мысль стремительней и уже.
 Мне в этот миг заметней кривизна
 падения, движения, полёта...
 Идёт необратимая работа,
 которая возможно, не нужна.

.....

Мимо двери и прочь.
 В переулке всё тише,
 всё глуше шаги незнакомца.

Петербургская ночь
 белым крестиком вышита.
 Где ты, последнее солнце?

Наши тени густеют.
 Восток поглотил наши стоны.
 Грязь подмёрзла, глаза стекленеют.
 Мы впаяны в лёд.

Кто пробьёт
 эту землю насквозь своим телом?
 Наши судьбы помечены
 и перечёркнуты мелом.

* * *

Оглушает пустотой между двух ударов сердца.
 Утешает суетой.
 Что ты делаешь?
 Постой!
 Дай хотя бы оглядеться!

Не ответит, промолчит Время,
лекарь уходящий.
Только музыка звучит –
плач взахлёб да смех навзрыд –
бремя жизни предстоящей

* * *

Анхель де Куатье,
Харуки Мураками...
Простите, не слышал, - я развожу руками.
Акунина и то – прочёл до середины,
как список кораблей в поэме,
столь старинной,
что автора, увы,
не помнят даже греки.
Не помните и вы
об этом человеке.

Он по миру бродил,
слагал свои поэмы.
Я многое забыл,
запомнил только тему –
украдена жена,
всё связано с любовью...
Там, под конец, волна
подходит к изголовью, грохочет...
Впрочем, нет, -
я путаю, похоже.
То был другой поэт.
Его забыли тоже.

* * *

В. Агалакову

Вдоль железнобездорожья –
лес, живущий хаотично.
Это живопись, но всё же –
до чего она графична, -
только охра, да белила,
да разбавленная сажа.
Словно красок не хватило
у создателя пейзажа.
У самой природы тоже
голубой, зелёной, алой
не хватило, да, похоже,
что и прежде не хватало.
Слишком скудная фактура,
слишком бедная палитра...
И, писавшему с натуры,
было не до колорита.
На сугробы грязной ваты
всё длинней ложились тени.
...и, успеть бы до заката,
до небесопомраченья.

* * *

Спи. Ничего не случится.
Нет ни любви, ни тепла.

Словно пустая страница
ночь – да пребудет бела.
Негде, родная, топиться.
Горькой воды не напиться.
Глупая птица-синица
море моё подожгла.

Добрая, станешь ли злою,
если иссушит тоска,
горькою солью морской,
тёплой прибрежной золою,
болью моей на века?
Разве не я тебя предал?
Господи, я ли не ведал,
как эта чаша горька?

Что же мне делать отныне
в этих зыбучих песках,
в этой бездонной пустыне,
этой судьбы посредине,
боль выдавая за страх?

* * *

В снегу протоптана тропинка,
а он всё падает с небес,
летят безумные снежинки
слепой судьбе наперерез.
И всё ж - попробуй, сфокусируй
хоть на одной беспечный взгляд.
Сплошные точки и пунктиры
сквозь вечность к Господу летят...
Лыжня вдоль Финского залива
слегка подтаяла с утра.
...стакан...бутылка из под пива...
от мандаринов кожура...
крик электрички...
лай собачий...
луна, глядящая в окно...
Всё в мире связано, иначе –
всё развалилось бы давно.

В ДОНСКОМ

Ирине

В июльской столице награда –
Святой островок тишины.
Тебе даже в полдень прохладно
В тени монастырской стены.
Сильней мою руку сжимая,
Ты зябко поводишь плечом.
Пойдём лучше в сад, дорогая,
Да яблок зелёных нарвём.
Ну чем я умнее Адама,
Когда и воистину рад,
Что рядом с заброшенным храмом
Такой же заброшенный сад.

* * *

БАХЫТУ КЕНЖЕЕВУ

Раздвигая шторы, в квартиру впускаешь свет,
или тьму изгоняешь наружу?
Ответь, поэт?
Волновая теория света тебе симпатичней
или корпускулярная?
Веришь ли ты в чудеса?
Надувает солнце космические паруса,
или это бредни фантастов?
И что первичней –
темнота или свет?
Мой вопрос не настолько прост,
как тебе показалось.
Кометы загнутый хвост –
доказательство только того, что она хвостата...

...как я быстро усвоил псевдонаучный слог, -
хоть пиши трактаты.
А что? – Пролог, Эпилог
да не слишком тесно набранные цитаты...

Компиляция дело не хитрое.
Помню, в раж
мы входили с Саней, дипломный скроив коллаж,
наугад подбирая лоскутные ссылки и сноски...
Оттого и не скучно было диплом читать, -
мы на сотне страниц поменяли тему раз пять.
Вот, наверно, в гробу вертелся бедный Твардовский.

Не грусти о прежней жизни.
Она цела
невредима.
Разве чуть-чуть прошла
да из моды вышла.
Такого не носят всё чаще.
Не умеют. К тому же манеры совсем не те
у отцов-детей...
И летит Чапай в пустоте,
надвигаясь на нас от сырой простыни говорящей.

* * *

Я слово за словом теряю, а время подводит черту.
Любимая - я повторяю - Любимая – как в пустоту.
Зачем наступают мгновенья, которым дано уцелеть,
даруя второе рожденье всему, что просило забвенья?
Зачем эта новая смерть?

Нам даже любви не сберечь, не выжить под лёгким наркозом
нелепо задуманных встреч.
Всё глубже дыхание прозы, такие смертельные дозы –
прямая открытая речь.

И эти фальшивые ноты... Заветная музыка лжёт.
Любые её повороты скрывают холодный расчёт.

Зачем же, опять забывая немую свою правоту
и слово за словом теряя – Любимая – я повторяю –
Любимая – как в пустоту...

Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

КРЕСТ

Кто с кем стрелялся? Кто был убит?
Креста в бурьяне печален вид.
Раскинул руки, закрыл глаза
крест безымянный... И – в небеса
не кинет взгляда, не прокричит:
кто с кем стрелялся? кто был убит?
Из-за – актерки? туза червей?
Бурьян...могила... И крест на ней.

Дуэль... актерка... Дурной пошиб.
Звучали: Шипка, аул Гуниб,

Хива, Мукден ли... всё – край земли.
...В гробу свинцовом его везли.
Дорогой пыльной... песок и зной...
Дорогой долгой... везли домой.
Поручик юный? седой майор?
Крест сохранился до этих пор.

До окаянных, до наших дней.
Бурьян...могила... – и крест на ней.

* * *

Мы – дети центра, дворов-колодцев,
крысиных лестниц, где отдается
малейший шепот – обвальным эхом,
где куст на камне сквозит прорехой.

Ах, нас ни Росси, и не Растрелли,
не удержали – мы жить хотели
сейчас, сегодня – и ордер ждали,
грузили мебель, переезжали.

Что ж на фасаде (ампир? барокко?)
сегодня меньше зажжется окон.
Фургон проедет двором знакомым,
свернет под арку – и нету дома.

* * *

Пусть никто от женщины не берет
ни тепла, ни хлеба, ни даже – любви
Думаешь – свободен, а счет растет,
и тебя когда-нибудь удивит.

Ты и позабыл тот – звонок? визит?
разговор полночный, дрожащий рот.
А она слова твои повторит,
переставит, может быть, переврет.

Вот она рыдает, кругом неправда,
вот и ты стоишь, дурак-дураком...
Вся твоя свобода – слова, слова,
плачущая женщина, остывший дом.

* * *

*Христос, смилуйся над каменщиком
Микаэлом*

Надпись на стене грузинского собора

Над каменщиком смилуйся, Христос.
Храни в пути от ливня и от снега,
дом от пожара, и семью от слез,
и край его – от вражьего набега.

О, смилуйся, и дай его жене
родить ему наследника с которым
однажды утром рано, по весне,
он встанет рядом на лесах собора.

И упокой его в конце пути
на кладбище родимого селенья,
и малому кусту позволь цвести,
его надгробье осеняя тенью.

Но ежели должны и глад, и мор,
и враг – прийти в тот край, Тебе немилый,
пусть будет так – но сохрани собор
и куст над безымянною могилой.

* * *

«Лейб-гвардии Гусарского полка
поручик Лермонтов, переведенный тем же чином
в Тенгинский полк...».
Не дрогнула рука
штабного писаря, ему-то всё едино.

Что ж, черный гербовый орел, по струнке встав,
равненье держит и налево и направо,
и провожает до последней из застав,
как до обычной путевой заставы.

Бьет молоток - не колокол. Доска
к доске ложится ладно и надежно.

«Тенгинского пехотного полка
поручик Лермонтов...»
С бессрочной подорожной...

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЮБОВЬ

У петербургской любви не бывает жилья,
угол какой-нибудь, ситцевые занавески.
Пьяные слезы, чахотка, большая семья,
ну и так далее... Все описал Достоевский.

Так, совершенно измучив себя и его,
требуя правды, но правде не веря при этом,
слезы со смехом мешать, у Пяти пресловутых углов
кликнуть извозчика, мелкую сунуть монету.

И фонари в дождевом ореоле стоят,
вечно забрызганы грязью чулки с башмаками...
«Что ты, извозчик?..» – «Ах, барышня, едем назад.
Что вы там прячете в муфте?.. Наплачешься с вами...»

Бедный извозчик, от ужаса спавший с лица,
самоубийцу везет к монастырской больнице...
У петербургской любви не бывает конца,
только свинца типографского оттиск
на белой странице.

Юрий РОМАНОВ

* * *

Екатерине Романовой

Никому. Ничего.
В тесноте хрустала
Я лица твоего
Не узнаю. Скуля
Под иглой граммофона
Еле слышно мертва
Только губ целованье
Здесь поможет едва.

И бежал бы отсюда
До живой красоты,
Раз ни веры, ни чуда
В отголосках беды.

Но не вырвать молчанье
Из твоей белизны.

Только гроба качанье,
Только звенья вины.

* * *

Взгляд бесприветный,
Стрельба по мишени.
Голос бездетный,
Как мавр на сцене

Душит. И стынет
Прощания вымя,
Сдохшей святыней, –
Волчицею Рима.

Так сквозняками
Останусь ранимый
Гончий словами
«Маркизы» Мисимы.

* * *

«После ночи бессонницы – ночи бессонницы после».
По следам пустоты: черный кофе, жара, сигарета...
Тоже думал, что все это брошу, и все же не бросил
Звать по имени ночь и от грусти промокшее лето.

И размяк от безделья, теперь позабыт, позаброшен.
Спину выгнула лень и, мурлыча, легла на колени.
Ну а что до тебя – ты давно прохлаждаешься в Сочи.
И ласкает песок перед ним обнаженные тени.

ВВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Льву Дановскому

I.

«Пора встречать скрипучую тоску»,
И жест спешит, опережая слово,
Ведь слово так простужено, что снова
Я наливаю в чашку кипятку.

Кладу лимон, большую ложку мёда,
Помешиваю. Что за ерунда
Приходит в голову от жара и озноба.
Глагол вскипел, и мне понятна злоба
Ошпаренного речью языка.

Но хворь осенняя из листьев и простуд
Мне не дает откинуть одеяло,
Одеться, выйти и покинуть ту
Квартиру с той Обводного канала
Стороны.

II.

«День, как тонущий островок»,
И кричи теперь, не кричи —
Это времени кувырок,

Михаил ТЕННИКОВ

* * *

*...И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенья хоровое..*

Николай Рубцов

...О, если б только мог постичь я связи
между людьми из золота и грязи,
то битву предпочел бы, или вечный
покой блаженный в лете быстротечной..?
Ответить на вопрос - превыше сил.
И ждать ответа – как испить отравы;
я жив, (а это значит, что я – жил)
я мертв (а это значит – вечно правый).

...но исповедь тем ценна, что у края
стоит несчастный – ада или рая...

Мой друг, пишу во здравие твое!
За стеклами рассветом ночь поет,
И ничего священной праздной тиши
На свете нет. Мы – струны для игры
Тому, кого не знаем до поры
Рождения и Смерти, что нас выше...

Не спрашиваю, как ты удивлен.
И будь благословен тот почтальон,

Словно сальто, прогнувшись, и —
Акробаткою в листопад,
И зачем теперь к облакам?
Они сами склонились над,
Над читающим по слогам
Не понятное никому
С иероглифами листок,
Зашифрованное «м-уму» —
В речи тонущий островок.

III.

*Как оно протяжно
Себя удвоившее «у».*
Л. Дановский
Удвоить «у»
умножить, возвести.
Ступней слешца податься в кочевые,
где облака собьются кучевые,
Как некая татарская орда.

И слать гонцов за данью...
Серебра,
чтоб клеткою захлопнуться
златою,
и не жалеть ни пуха, ни пера
для ангела.

Кто весточку донес до адресата.
Конверт измятый дорог нам вдвойне.
...Я отвлекаюсь. Лунь стоит в окне.
И небо на востоке полосато...

...Письмом, как средством мост перетянуть,
Я пользуюсь, отчасти, чтобы суть
Всех мыслей, без которых нынче дня нет,
Ты понял опосредованно. Мной
Не движет то, в чем капли нет родной.
Но движет то, что нас соединяет...

...Во сколько по часам конец войне?
И смысл брать слова теперь из вне,
Когда они разбросаны как трупы
Внутри тебя, невинного, какой?
Да никакого. Нынче где покой -
Там смерть одна. А ей перечить глупо.

Во сколько по часам конец войне?
Ты знаешь, я подсчитывал зане
Всех храбрецов ушедших и пришедших,
В объятья заключаемых как в дом,
Разбросанных по пригоршням (потом),
И в точности таких же сумасшедших —

Их крайне много. Прочитав строку
Об этих сырых, отодрать чеку

Среди толпы, клянусь, уже не страшно.
 Страшнее возвращение домой,
 Где потрясая нищею сумой,
 Становишься объектом рукопашной...

Я с плотью говорю, пускай не здесь –
 На глобусе потеряна та весь,
 Где некогда родившись, ты избавил
 От мук постылых мать. Само собой,
 Ее манерой мог бы жить любой.
 А выжил – ты, хоть это против правил.

Ты поборол и паруса, и муть
 Стоячих вод. Ты так хотел вдохнуть
 В них гром событий. Но для дистиллята
 Все вдохи тщетны. Мы ли рождены
 Чтоб лечь на жерла..? Сто минут войны -
 Как сто лет жизни, будь она проклята!

...Привет сестре. А впрочем, я о том,
 что к странствию привыкнув,
 здесь – скотом
 быстрее стану, чем блаженным нищим;
 Она-то ждет любого жениха,
 Да ищет знак, чтоб не было греха.
 Ты знаешь, друг, мы все чего-то ищем...

Я пастыря встречал. Он говорил,
 Что нет войне тождественных мерил.
 Что в самой пуле шлет Господь спасенье.
 Тот пастырь был безногий инвалид...
 Представишь, друг, – душа теперь болит
 Намного реже. Реже чем доселе.

...Шепну еще как дни стянуть в один
 Безмерный день... Количество седин
 Не может рассказать за возраст. Кто бы
 Ни стал смотреть. Седая голова -
 (ты верно восприми мои слова)
 твоей не ровня. Случай с ней особый.

Так почему Создатель завещал
 Нам ценность жизни выше всех начал
 Иных? Не знаю. Может – ты смысленей...
 (...Полоска неба стала в лазурит
 И ветер доверительно хранит
 наброски ночи в ясене и клене...)

Вот мы живем, и собственно постичь
 движение – способны через китч
 На жизнь саму... К омеге от утробы...
 Тогда зачем же тлен хулим опять,

Где разница – скончаться в двадцать пять
 От раны, или старцем – от хворобы..?

Чем ближе солнце к утру – восстаю
 Против себя. И преданность твою
 Бесславной цели молча проклиная...
 Ведь пили б мед, да лузгали урюк,
 Могли бы звезды класть в карманы брюк,
 Но явствует тебе звезда иная...

Друг мой – война совсем уже не та.
 В погоны заглянула нищета,
 Как черви в плод. Страдания неуместны;
 И ты – герой – стяжал один свинец,
 Все время. А у времени конец
 Отсутствует. (И славно, если честно)...

В водоворот бытийный загляни -
 Что видишь – дни и ночи, снова дни..?
 (Теперь и дни как гуси пролетают -
 вздохнул писатель. Умер. (Не солгу,
 сказав, что многим у таких в долгу.
 А сколько им должна одна шестая..?)

Подсчитывать – собьемся. Мне ж милей
 их помянуть, чем язвям лить елей...)
 ...Война не ждет бойцов. Мы опоздаем.
 Кипит работа. Лязгает станок.
 И вражья пыль взлетает из-под ног
 Солдаты порезвятся. Только дай им.

А я в тепле. Гляжу – и крыльев бой
 В окне заметен. Жаль что не с тобой
 Сейчас сижу. Ответствую и внемлю
 Не другу, но безвременью. Нести
 Всяк должен сам свой крест. Еще – прости,
 Что впредь тебя покинул нашу землю...

Но ты – пиши, пиши и не спеши!
 Для тела нет защиты. Для души
 Тем более – как мысли нет порожней.
 Пейзаж снаружи – тот же что внутри
 У вас мирок. Внимательней смотри.
 Внимательней. А значит – осторожней...

Теперь – пора. Прощаться не хочу.
 Когда-нибудь часть ветра ухвачу,
 В которой ты песчинкой будешь взвешен...
 Пропала ночь. Бескрылый херувим -
 Бежит мальчишка. Так неуловим,
 Так искренен, чудак, и так безгрешен.

Ефим БЕРШИН

МОНОЛОГ ОСКОЛКА

Одиноким
 бесформенным нервом,
 воплощённый в бугристый металл,

словно ангел, -
 меж небом и небом –
 сиротливый осколок летал.

1.

На земле меняется индекс цен.
На рубле рисуется мой портрет.
Сиротливый снайпер глядит в прицел,
как сановный пращур глядел в лорнет.

И пока ты стирала со щёк глаза,
и пока я маялся горящим горлом,
под свинцовым ливнем легла лоза,
подавился бюст пионерским горном.

Обреченно влюбляясь в изгиб моста,
словно пуля, пленённая сердцем голубя,
я стремился вниз.
И была пуста
траектория смерти,
как поле голое.

Я три дня и три ночи совсем не спал.
Я летал, пережаренный, как в аду.
Ты прости,
если я в тебя не попал.
Ты прости,
если я ещё попаду.

2.

Отделённый от пустого тела,
как младенец в сморщенной горсти,
в яслях неба,
слепо,
неумело
чёрный ангел надо мной гостит.

Это я, рождённый от металла,
словно рубль от медного гроша.
Это надо мной моя витала
чёрная осколочья душа.

Это я, как на арене цирка,
одинокий, голый, как в раю,
вертикально тощий, словно циркуль,
на горящей площади стою.

Это я среди безумной сечи,
лёгкий, как оголодавший мим.
Улетаю, чтобы пересечься
со свистящим ангелом моим.

Это мне, забившемуся в щели,
не дано понять в сплошном огне –
то ли это я уже у цели,
то ли это он уже во мне.

3.

Мы жили там,
где счастья мрачный поиск,
на нет сводила долгая зима,
где медленно,
как сходит с рельсов поезд,
сходило человечество с ума.

И потому, уйдя на зов заката,
туда, где пляж целуется с рекой,
ты тихо скажешь: я не виновата.
И обернёшься,
и махнёшь рукой
той пустоте,
что мной была когда-то.

4.

Утром с куста опадает вода.
Ночью с креста опадает хламида.
Нам, как прямым по капризу Евклида,
не пересечься уже никогда.

Мы разминулись в пустых небесах,
мы разошлись в Иудейской пустыне.
Ты не узнаешь, как медленно стынет
утренний снег в подмосковных лесах.

Нам, обезумевший от икоты,
освобождённый от праведных пут,
через раскаты, окопы
пьяный чертёжник прокладывал путь.

Страшен покой возбуждённой душе,
как захмелевшим словам – идиома.
Мир – геометрия идиота.
Нам не дано пересечься уже.

Будут прямые дружить на кресте,
будут гвоздями пронизывать руки,
будут, свистя, возвращаться на круги
пули в свирепой своей наготе.

Сном Иоанновым наяву
будет усеивать улицы падаль,
будет звезда Вифлеемская падать
на разорённые ясли в хлеву.

5.

И было:
свалившееся за клеть,
как не остывшая стеклотара,
солнце,
и Днестр,
похожий на плеть,
уже изогнутую для удара,

и отдалённый лягушечий плеск,
и тишина, как зрачок абрикоса,
стрекот цикад
и внезапная плешь
остывающего покоса,

к стихосложению бессмысленный дар,
обречённый,
словно визит к аптекарю,
и выстрел – будто захлопнули портсигар
так,
что потом прикуривать некому.

6.

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прицела,
задачу передоказав.

И снайперы,
сверкнув затвором,
лишь птиц спугнули с чёрных крон.
А я себе казался вором,
укравшим пищу у ворон.

7.

Засвеченная плёнка глаза.
Воронка девственно чиста.
Глухой разрыв, как вспышка газа
под чайником.
И – пустота.
И первый снег,
мгновенно тая,
соприкасается с лицом.
А жизнь – кривая запятая
между началом и концом.

8.

Победа –
это первый тёплый снег,
укрывший поле, где бродили волки,
сквозняк развалин,
гильзы от двухстволки,
пустой башмак
и истеричный смех
у зеркала.
И зеркала осколки,
осколки смеха прячущие в снег.

9.

о, Господи, они тебе нужны?
Зачем тебе такая маета?
Они ещё, случается, нежны,
зато всё лучше бьют от живота,

переступая трепетную грань
за горсть железа и железный стих.
Ну что тебе от неразумных сих,
стреляющих и гибнущих от ран?

Предательство оплачено сполна.
Иуде не осилить эти суммы.
Они разумны, Господи!
Разумны!
И в этом суть.
И в этом их вина.

10.

Разрывы.
Перья.
Облака.
Струя кровавого рассвета.
Давай-ка улетим, пока
над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,
как музыкант большую скрипку,
пронзает ржавую иглу,
вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,
уйдя от мира, как от плена,
заштопать чёрную дыру
и на чулке,
и на вселенной.

11.

Уже однажды пересечена
грань, за которой больше нет запрета,
и страха нет.
Всё выбрано до дна.
И лишь ночами так болит вина,
что всё плывёт.
Одна вина конкретна.

Одна вина конкретна.
И война
конкретна, как конкретны пятна крови
и небом продырявленные кровли.
Сквозь них пока не хлынула вода,

но виден Марс в своей нелепой роли
Рождественской звезды.

Покуда цел
несчастный снайпер и тасует лица,
он взят уже другими на прицел.
Меж снайпером и целью нет границы
в стране, где выстрел – средство, а не цель.
И цели нет.
Она нам только снится,

как точка в застывающем болоте,
как перед смертью – высохший женьшень.
Стрелок освобождается от плоти.
Планета, как осколок на излёте,
нащупывает в вечности мишень.

12.

Начинается снег,
будто заново жизнь начинается,
будто заново женщина
с вечера стелет постель.
Начинается так,
как домашний пирог начиняется
молодыми грибами
к приходу внезапных гостей.

Начинается снег.
Начинается новая вьюга.
Засыпая обломки трагедий
и гвозди голгоф.
Мы ещё влюблены.
Мы ещё не касались друг друга.
Да и гости ещё не касались
твоих пирогов.

Начинается снег.
Между рамами морщится вата.
Заметаются вешки
На дальней кровавой меже.
Ни войны, ни тревоги.
И ты уже не виновата.
Да и я не виновен.
И все не виновны уже.

13.

Паденье – тоже форма бытия.
Когда стрелок летит в провал полёта
бездонного двора на снег белья,
на бабочку фонарного огня,-
не отличить паденья от полёта.

Не отличить полёта от паденья
в пыль облака, в пожухлую траву.
Мы выживем,
как выживают тени,
на время уходящие за стены.
Я падаю.
И значит я живу.

Мы падаем.
И значит мы живём.
Как ласточки, не сеем и не жнём.

* * *

Это не важно, что жизнь прошла,
важно, что ты вернулась.
Это не важно, чтоб ты была,
важно чтоб улыбнулась.

Словно ребёнок с календаря,
ветер листву срывает.
Это не важно, что ждал я зря.
Важно, что так бывает.

* * *

Г.М.

На набережной стриженные липы
качаются воздушными шарами,
сорваться в небо за прожекторами,
ещё немного, и они смогли бы.

И, как с крючка сорвавшаяся рыба,
как в водоём,
уходим в окоём.
Что наша жизнь? –
мгновенье после взрыва.

14.

Расщеплён, как адамова плоть,
как единый язык в Вавилоне,
этот мир.
И как пробковый плот,
я отпущен в свободный полёт
с неушедшего от погони
корабля.

И над водами мчась,
уподобившись снегу и граду,
понимаю, что я в этот час –
часть ковчега,
воздушная часть,
не приставшая к Арарату.

Я смотрю с опустевших небес,
как, цепляясь за землю, за племя,
за огонь перзрелых невест,
за межи,
за отравленный лес,
за ненужное, жалкое время,

за случайность кукушечьих лет,
ослеплённо, как ратник во гневе,
вы бредёте по пояс в золе.
Я – один.
Ваши корни – в земле.
А мои – в небе.

Валерий МАРКАТАНОВ

Полярный город.
Солнце не проснётся,
и даже снег отсвечивает синим.

Банально называть тебя красивой.
Мгновенно сердце болью отзовётся.

* * *

Забыто и солнце,
и небо забыто.
Забьт этот берег,
морями омытый.
Забьты закаты,
скала из гранита.
Забьто, забыто...

Лишь ты не забыта!

Евгений ЛИНОВ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭТЮД

По набережной р. Фонтанки,
 Где никогда не ходят танки,
 (здесь мало места для атаки),
 Где даже ушлые путанки
 Не стерегут доходных мест -
 Я не спешил. И легким снегом,
 Соединявшим Землю с Небом,
 Какой-то благостною негой
 В меня вливался Благовест.
 День был воскресный. И на лицах
 (такое вряд ли повторится)
 Глаза, как пуговики в петлицах,
 Блестели, отражая мир.
 И статуи, и монументы
 (мост без коней скучал фрагментом)
 Лишь подтверждали аргументы,
 Что кто-то свыше над людьми.
 И в этом маленьком наброске
 Не мягкий, но совсем не жесткий
 Плыл диалект Великокоросский,
 И ощущалась чистота.
 И малых форм архитектура,
 И снежных крыш клавиатура
 Была великою натурой
 Для гениального холста.
 Я как-то начал опасаться,
 Что мне в картину не вписаться,
 Но не могла же не касаться
 Меня моя родная речь...
 И ощущение глагола,
 Как тела после бани – голым,
 Как может только здешний говор
 Морозным пламенем обжечь.
 И длился снег. И части речи
 С моей душой искали встречи,
 А в храмах зажигали свечи.
 И Невский в силуэтах нес
 Кириллицы изящной оттиск,
 Миллениума яркий отблеск,
 И был во всем единый отклик
 Случившихся метаморфоз.

МНЕ ВСПОМНИЛОСЬ...

Мне вспомнилась наивная пора,
 Когда мы и не знали ни хера,
 Кем были мы и чья была игра.
 Мне вспомнились мои семнадцать лет...
 По взглядам тем - я был уже отпет

(Не в смысле кем-то) в смысле не аскет.
 Мне вспомнилось, как ты меня в ту ночь,
 Раздела в первый раз, чтобы помочь...
 Я стал мужчиной,
 Нет, хотя не оч...
 Мне вспомнилось, как ты сказала мне,

Чтоб я не очень волновался, не
 Обижался - дело все в вине
 (Не в смысле чьей-то) -
 В литре Каберне
 И пиве, что стояло на окне.
 Мне вспомнилось, как, покраснев лицом,
 Я спорил в заблуждении с отцом –
 Я искренним тогда был наглецом.
 Мне вспомнилось: когда я в первый раз
 Влюбился. И, не отрывая глаз,
 Балдел, как от свистульки папуас.
 Мне вспомнилось, как стал я вспоминать,
 Что где-то есть мои отец и мать,
 И мне бы к ним хотя бы по внимать...
 Мне вспомнилось, что для своих дочур
 Я мог, но сделал мало чересчур,
 И я за это, видимо, плачу.
 Мне вспомнилось, хотя скорее не...,
 Хотя и не в одной уже стране
 Мои друзья. Они живут во мне.
 Я вспомнил, что мне вспомнилось еще...
 Но вход туда всем строго воспрещен.

* * *

Затворничество – это не каприз,
 А усмирение закипевшей плоти,
 Твоих осколков извлечение из
 Эрота, метко сбитого в полете.
 Затворничество - внутренняя речь,
 Звучащая мелодией Мулата,
 Посчитанная стоимостью свеч -
 Совсем не равноценная расплата.
 Писание – дурное ремесло,
 Но время вынуждает торопиться,
 И каждое невинное число
 Становится коварным кровопийцей.
 Затворничество – лучшая пора
 Для Гения и для Рецедивиста,
 Клиническая смерть для Атеиста
 И, может быть, бессмертная игра...

* * *

Как привитый мичуринцем дичок к черенку,
 По утрам просыпаюсь я в кукареку
 Электричек. И легкий озноб января
 Залезает на место твое втихаря,
 Где в последнее время в пустыне льняной
 Рядом нет никого. Никого нет со мной.
 Я тебе благодарен за этот транзит.
 В твоей крови татарин-кочевник сквозит,
 Мне ж еще ненавистней такая черта
 Как оседлость: Пустыня – моя маята.
 Столько звезд затерялось в зыбучем песке,
 И моя – над Пустыней... На волоске...

* * *

Не поющее горло – рубить Петуху,
Крови дать стечь, окунуть в кипяток,..
Сам-то рылом не вышел – в пере и в пуху,
Зато белого мяса – не слабый знаток.
Белый снег, словно герыч поздрями втянуть,
Обалдеть от февральского солнца, и - вновь
По безмолвному полю пером - полоснуть,
Выпуская словарную свежую кровь.
И бежать от соблазна смиренья... Но пес
На цепи стерегущий окружность – свиреп,
И достигнет врасплох, как внезапный вопрос,
Но ответ на него уже будет нелеп...

ОСЕНЬ. ЦВЕЛОДУБОВО.

Языческая казнь – ли-
шение языка в природе – листопад.
Осенний инквизит –
Унылая пора – Итог очарованья.
Бездарная игра Молча-
нья и Пера. И в желчности лампад
Разбавлен горький яд
частичек твоего существованья.
В тот високосный год –
для високосных чувств – хватило февраля.
Поверхность льна еще зараже-
на синдромом плащаницы.
Неизлечима кровь, замешан-
ная на инфекции враля...
Неизлечима. Не угомонится.

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Ирина КАЗАНСКАЯ

ПЕРВАЯ БЛОКАДНАЯ ЗИМА

Моя мама работала в поликлинике диспетчером «неотложной помощи», сутки через трое. А я весной 1941 года закончила второй класс, и мама перед работой отвозила меня на сутки к своим сестрам – то в Ольгино, то на Пискаревку.

Так было и 21 июня 1941 года. День стоял солнечный, ясный, и радостно было на душе. Мы с подружкой договорились утром в воскресенье бежать в соседний лесочек за грибами. Правда, в ночь с 21 на 22 июня я слышала за окном грохот, но ничего не поняла. Ведь мне было всего десять лет. Может быть, это гром гремел? Да и тётя Клавдя ничего не объяснила.

У подружки дома все были очень встревожены и сказали мне, чтобы я шла домой. Это было как-то странно и необычно. Я побрела домой. На перекрёстке стояли люди и слушали радио. Из чёрного репродуктора доносился суровый мужской голос, и все молча слушали: **ВОЙНА...**

Надо сказать, что я почему-то всегда боялась этого слова. Когда по радио пели песню «Если завтра война, если завтра в поход...», я плакала и просила выключить радио. «Я не хочу, «если завтра война!»»

Вот и случилось **ЭТО**.

Дома мой двоюродный брат Михаил, который был старше меня лет на двадцать, уже собирал вещи, т.к. надо было идти в военкомат. Приехала мама и забрала меня в город. А тётю Клавдю я видела в последний раз 22 июня. Зимой она умерла в своём доме в Оль-

гино, лежала там долго не похороненная.

Очень скоро стали бомбить и обстреливать город. Над ним черными тучами летали фашистские самолеты. Их было так много, что становилось темно, как в сумерки.

Бухали зенитки. По улицам носили «колбасы» – аэростаты, которые потом висели над Ленинградом.

В начале сентября мы с мамой ходили в баню на ул. Чайковского, и там из окна на лестнице я видела чёрный столб дыма, который уходил высоко в небо и там расплывался. Горели Бадаевские склады. Тогда говорили, что там был запас продуктов на три года. Сгорело всё. Сейчас пишут и говорят, что это неправда, что там продуктов почти не было и т.д. Но почему же тогда столб дыма так высоко стоял над городом, что его было видно на другом его конце? И потом мы всю зиму покупали сладкую землю и ели её?..

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.

Жители стали готовиться к защите и обороне города. Папе предлагали эвакуироваться, но он отказался. Они с мамой решили, что ни в коем случае не уедут оттуда, где родились они сами и где жили их предки. «Где уродился, там и пригодился», – так часто говорила моя мама.

Пространство под крышей до войны было разделено на отдельные чердачные помещения для каждой квартиры, так же, как и подвалы. Теперь все перегородки сломали, и ста-

ло единое пространство. А в подвалах сделали бомбоубежище.

Все жильцы дома выстраивались вдоль лестницы снизу вверх и передавали ведра с песком на чердак. Насыпали его в большие лари и просто ссыпали в кучи. Заполняли бочки с водой. Когда немцы бросали очень много зажигательных бомб, взрослые и дети вылезали на крышу через слуховое окно по очереди и большими щипцами подхватывали горящие с треском и крутившиеся на месте зажигательные бомбы, и кидали их в бочки с водой на чердаке или с крыши вниз, во двор. Так спасали свои дома от огня. Страшно не было. Надо было очень ловко поймать щипцами этот вертящийся «бенгальский огонь».

Когда фугаска попала в соседний флигель, трянуло так, что мы с папой летели через две комнаты до противоположной стены. Хорошо ещё, что на пути ничего не было, и мы спиной припечатались к стенке.

В конце октября – начале ноября я заболела корью. Температура была около сорока градусов. Во время воздушной тревоги папа заворачивал меня в одеяло и нёс на руках с четвёртого этажа в бомбоубежище, а после отбоя тревоги нёс назад, домой.

Второго ноября у мамы в магазине украли все продовольственные карточки. У нас осталась только столярный клей и клей для обоев пополам с крысиным помётом. Мы собирались делать ремонт, и поэтому перед войной папа купил клей, обои и дубовую фанеру. Папа хотел, чтобы наш сосед дядя Федя сделал нам кое-что из мебели. Он был столяр. Зимой 1942 года дядя Федя умер, жена его тоже. А Лёшку, их сына и моего друга, забрали в детский дом. Он выжил.

Вот стройматериалы и пригодились нам во время войны. Поставили печку-буржуйку, трубу вывели в топку печки-голландки.

Пока папа мог, он ездил на поля, где летом росла капуста. Собирал «хряпу» – капустные листья и кочерыжки. Всё это мы и ели.

А с 20 ноября установили норму хлеба иждивенцам и детям 125 граммов.

Уже стояли морозы, света и газа не было. Не работали водопровод и канализация. Спасала буржуйка, которую топили иногда мебелью и книгами, а иногда и фанеру ломали. Дубовую фанеровку использовали как лучину. Дрова у нас украли. Кто-то был сильнее нас и унёс наши брёвнышки к себе. Всем было холодно.

Сейчас, когда я рассказываю об этом, меня часто спрашивают – как же вы выжили?

Не знаю...

Зимой, когда не стало воды и перестала работать канализация, мы ходили за водой на Фонтанку, иногда я одна с маленьким бидончиком, а иногда и вместе с мамой. Она брала бидончик побольше и чайник.

Естественные нужды справляли дома на газету, а потом кидали за окно. Весной оставшиеся в живых жильцы чистили двор от нечистот.

В школе мы не учились, но на зимних каникулах в школе организовали утренник. Выступали цирковые артисты. Они тоже голлодали, и выступление было не интересное. У каждого из нас в руке был талон на подарок. Все мы ждали окончания концерта, чтобы побежать бегом в столовую. Я была самая маленькая в классе, но шустрая, и поэтому оказалась одной из первых около раздаточного окна.

Это был один из самых счастливых дней той зимы – мне дали две ложки горячей гречневой каши! То-то радости было!

Даже то, что в это время у меня украли мамину каракулевую муфту, не огорчило меня. Каша – это было главное!

А перед самым Новым 1942 годом пришла тётя Дина, сестра мамы, и принесла кусок конины. Лошадь не то подохла, не то снарядом её убило. А тётю Дину тогда я видела в последний раз. Зимой она умерла. Даже не знаю, где и как.

Надо сказать, что моя мама была самым младшим, одиннадцатым, ребёнком в семье. Бабушке было 48 лет, когда родила её. Вот почему все мои двоюродные сестры и братья были значительно старше меня и дружили скорее с мамой и папой. А я дружила с их детьми.

Неподалёку от нас, на ул. Марата, жила моя двоюродная сестра Зоя. Её дочери Мариночке было в ту зиму 6 лет. Однажды ночью муж Зои – Коля – спросил её: «А из чего делают студень, Зоинька?» Она стала объяснять и вдруг заметила, что Коля пристально смотрит на спящую Мариночку. Зоя вскочила, схватила ребёнка и убежала к соседям. Утром, когда вернулась, увидела, что Коля умер...

Весной, когда людям стали снова предлагать покинуть город, Зоя с Мариночкой эвакуировались в Семипалатинск, где им негде было жить, не было работы. Зоя с ребёнком бродила от деревни к деревне, меняла одежду, которую удалось взять с собой, на еду. Потом Мариночка заболела дизентерией, и её положили в больницу. Зоя очень переживала и плакала, а Мариночка сказала ей: «Не плачь, мамочка, я умру – тебе станет легче».

Но легче не стало. Похоронить ребёнка ей было не в чем и не на что. Зоя осталась там, в деревне, недалеко от могилы дочери, где и жила долгое время, до своей естественной смерти.

В конце декабря – начале января папа в последний раз ходил на завод, где получил карточки; хлеба немного прибавили, но ведь, кроме хлеба, ничего другого не было. И клей

уже съели весь. Была холодная суровая зима с очень сильными морозами.

Папа уже в начале января не мог вставать с постели. Родственники, кто чем мог, помогали: кто – ложку крупы, кто чашку горячего суррогатного кофе, а тётя Лиза дала небольшую баночку свиного нутряного сала. Всё это отдавали папе. Но было поздно. Мама усиленно хлопотала о том, чтобы устроить папу в больницу – стационар для голодающих. 18 января она получила направление. А утром 19 января 1942 года я, как всегда, подошла к папе, чтобы поздороваться, и отшатнулась. «Что ты, Ирочка? Что случилось?»

У папы были другие глаза. И мне стало очень страшно. Тем не менее, мы одели папу в зимнее пальто, шапку. Сейчас уже не помню, как мы спустились с папой с четвёртого этажа вниз, как связали вместе двое маленьких саночек, как положили на них закутанного в одеяло папу...

Мы везли его на саночках от пер. Ильича (Большого Казачьего) по Фонтанке, потом через Чернышев мост, по ул. Зодчего Росси. Справа был Александрийский театр и Екатерининский садик, а слева – библиотека им. Салтыкова-Щедрина. Когда мы подъехали ближе к Невскому проспекту, я увидела группу людей из двух – трёх человек с кинокамерой на штативе. Они снимали на плёнку всё происходящее вокруг. Сейчас я думаю, что это была документальная съёмка. День был ясный, морозный.

В середине пятидесятых я смотрела фильм «Великая Отечественная» в кинотеатре «Аврора». В нём были кадры из жизни блокадного Ленинграда, как люди падали на улице, как ходили за водой на реку и многое другое, я шептала: «Да, так и было...» И вдруг – кадр: женщина с ребёнком везут человека, завернутого в одеяло на маленьких детских саночках, связанных вместе. Со мной сделалась истерика, я закричала, что это я и мама везём папу. И хотя я позже неоднократно видела этот фильм и этот кадр, но ни разу не смогла рассмотреть поподробнее – это были мы с мамой или нет?.. Ведь я помню, как были одеты я и мама в тот день, 19 января 1942 года, когда мы везли папу в госпиталь. Может быть, это были действительно мы? Кто знает...

Папу положили в стационар, который находился в доме рядом с Пассажем, на углу Садовой и Невского, на втором этаже. Окна выходили на Невский проспект. Папа лежал у второго окна от угла. Лечили его там, в основном, питанием и витаминами. Давали немного красного вина. Но если некоторых это спасало, то для папы это лечение было, как «цветы запоздалые». Уже что-то необратимое случилось в его организме.

Утром 25 января мама, стоя на стуле, пы-

талась сломать лист фанеры, чтобы протопить буржуйку и вскипятить воду, но упала и больно ушиблась. Поэтому она попросила меня одну сходить к папе, ведь мы каждый день навещали его.

Когда я вошла в палату, папа лежал на своей кровати на спине и хрипло дышал. Мне показалось, что он дышит с трудом. Делая большие паузы после каждого слова (надо было отдышаться), папа спросил меня, почему не пришла мама. Я ему всё рассказала. Он попросил передать маме привет. Потом принесли ужин. Папа сказал, чтоб я съела его. Но я, несмотря на голод, стала отказываться, папа настаивал. В конце концов я сказала, что съем половину порции, вторую половину и вино – папе, а кусочек хлеба отнесу маме.

Было уже без четверти шесть вечера, за окном была кромешная тьма. Пока я сидела около папы, несколько раз подходила медсестра, делала уколы, подавала судно – у папы был понос. Я не понимала, что папа умирает, что это последние минуты его жизни. Я поцеловала папу, сказав, что завтра мы придём вместе с мамой, а сейчас уже очень темно, надо идти домой. Мы попрощались, папа попросил поцеловать маму. Глаза его были полуприкрыты, он очень хрипел...

Когда я дошла до последнего фонарного столба возле Публичной библиотеки, меня пронзила резкая боль в левой стороне груди. Я села под этим столбом на снег. Сверху тоже сыпался снег, и было уже всё равно, что темно и холодно.... Через несколько минут я подумала, что надо идти, а то утром в сутробе найдут меня, замёрзшую, и сварят из меня студень. Да! Надо встать и идти. Это была истинная правда. Тогда ходили слухи о том, что в городе началось людоедство.

Я шла по середине улицы Зодчего Росси. Снег перестал падать, и сквозь просветы туч иногда выглядывала луна, освещая мой путь. Мне было не страшно идти. Транспорта не было, и вообще никого не было вокруг. Я была одна, совсем одна в каменном городе, окружённая большими чёрными домами. Света нигде не было. Его не было вообще... Я шла по набережной Фонтанки, через деревянный мост возле Большого драматического театра, а дальше по Гороховой (ул. Дзержинского), и вот, наконец, и мой дом, в Большом Казачьем переулке, второй от угла.

Страшно было только подниматься по лестнице, поскольку месяца за два до этого я прочитала «Вий» Гоголя. Книга была издана до революции с буквами, которых в алфавите 1942 года уже не было. Этой книгой в своё время наградили папу за успешную учёбу в реальном училище.

Я боялась Вия... Луна пробивалась сквозь тучи, и блики её были видны через окно, создавая иллюзию движения.

Тем не менее я дошла до четвёртого этажа, нащупала ручку звонка, который мы называли «дергач», и позвонила. Дергач – это система проволок, уголков и других приспособлений, заканчивающихся в квартире металлической планкой, на конце которой висел медный колокольчик. Вот он-то и звенел, когда с лестницы дёргали за ручку – пуговицу.

Открылась дверь. В тёмном, даже чёрном проёме, я услышала голос мамы: «Ирочка, что так поздно? Что с папой?» Я молча шагнула в квартиру и в крошечной тьме прижалась к маме...

Утром следующего дня мы пошли к папе. Шли тем же путём, что и всегда ходили. Молчали.

Когда мы вошли в палату, то я увидела на папиной койке, спиной к нам, совершенно чужого человека. Мама спросила: «А где Сергей Иванович?» С соседней койки человек ответил: «Он умер вчера, как только дочка ушла, ровно в шесть часов».

Я хорошо помню, что я ушла без четверти шесть. В палате висели часы.

Когда мама оформляла документы, её спросили: «Хоронить сами будете или мы похороним?» Мама сказала, что мы хоронить не в состоянии, пусть похоронит больница. И мы ушли. Так я и не знаю, где похоронили папу. Предполагаю, что на Пискаревском кладбище. Говорят, в это время хоронили в шестую братскую могилу справа всех умерших в январе 1942 года ленинградцев.

Я не плакала. Слёз не было. Мною владело какое-то оцепенение, отсутствие эмоций...

В бомбоубежище мы давно не ходили. Когда были обстрелы и бомбёжки, забирались в кровать, было тепло и не страшно. Я оставалась одна, когда мама уходила на работу, а иногда она брала меня с собой.

В течение той зимы 41-42 года я, закутанная во всё, что можно, садилась к окну, отогревала на груди чернильницу «непроливайку» и писала крупными буквами стихи. В тетрадку я так же пыталась переводить картинки, но они от холода ломались.

И были в конце января три дня, когда совсем не давали хлеба. Мы с мамой лежали на кровати под всеми одеялами, как в берлоге. Иногда мама ходила в магазин, и вот, наконец, на третий день дали хлеб. Мы с мамой, лёжа под одеялом, ели его. Нам было тепло и хорошо. И это был праздник.

Позже маме удалось обменять патефон и 30 пластинок с записями романсов в исполнении Козина, Петра Лещенко, Утёсова на 600 граммов хлеба. Продавали папину одежду, его зимнее касторовое пальто с бобровым воротником и на ватине из верблюжьей шерсти и другие вещи. Находились люди, которые меняли хлеб на водку, которую давали по карточкам. Потом маме удалось устроить ме-

ня в детский сад на Пушкинской ул., т.к. её поликлинику, на ул. Маяковского, дом 12, перевели на казарменное положение. Я приходила к маме ночевать. Однажды я увидела там, на ул. Маяковского, недалеко от поликлиники, дом, у которого фасад осел во время обстрела, и стали видны комнаты, пол у которых, как на декорации, был слегка наклонён в сторону улицы. На стенах висели картины, а у противоположной стены стояли две кровати. Говорили, что там спали люди, их оглушило взрывом.

В феврале мама заболела дизентерией, и её увезли в больницу. Мне она успела сказать, чтобы я шла в детский сад. Я пошла домой, взяла свою продовольственную карточку, одеяло и подушку и пошла в детский сад, где сказала, что маму увезли в больницу и мне негде жить. Вечерами все уходили, а я ложилась спать на стол, укрывалась своим одеялом. Утром рано приходили повара и будили меня. Через несколько дней я тоже заболела дизентерией. Меня положили в изолятор. Приходили три раза в день, давали бактериофаг и немного поесть и попить. Целыми днями и ночами я была одна, пока мама не выздоровела и не забрала меня.

Потом мама узнала, что в банях на ул. Марата, ближе к Невскому, есть горячая вода., и мы пошли мыться. Там работал всего один класс, и мужчины и женщины мылись все вместе. Одни слева, другие справа. Все приходили, замотанные в разные косынки, пледы и т.д., раздевались и расходились по разным сторонам. Мыло было не у всех. Главное, что вода была горячая. И люди грелись, ни на кого не глядя.

Странная вещь – память. Я сразу же забыла об этой бане, а потом лет пятнадцать она мне снилась во всех подробностях. Когда я рассказала этот сон маме, то она мне сказала, что всё это было на самом деле.

По карточкам уже начали давать хлеба побольше и даже ещё кое-что из продуктов. Однажды мама послала меня за хлебом в соседнюю булочную в пер. Ильича. Продавщица начала взвешивать хлеб на чашечных весах. Положила гирьки, а я подсчитала их и сказала ей, что хлеба меньше, чем положено по талонам. Она стала добавлять маленькие гирьки по 5-10 граммов и кусочки хлеба, пока не взвесила точно. В стороне стоял парень и наблюдал. Я взяла в руки эту пирамиду из куска хлеба с довесками и довесочками и, прижимая её к груди, пошла домой. Парень пошёл за мной. Я побежала, он тоже. Влетев во двор, я обежала замёрзшую лужу, а он поскользнулся и упал. Это дало мне время подняться по лестнице и скрыться дома. Потом из окна я видела, как тяжело он вставал и всё время опять поскользывался и падал.

Хлеба давали немного больше, но это был

не чистый хлеб. В тесто добавляли бумагу (целлюлозу), и он был беловато-серого цвета.

С января продукты перевозили через Ладожское озеро, по льду.

Хорошо помню свой день рождения, 29 марта. Мне исполнилось одиннадцать лет! И вдруг по радио объявили, что на детскую карточку выдадут по 50г осетрины холодного копчения и одну банку сгущенного молока. То-то был праздник! Мы с мамой пировали в этот день. Позже я узнала, что в этот день удалось прорваться в город большому обозу с продовольствием.

Когда сошёл снег, оставшиеся в живых ленинградцы вышли на улицы, чтобы вычистить город от грязи и нечистот.

В скверах появилась первая трава. По радио объяснили, какую траву можно есть. Рассказывали, какой вкусный салат из листьев одуванчика, как готовить лепёшки из лебеды. Я рвала в сквере возле школы мокрицу. А од-

нажды моя одноклассница выменяла у меня мою куклу с фарфоровой головой и голубыми глазами на две картофелины. У девочки мама работала в столовой.

Дома я сломала игрушечный платяной шкафчик и сварила на буржуйке суп из картошки с мокрицей, как раз к приходу мамы.

Мама работала медсестрой, и денег у нас было очень мало, и не всегда их хватало на то, чтобы выкупить хлеб по карточкам. Поэтому, когда стало тепло, я выходила на парадное крылечко нашего дома и раскладывала свои детские книжки, чтобы собрать несколько копеек на хлеб.

Некоторые женщины, жалея меня, покупали мои любимые книжки, а я отдавала эти деньги маме.

Так прошла первая блокадная зима. Мы выжили, но и потом было много тяжёлого в жизни, мы долго ещё жили впроголодь, но это уже другая история.

ПРИРОДА И МЫ

Игорь ДЯДЧЕНКО

АРМЕЙСКИЙ НАВЫК

*«Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская»
/песня «Я люблю тебя, жизнь»/*

День начался крайне неудачно. Не успели мы с Валеркой – моим частым сопутником в охотничьих походах – проплыть в нашей маленькой резиновой лодке и сотни метров вглубь соленого озера Большие Турали, как случилось большое несчастье.

Сидя враскоряку на корме надувного корабля, я никак не мог уgomонится – все перемещал и перекалывал то свой рюкзак, то приятеля, то одну свою ногу, то другую...

Валерка, сидевший на носу, сразу схватился за весла и принялся "поддавать жару". Лодка, его и моими стараниями, все раскачивалась на воде и так двинулась, наконец, от берега.

Не успел я как следует обустроиться на корме, как один неловкий взмах руки – попытка удерживать равновесие в вихляющей во все стороны лодчонке – повлек за собой странный всплеск справа.

Скосив глаза на звук, я увидел лишь расходящиеся круги на мутно-желтой от глины ряби, и сразу душу мою резанул истощный крик Валерки:

– Ружьё!! Упало!!

Вскочив на ноги, он бросил вёсла и показал рукой в воду позади меня:

– Твоё!!! Твоё ружьё!!

От его крика я почувствовал шевеление волос под кепкой. Настоящие охотники легко поймут мое чуткое состояние. Остальным я попробую объяснить.

Когда человек покупает ружьё – неважно, первое или десятое в своей жизни – он перед покупкой должен преодолеть немало препятствий. К сожалению, родственники, соседи и знакомые, за редким исключением, отрицательно относятся к такому поступку. Всегда найдутся люди, готовые под любым предлогом тонко и глубокомысленно посмеяться над сделавшим дорогое, в общем-то, приобретение.

Дескать, и природу родную не бережет, животных не жалеет – совсем несознательный человек. Если же, не дай бог, какое-нибудь, самое малосенькое ЧП на охоте произойдет – вообще заклюют со всех трибун. Вот, мол, мы говорили и заранее предупреждали и проч. У нас ведь все всё заранее знают!

Однако это ещё полбеда. Со временем ты

привыкаешь к своему любимому ружьишку – без него и свет не мил. И с потерей такого сокровища настоящий горячий охотник вполне может впасть в депрессию. Мне известны такие случаи.

Кто-нибудь скажет, подумаешь, горе – ружье потерял! Купи другое – зачем себя изводить?

Однако не все так просто. Дело в том, что человеку, утратившему оружие, числящееся за ним, как за солдатом автомат, разрешение на приобретение другого ствола взамен утерянного получить будет очень непросто. Годы могут потребоваться для этого. А ведь это охотничьи годы! Конечно, и разрешительную систему понять можно – они-то уж, конечно, не заинтересованы в том, чтобы утерянные стволы оказывались в неизвестно каких руках, оружие – не картошка! Но, как говорят в Одессе: «Мине от этого не лекше!»

Одним словом, ёжику понятно, что охотник, потерявший ружье, сразу становится самым несчастным человеком на свете...

Оторопев, я во все глаза уставился на стоявшего передо мной Валерку и никак не мог понять, зачем он сует мне в руки свой охотничий билет. Машинально взяв документ, я заметил, как на кучу наших пожитков в середине лодки вдруг шлепнулся его патронташ.

В следующую секунду мой друг, как был, в сапогах и фуфайке, прыгнул за борт! Перевалившись через рюкзаки, я схватился за вёсла... Вскоре Валеркина голова появилась среди волн. Раскрытые губы судорожно глотнули воздух, и он снова исчез. Только кепка, большой черный «аэродром» одиноко переползала с одной волночки на другую.

Я боялся, что довольно сильный ветер отнес лодку от того места, где утонула моя двустволка. И хотя старался грести так, чтобы лодку не слишком сносило, усердствовать тоже опасался – а вдруг, не дай бог, мой друг вынырнет под весло?

Правда, больше всего меня смутило то, что он прыгнул за борт одетым. Конечно, Валерка не мог утонуть – те, кто вырос на море, не будут тонуть в каком-то озере!

Однако он мог простудиться, вдруг оказавшись в холодной воде. Да и потом... Вообще... Чего-то его так долго нет?

– Эй, Валерка!

Бросив весла, я лихорадочно стал раздеваться во взбрыкивающей от каждого движения посудине...

– Эй, Валерка!!

Его голова вновь появилась метрах в семи от лодки. Отфыркиваясь, он оглянулся по сторонам и боком подплыл к лодке. Отдыхаясь, положил руку на круглый мягкий борт и, глядя на мои приготовления к плаванию, усмехнулся:

– Всё в порядке, Гошан. – Он всегда звал

меня так на охоте. – Держи свое счастье!

Другая его рука показалась из воды. Пальцы намертво вцепились в перекрученный ружейный ремень.

Перебросив двустволку в лодку, он попытался влезть туда сам, но ничего не получалось – маленькая наша посудина сразу начала крениться, прогибаться под Валеркиным телом. Попробовав и так и эдак, он, наконец, махнул рукой:

– Придётся тебе, Гошан, буксировать меня до берега... А то еще опрокинется – опять за ружьями нырять...

Посиневшие от холода пальцы друга вцепились в протянутый по верху лодки тонкий резиновый жгут. Повторять не требовалось...

Когда мы причалили к берегу, я был таким же мокрым, как и Валерка. Только мне было очень жарко, а ему, похоже, наоборот. Выбравшись на сухое, я, было, стал помогать окоченевшему другу разоблачаться, но он остановил меня:

– Я сам, Гошан... Не беспокойся. Ты лучше костром займись – вымерзаю, как мамонт.

К счастью, недалеко от того места, где мы причалили, на берегу валялись несколько больших досок – остатки старой лодки. День был не слишком холодный, но ветреный. Вскоре наш костер запылал.

Раздевшийся донага, Валерка разлегся на моей фуфайке вблизи от огня, пододвигая ближе к пламени то одну, то другую конечность.

Мокрая одежда его сушилась тут же, на воткнутых в землю прутьях, а фуфайка, растеленная у самого огня, исходила паром, словно маленький вулканчик.

Мои опасения насчет простуды потихоньку исчезали. Согревшийся обнаженный Валерка напился горячего чаю и, выслушав мои многократные изъявления благодарности, улыбнулся широко и пустился в воспоминания. Значит, не простыл, жить будет!

– Брось, Гошан, – с достоинством ухмылялся мой друг. – Подумаешь, делов-то – за двустволкой в озеро нырнуть, у меня на срочной случай покруче был. Уж сколько лет с тех пор прошло, а вспомню – в дрожь бросает в любую погоду. А все из-за этого балбеса-молодого...

Войдя в самый смак чаепития, что тоже является немаловажным удовольствием на охоте, я поддержал:

– Расскажи, Валер. Под такой чай любой рассказ – подарок.

– Правильно, Гошан. Плесни мне ещё в чашечку, будь другом. – Валерка поудобнее разлегся на фуфайке. – Так вот. Служил я срочную, на Украине. И как-то на учениях – полк наш показательный был, во всех тогдашних учениях участвовал – веду я, командир отделения, своих солдат через болото. А у

меня в то время в отделении было двое «дедов» – старослужащих, а остальные – молодежь, только что призваны. Трудно, конечно, с ними мне было вообще, а уж на учениях этих для большинства из них – первых, я вообще с ног сбился: то хэбэ у костра прожгут, то ноги натрут, то еще чего...

Место сложное, кое-где глубоко. Идем цепью, след в след. Я впереди, за мною – один «дед» – фамилия его была, кажется, Нагаенко, дальше – один за другим – «молодые» с палками в руках, автоматы за спинами болтаются, а замыкает цепь другой «дед» из моего отделения – позабыл его фамилию.

Идем, значит, друг за дружкой. Вода всю дорогу по колено, холодная, как обычно на болоте, хоть и лето. Иду я спокойно, медленно, чтоб молодежь не утомлять, и вдруг – хлоп! – за спиной всплеск шумный такой. Оглядываюсь – вижу – выныривает из воды один из наших солдатиков – четвертым он шел, отплёвывается. Все ему, конечно, руки тянут, помогают выбраться. Вылезает он на кочку, дрожит, отдувается. И вдруг до меня доходит, что он без автомата! Утопил, балбес, свою пушку и не чешется!

Собрались мы все вместе возле той ямы. Что делать? Обратного его туда гнать – так он дрожит от холода и чуть не плачет, вояка!

Остальные бойцы, гляжу, погрузтели, ёжатся, переглядываются – боятся, что всем теперь нырять придётся.

А в армии, знаешь как? – бывают ситуации, когда командир должен подчиненным пример подавать. Вот и почувствовал я, что именно такая ситуация возникла.

Отдал я Нагаенке свой Калаш, планшет, разделся и бульк в эту грязь. Руками шарил-шарил – нет автомата. Вынырнул, дыхание перевести. Гляжу – оба моих «деда» уже разоблачились, хэбэ свои на кустах развесили, только и ждут, чтобы меня сменить. Вот что значит личный пример!

Нет, думаю, я под свой авторитет командира подкапываться не дам – и бултых снова в грязь!

Только в четвёртое погружение нащупал я чертов Калаш. Вытащил его – весь грязью облеплен.

И тут Нагаенко отмочил номерок, ещё почище моего – ногой взвел затвор этого грязнущего Калаша – рукой не взвести было – скользкий, заедало – да как бабахнет в небо из этого куска грязи!

Понимаешь, я ведь испугался, думал, разорвет там или не выстрелит – в грязи все! Ничего подобного! Калаш даже чище стал – грязь после очереди так и полетела с него. Вот это машина, скажу я тебе! Небось, из твоей двустволки, Гошан ни в жизнь такой номер не отмочить, особенно теми патронами, что намокли, а?

Почувствовал я, как ретивое внутри взыграло. Схватил свой многострадальный «Спутник», вынул патроны. Стволы на всякий случай носком запасным чуть протер и те же патроны обратно в стволы. Встали мы, подошли к воде:

– Смотри, Валер, этот дуплет будем считать салютом твоему мужеству – ты уже двух людей от больших неприятностей спас. Спасибо тебе и от меня, и от того солдатика.

Двустволка птицей взлетела к плечу, и два выстрела прогремели над озером.

Когда смолкло эхо, полуголый Валерка повернул ко мне улыбающееся лицо:

– Прямо как тот Калаш. Да ведь и твой «Спутник» на том же заводе делали – машина что надо. Там марку держат, в Ижевске этом.

Он помолчал, подумал:

– Знаешь, Гошан, пусть лучше этот дуплет будет салютом нашей охотничьей дружбе.

Я не стал возражать...

ФОЛЬКЛОР, ФАНТАСТИКА, ЛЕГКИЙ ЖАНР

Вера МИРОПОЛЬСКАЯ

ПТИЧЬИ ЗАКОНЫ

(Старая притча)

Жила-была на одном озере Гусыня. Долго жила. Состарилась, расхворалась, совсем опустила крылья. Тут и явилась к ней Смерть:

– Собирайся, Гусыня, пора! Зажилась ты на этом свете!

Пригорюнилась Гусыня, да делать нечего. Вспомнила она, что перед смертью надо петь лебединую песню и говорит:

– Погоди, Смерть! Надо мне сначала найти старого Лебеда, чтобы научил он меня петь лебединую песню.

– Хорошо! – отвечает Смерть. – Только к Лебедю пойдем вместе.

Отправилась Гусыня в путь. Летать не может, едва лапками по воде гребет. Смерть следом по озеру пятками шлепает, подол ветхий мочит.

Разыскала Гусыня старого-престарого Лебеда, просит:

– Научи меня петь лебединую песню, за мной Смерть пришла!

– Что ты, Гусынюшка! – отвечает Лебедь. – Лебединую песню поют, умирая, только лебеди. Гуси, по птичьим законам, перед смертью выступают дуэтом.

– А что это такое, дуэт? – спрашивает Гусыня.

Лебедь ей говорит:

– Разыщи умирающего Гуса, он тебе сам все объяснит.

Поплыла Гусыня дальше. Смерть следом. Ворчит:

– Ох, уж эти птичьи законы! Все кости мои хрустят, ревматизм от озерной сырости замучил.

Ворчит Смерть, жалуется, но от Гусыни не отстает.

Разыскала Гусыня самого старого Гуса. Говорит:

– За мной Смерть явилась. Хотела я у старого Лебеда вызнать лебединую песню, но он послал к тебе, чтоб объяснил ты мне, как петь перед смертью дуэтом.

Выслушал старый Гусь Гусыню, обрадовался, что в одиночестве помирать не придется, и загоготал. Да так весело загоготал, так громко, что Гусыня не удержалась и загоготала тоже.

Посмотрела из-за раKITного куста Смерть на гусей, испугалась их шума – веселья и убежала.

А Гусь с Гусыней остались гоготать вместе и с тех пор о смерти забыли.

Вот таковы птичьи – то законы!

Иным людям не мешает их знать и применять себе в пользу.

Григорий АРТЮХОВ

РАССКАЗЫ

БУДЬ СЧАСТЛИВ, ВАЛЕРИЙ

Право выйти на пенсию в пятьдесят лет Валерий Борохов заслужил в Чернобыле. Помните апрель 1986 года!.. По его собственной оценке, он чувствовал себя неплохо – повезло человеку, береги его Господь! – тем не менее решил этим правом воспользоваться и с завода ушел. Тридцать лет наладчиком в одном цехе безотлучно – надоело. А поскольку на одну лишь пенсию теперь прожить невероятно трудно, стал он подыскивать работу полегче; и долго искать не пришлось. Рядом с его домом организовывалась автостоянка, и Валерий через одного из своих товарищей по чернобыльскому несчастью устроился на ней сторожем-охранником. Здесь, на небольшой, в общем-то, территории, опоясанной сеткой-рабицей, и стали происходить загадочные события, носившие фантазмагорический характер.

Все началось глубокой осенью...

Как-то Валере наскучило сидеть в сторожке, и он, отложив в сторону журнал «Вокруг Света», вышел подышать свежим воздухом, размяться. В половине девятого вечером в конце октября совсем темно. Дежурство складывалось спокойно – большинство авто-владельцев, с утра уехавших по своим делам, успели вернуться. Согласно учету, в дебрях мегаполиса, распутившего павлиний зазыв-

ный хвост реклам, все еще блукали два легкомысленных «жигуленка» и немолодая, но импозантная «Тойота». Накинув на голову капюшон – встреча с ветром была неприятной – Ворохов неторопливо вышагивал между рядами автомобилей, как вдруг услышал голоса: один – мужской, другой, несомненно, принадлежал даме. Похоже, они разговаривали, но как-то странно – просто абракадабра какая-то. Смолкли они так же неожиданно, как и возникли. Последнее, услышанное им слово, было похоже на восклицание: не то «Ух, ты», не то «Ах, ты!» Валера лениво огляделся по сторонам и увидел вереницу людей, шедших с троллейбусной остановки. К домам их вела горбатая, скользкая от прошедшего накануне дождя тропинка, пролежавшая рядом с оградой стоянки с западной ее стороны. Подумав про себя – Так вот кто сказал «Мяу», – он добрал до северной части забора и, развернувшись, отправился в обратный путь – дочитывать журнал. Добраться до теплой будки ему помог ветер, услужливо подталкивавший в спину. За чтением ночь прошла быстро и как только окна утренних электричек порозовели, дежурство закончилось. Однако через три дня он вспомнил ту пятничную абракадабру, потому что услышал ее вновь!.. Правда, на этот раз обстоятельства сложились несколько иначе: около стоянки не было никого, кроме тетки, выгуливавшей

спаниеля, а вышедшие из троллейбуса люди находились слишком далеко, чтобы можно было слышать их голоса. И на этот раз никаких «охов» или «ахов» – то было отчетливо и спокойно произнесенное немецкое «Ах-тунг!»

Вынув из кармана казенный газовый баллончик, Валерий обследовал территорию, но ничего подозрительного не обнаружил и вернулся в сторожку, немало озадаченный. Мудрое решение пришло само собой: впредь осматривать салоны машин и площадку пока светло!.. Что ты увидишь вечером через тонированные стекла, пусть и при свете прожекторов?

Даже если это шалости подростков, пацаны – народ изобретательный, тут нужен глаз да глаз. Еще Борохов подумал, что монтировка в рукаве куртки может оказаться нелишней. Ну а завершились его раздумья тем, что он вернулся к изучению быта перуанских индейцев – статья в журнале оказалась увлекательной.

Выходные – дежурил Валера сутки через трое – он провел в суетливых, но приятных ему домашних заботах: съездил к младшей дочери позабавляться с внуком; у себя дома дважды выиграл и трижды проиграл в подкидного дурака внучке-первокласснице; сходил на рынок и так далее. Он ничуть не огорчался о том, что это последние осенние деньки, обласкавшие душу его спокойствием и не отяготившие его мозг необходимостью глубоко, продолжительно размышлять, выстраивая непростые психологические комбинации, обойтись без которых, при попытке решить неожиданно возникшую задачу, было невозможно.

Пришло время очередного дежурства. Настырный дождь за ночь так и не нагулялся... Ближе к полудню Валерий обошел вверенную ему территорию, на которой, учитывая совокупную мощность двигателей, стоял табун из примерно семи тысяч лошадей, и внимательно все изучил. Он осмотрел салоны даже тех машин, стекла которых были тонированы с нарушением требований ГАИ. Весь день наблюдал он за окружающей обстановкой, не отвлекаясь на пустяки. Так что у местных шалопаев сегодня не было никаких шансов. Перед вечерним обходом он был абсолютно уверен, что на этот раз обойдется без сюрпризов. Даже кошки не приходили подразнить приبلудного Рекса, дремавшего в картонной коробке под стихающим дождем. Выйдя из сторожки, Борохов постоял на крыльце – у двухэтажной будочки оно хоть и маленькое, но было. Еще раз оглядев освещенную прожекторами площадку, он дождался пока вышедшие из троллейбуса люди не прошли мимо нее все до единого и, ступив на землю, спокойно зашагал к северной сто-

роне забора. Вот он прошел мимо «Фольксвагена», двух «жигулят» и как только поравнялся с УАЗом, за которым были видны «Москвич», «Опель», «Ауди» и другие машины, вдруг услышал знакомый женский голос, тут же прерванный коротким мужским «Ах-тунг!», после чего опять наступила тишина...

Объятия оторопи оказались настолько крепкими, что Борохов напрочь позабыл о казенном реквизите, а монтировка едва не вскользнула из рукава куртки. Однако в таком жутком состоянии он оставался недолго – оно сменилось нервным смехом, после чего Валерий, чему-то улыбаясь, оперся на левый каблук и, совершив по-военному поворот «кругом», стремительно направился к шлагбауму.

План будущих действий возник у него сразу, как только он успокоился, и выглядел так: вечерние променады продолжать, ситуацию контролировать и вести дневник, коллегам и автовладельцам глупых вопросов не задавать и – самое главное – искать диктофон. – «Эти гуманоиды наверняка разговаривают пока я нахожусь в будке, – думал он. – Замолкают лишь, когда замечают меня. Запишу их разговор на пленку и все станет ясно». Но раздобыть хорошую аппаратуру оказалось непросто – дорогая вещь! На решение этой задачи ушло около месяца, но за это время он, анализируя дневниковые записи, сумел существенно прояснить ситуацию. Дело в том, что из пяти последних дежурств три оказались «безголосыми» и в это время на стоянке отсутствовали разные авто: дважды «Фольксваген» и УАЗ, по разу «Москвич», «Таврия» и «жигуленок», но в каждый из этих дней на стоянке не появлялась «Ауди», владельцем которой являлся Пащенко В.С. Слева от нее парковалась ВАЗовская «восьмерка», справа – давно никуда не выезжавший «Опель» госпожи Кураваевой Е.А.

Борохов приготовил ящик из-под марокканских апельсинов, два кирпича и полиэтиленовый пакет. Наконец, позвонил приятель Слава и сообщил, что готов принести диктофон, но лишь на один день. Валера сказал, что одного дня будет вполне достаточно и стал ждать вторника с нетерпением. «Только бы Пащенко вернулся в этот день на стоянку. Ничего, подождем, увидим», – рассудил Валерий.

Вот он, вторник... Утром, выпуская «лошадок на выпас», Валера не удержался и спросил Пащенко – «вернется ли тот к вечеру?» Хозяин машины сказал, что вернется обязательно, и Борохов успокоился.

Последней из уехавших утром машин к вечеру вернулась элегантная «Хонда» из последнего ряда: все были в сборе, и можно было начинать. Поставив ящик около правой передней двери «Ауди», Борохов аккуратно

положил на него диктофон, предварительно поместив его в пакет, нащупал кнопку «запись», нажал на нее и, придавив края пакета кирпичами, чтобы ветром все это не унесло, направился к себе в будку. Ему оставалось подождать примерно сорок минут, вернуться, перевернуть кассету для записи на другой стороне, потом подождать еще примерно столько же и... дело сделано!

В этот вечер он чаще обычного поглядывал на часы. В двадцать два часа пятьдесят минут «операция» была завершена. «Сейчас мы узнаем, что за карлики-нелегалы прячутся под сиденьями. Сейчас, сейчас, – думал Валерий, вставляя кассету в магнитофон. – Сейчас...»

Из того, что он услышал, ему были понятны всего несколько слов. Вот эти слова: Дитрих, Володья, штрассе, Дюссельдорф, Фрау Катерина и валерьянка – их произносила женщина; Дагмара, Петербург, Фрау Катерина, гут – были оглашены мужчиной. «Та-ак! – воскликнул Валерий, – Час от часу не легче!.. И что теперь с этим делать?.. Эврика!..» В соседней парадной Валериного дома проживала педагог начальных классов Матвеева Людмила, у которой когда-то учились обе дочери Валерия, а теперь и его внучка. Как-то раз, забирая Валюшку с продленки, он разговорился с Людмилой Ивановной, и она упомянула о том, что начинала свою педагогическую деятельность в качестве преподавателя немецкого языка. Вот кого он попросит перевести записанный разговор! Передавая ей кассету, Борохов не мог предположить, что при работе над текстом у деликатной, интеллигентной, воспитанной в духе старых традиций Людмилы – кстати, ровесницы Валеры – возникнут проблемы морально-этического характера. В телефонном разговоре она призналась, что испытывает чувство неловкости и переводить текст, записанный на второй стороне кассеты, ей не хочется, потому что подглядывание в замочную скважину не относится к категории любимых ею занятий. Борохов, моментально сориентировавшись в характере побудительных мотивов Людочкиных терзаний, сымпровизировал. Не раскрывая всех карт, он плавно надавил на педаль патриотизма, сказав, что действует по просьбе районного УБОПа, который нынче повсеместно занят проведением антитеррористических профилактических мероприятий с целью предотвращения возможных терактов. Мобилизующий гражданское сознание аргумент сработал, Людмила согласилась и сказала, что завтра он сможет забрать кассету и сделанный ею перевод. Да, обман – это гадко, но нельзя же допустить, чтобы следствие зашло в тупик. «Глухарь» инспектору Борохову был не нужен...

Вводить в искушение госпожу Матвееву он не желал, но вот досада – известных ему с детства немецких слов: аусвайс, хенде хох и гутен морген на кассете не было, а то бы он!.. Его познания в английском были куда обширнее, но, увы, «карлики» говорили по-немецки.

В девять утра, вернувшись от обаятельной переводчицы, которую РУБОП отблагодарил за содействие коробочкой коркуновских конфет, взволнованный «инспектор» присел к столу и слегка дрожащими руками развернул лист с диалогом неизвестных. Закурив, он приступил к изучению «расшифрованного» текста:

– Зачем он поставил тут этот ящик? Я так надеялась, что вечером мы с тобой станем ближе... Теперь эта деревяшка рушит мои планы...

– Не знаю. Да Господь с ним. Не обращай внимания, отдыхай. Устала...

– Да нет, не очень: Володя и опытнее, и заботливее Дитриха. Тот, как русские говорят – крохобор, бросил меня тотчас, стоило мне разбить зеркальце и потерять всего-то одно колечко. Помнишь, я рассказывала тебе!?

– О, да, да! Прекрасно помню место нашей первой встречи... Правда, к тому времени я лишился презентабельности по вине Дагмары. Хотя, если бы не ее заносчивость, мы с тобой никогда не встретились бы...

– Да-а... Середина мая. Дюссельдорф, улица Гутенберга, 18. Дождь-мальчишка был такой озорник – проникал в каждую мою щелочку...

– Да-а... Ты появилась такая разгоряченная и очень красивая...

– Правда? Ха, ха... Как приятно слышать это от тебя, милый...

– Ты и сегодня просто обворожительна... Да, хочу тебя об...

Здесь Людочка приписала – "Конец записи на первой стороне. Паузы весьма продолжительны и все время что-то свистит, шуршит!"

Валерий снял очки, покрутил их в руках, положил перед собой – он был взволнован – и в своих воспоминаниях уплыл куда-то далеко, откуда нам всегда трудно возвращаться без слез... Да-а, давненько они с женой не говорили друг другу таких слов, а тут. Нет, он не сомневался в этом, он был абсолютно уверен – неодушевленные предметы! так объясняются друг с другом... Еще бы, Ворохов понимал, что с точки зрения здравого смысла этого не может быть, это невозможно! «И все-таки, почему нет? – думал он. – Мечтала же «Рябина к дубу перебраться»? За много лет пытался хоть кто-нибудь этот Факт оспорить?.. Дела-а!» Надев очки, он чуток вздыхал над превратностями человеческих судеб и вновь погрузился в диалог:

– Сегодня сторож как-то по-особенному суетлив. Тебя это не настораживает?

– Валерьян?.. Да нет... А что твоя Катерина, еще не нашла злополучные щетки? Сколько же тебе быть невыездным!? Похоже, ты ей не очень-то и нужен. Прости, конечно...

– Ты знаешь, моя ущербность меня ничуть не беспокоит! Я готов долго оставаться таким, лишь бы с тобой не разлучаться...

– Спасибо, дорогой! Но, может быть, имеет смысл просто заменить генератор?.. Если бы ты только знал, как мне хочется, чтобы ты ожил, взбодрился. Город нынче безумно красив!..

– Все зависит от Катерины...

– Я слышала по радио – к Рождеству обещают похолодание. Можно я отдохну?

– О, да, да, разумеется! Спокойной ночи, дорогая!..

– Угу, спокойной ночи, дорогой!..

Внизу Людмила Ивановна написала – «Больше на кассете ничего нет. На разговор террористов это не похоже!»

– Что ж, Людочка, – промолвил Ворохов, – Коли так, будем закрывать «дело». На работе об этом ни слова. Мало того, что сочтут сумасшедшим, так у «Ауди» и «Опеля» могут возникнуть неприятности. – Как ему не хотелось, чтоб его длинный язык стал причиной их преждевременной разлуки. Да и католическое Рождество на носу. Вообще, много о чем он успел поразмышлять, переводя эту историю в плоскость человеческих отношений...

Утро следующего дня выдалось морозным, а под вечер пошел снег. Было время самых долгих в Петербурге ночей, а места елочных базаров даже слепой мог легко определить по густому запаху хвои. Валерий решил, что пора покупать елку.

Вот и первое после «закрытия дела» дежурство. Около девяти вечера во время традиционного осмотра он подошёл к запорошенному снегом «Опелю», некоторое время постоял около него молча, затем машинально, а может быть и нет, очень аккуратно смахнул с его багажника снег и сказал:

– Извините, это я так... У нас, у православных, Рождество только через две недели, а у вас оно вроде как сегодня, так что примите поздравления, что ли!..

Шмыгнув носом, Валерий повернулся уходить в свою каморку и даже успел сделать пару шагов, как вдруг за спиной услышал:

– Бутте и ви счастливый, гаспадын кароший Борохофф!

Валерий остановился, помолчал, долгонько так помолчал, потом улыбнулся и, повернувшись к машинам, произнес:

– Я, я... Данкешон – И неторопоко зашагал в сторону сторожевой будки...

НА ФОМИНОЙ НЕДЕЛЕ

ПРОЛОГ

Время... Если задуматься над его способностями к самовыражению, то придётся признать, что много всяких «штук» умеет оно выделывать: бежать, останавливаться, менять свой – либо чей-то ещё – цвет, вкус, запах; каждому овощу оно своё – всему, стало быть, свой черёд. А помните – «Кто тут временные, слазь – кончилось ваше время!» Ещё оно способно – если не убито – ждать, терпеть, работать на кого-нибудь или против ;его можно выиграть или проиграть. Да хоть бы и в карты. К тому же философская категория сия отнюдь не бесхарактерна – оно бывает как суровым, так и добрым. Или вот ещё пример – «Простите, не найдётся ли у вас немного свободного времени?» – словно речь идёт о щепоточке соли. И прямо сейчас вспомнился один диспетчер-сортировщик от литературы. Он сказал мне – «Не-ет, голубчик, ваше время печататься в нашем журнале ещё не пришло, заберите стихата...» Он был прав... А если на это самое время напаять трусы спортивные на время и бабахнуть из пистолета над ухом его – уши и ноги у него тоже имеются, то примерно через сто метров беготни оно может стать: первым, вторым... последним. В общем, движение и переменчивость ему присущи. Крутит-вертит оно свою скакалочку без устали и прыг-скок через неё, прыг-скок. А вокруг всё меняется: день превращается в ночь, зима перетекает в лето. Непременно! Даже если какое-то там обновление и не бросается нам в глаза, пугая своими коготками, всё равно оно происходит. Взять города – расту-ут! Деревни... А что деревни? О-о!.. Сколько в них за века минувшие этой самой новизны попророщено! Хотя, некоторые считают – поскошено!?! Сон, вот, вспоминаю давешний – «Деревенская дорога – прямо, как на журавлёвских пейзажах – посередине её, исхудалая вся, перемена на четвереньках скачет. Похоже, в направлении Главной усадьбы мчится она издалё-ёка. Изорта горемычной слюна как у собаки бешеной, пылью обволакиваясь, по земле тянется. На «Савраске» этой другая перемена сидит, шепеляво-босоногая, и такой же сморщенной, выгоревшей на солнце переменной погоняет...» Порой, мимо усадебки или сельца какого так и проскачут, сердешные, без остановки – только пыль столбом из-под пяток рыпанных, у-ух! И вины их в том никакой, потому как иную «пункту населённую» с дороги не сразу и разглядишь – узреешь: зело борзо на воле разрастается травушка-муравушка духмяная. Кое где придорожный борщевик в высоту да в «толстоту» достигает таких размеров – секвойя, да и только! – что не всякий

раз заметишь за его зонтиком высоченные кладбищенские тополя вороньём облепленные...

Нонешние, то бишь современные деревенские кладбища – как и городские, сильно помолодевшие за последние лихие годы – невелики и «новоселья» на них не столь часты. Но по чиновничьему разумению причина тому не в том, что селу расейскому в принципе не тягаться с городом в масштабности проведения печальных ритуалов, а в том, что селянам живётся легче и слаще нежели горожанам... Воистину, существует немало довольно устойчивых признаков постоянного и неуклонного улучшения жизни в наших многострадальных живописных весях. Среди них едва ли не основным, наиболее, так сказать, очевидным является, увеличившийся за последние искромётные триста лет и достигнувший размера в двадцать пять сантиметров, диаметр «дыры» в сортире... Ничего смешного – научный, этнографами отысканный факт! О чём он говорит? Да о том же самом, о чём говорят средневековые рыцарские доспехи рыцарского же Зала в Эрмитаже: крестьянин становится крепче, хвала Господу! и круп-не-е!.. А такие перемены, как вы понимаете, возможны лишь в хорошей психологической среде обитания. Во-о-от почему потянулись к этому ареалу благоденствия стаи новоиспечённых богатеев со своими «козьими» манерами и стилём поведения. Превнося в неторопливую размеренную – не убоюсь оказаться противоречащим себе – в чём-то и с признаками коматозного её состояния, деревенскую жизнь новые взгляды на методы решения проблем, на подходы к ним. Свойственные этому сообществу набобов элементы существования, порой, озадачивают аборигенов своими странностями. Тем не менее, как ни покажется это кому-то удивительным, кое что приживается-таки на благодатной деревенской почве, в умах и сознании селян не без толку для последних...

– Не, не, не!.. Щас не могу, потом... – Так Василий Иванович Лапов, в прошлом кузнец и бакенщик, отказал Харитону Мохову «булькнуть» с ним под ветвями придорожной ракиты.

– А потом-то чего?.. Потом – суп с котом.

– Ну и... Неколи мене. – Отрезал Василий, уже и отвернувшись от изумлённого, но ничуть не расстроившегося приятеля. Василий Иванович возвращался с кладбища домой. – Радунца, всёж-таки – спеша поделиться с другом-соседом Владимиром Репиным открытием, которое он сделал только что на деревенском погосте...

Две верхние пуговицы на лаповской фуфайке были расстёгнуты: майский вечер вы-

дался пригожим, при том, что весна сей год оказалась жадной на тепло не только на Фоминой неделе. По-молодецки пролетев над придорожной канавой, Василий тырснул упругую молодую траву новеньким, щедро намазанным ваксой кирзачём и рассекая пожненную зелень, словно катерок по чистой воде, ринулся к соседской изгороди.

Услышав за спиной хруст треснувшей горбылины и последовавший за этим лёгкий матерок, Репин, не оборачиваясь всем телом, по-лошадиному повернул лишь голову в сторону донёсшихся звуков. Он увидел распластавшегося на земле и сверкавшего лысиной Василия. Тот, в который уже раз, зацепился за утонувшую в траве пряслину. Растягивая улыбку к левому уху, спросил:

– Чего, не видать что ль? Трава, чай, не уброд*.

– Уброд, бутерброд... дышло тебе в рот! – ругнулся Лапов, обстукивая старенькую кепку о колено. – Тут такие новостя, а ему всё хихи!..

– И что ж то за новина такая чудная, что ты забываешь ногу-то поднять?

– Щас вот ты её и поднимешь... Здорово!

– Ты – бык, а я – корова. Утро когда было-то? – Здоровается он...

– Да ладно тебе. Сурьёзные дела, Вовчик, творятся в Отчизне нашей, а мы с тобой, пердуны старые, ни сном, ни духом. Не ведаешь, поди, что главная мечта наших последних годов нынче под угрозой сбывания? Шустрить нам пора, дорогой, вот!

– Ага... Дай-ка покумекать – у нас, Васильян, столько мечтов, что не враз угадаешь... Да не-ет, ошибнулся ты насчет угрозы, – успокаивающе и с весёлой хитрецей произнёс Вовчик, успевший к этому дню получить всего-то на четыре пенсии меньше Василия, у которого таковых на счету было аж десять. Подбоченясь, а затем отведя руку в сторону, словно он собирался плясать «Барыню», Репин указал на стоявшую у забора лопату. Из-за неё, вытянув шейку, в капроновой шляпке набекрень, с любопытством поглядывала на них початая бутылочка портвейна. – Разве мы не мечтаем, чтобы у нас «всегда было»? Ну что – "Пристегните ремни"!..

– Нет, Репа, – резко ответил Василий и, пройдясь пальцами по пуговицам как по регистру аккордеона, распахнул фуфайку, – не угадал. Но не откажусь...

Сняв кружку со штaketины, Владимир поухаживал за соседом и тот, оттопырив кривой мизинец ещё в детстве покалеченный цепью и зубчатым колесом велосипеда, выпил вино. Даже если портвейн случался и не

* Уброд – глубокий рыхлый снег. (В.И.Даль.)

«777», такое мероприятие называлось у них «полетать на Боинге»...

– Кабы не Гуси-Лебеди, они там для Солюшки могилку готовят, – Лапов перекрестился. – Слышал, нет? Упокоилась училка наша бедная... Так мы с тобой про то ещё долго ничего не знали бы.

– Про что?.. Тягомотный ты фрукт.

– Про то, что мощной тряхнуть надобно, коли желаешь из гроба глядеть, как над могилкой твоей клесты рябину треплют. А нет – не обессудь.

– Ты это, – начал вникать Репин, – чего говоришь-то? С какого хрена?

– А с тако-ого! Место наше у рябинки, что садили мы с тобой в запрошлый год за-ня-то! – Василий чуть наклонился вперёд и досадливо ударил о колени руками. – По восточной стороне, по восходной под могилки уже два участка проданы!..

– !?..

– Вот теперича и поднимай свою копыту

– Погодь, погодь. – Забеспокоился Репин и, хлопая глазами, упёрся ладонями в окружающую его прозрачную стену, – Это как же продано? За деньги, что ли?

– А то!.. И «сотрификат» на руки даден.

– Та-а-ак. Ты хочешь сказать, что на нашем кладбище землю для будущей могилы можно купить, как... хлеб?

– Хочешь сказать... – передразнил соседа Лапов. – Именно что... Крымский из Часовенского и наш Мартынов, что с Питера приехавши, так они купили уже. Мне Гусев с Соколовым только что на это очи открыли.

Барабания пальцами по дну алюминиевой кружки, Репин размышлял...

– А, – Владимир захотел что-то сказать, но передумал и, опустив голову, опять замолчал. Ненадолго. – А вот любопытно, сколько же они за это заплатили? И кому?

– Поселковому платили, кому же ещё. Не знаю, положено ли что Батюшке, но Соболева сдёрнула с их по пятнадцать тыщ! Всё законно!

– Евров?.. Долларов?

– Ну да?.. Целковых.

– Тоже славно, – позавидовал Владимир. – И что теперь?

– Я так мыслю – к ей, к Соболихе надо идти разбираться. Что, б..., за дела? – Распалаясь, Василий повысил голос, – Я тут всю жизнь: в кузне, на реке – огонь и воды, понимаешь, прошёл. Гробов сколько понаделал – всё разные, что яйца Фабриже. Ни одной жалобы от клиентов – живут, радуются. И что?.. Не моги себе местечко для последнего пристанища застолбить. Понаехали, понимаешь...

– Ну-у! – поддакнул Вовчик. – Кстати, с моей домовиной чего тянешь?

– Кто тянет? – обиделся Лапов, – Приходи

поглянь. Думаешь легко арабеску резать? Или ты не просил, чтоб крышка была узорчатая?

– Просил, просил. Режь, Васильян, режь, – примирительно произнёс Владимир и налил в кружку вина, – Держи! И не волнуйся. Завтра и пойдём «соболей брать». А что до рябинки – так посадим ещё.

– Пойдём, пойдём... – Василий выпил.

– Посадим, посадим... – выпил Владимир.

Покончив с портвейном, друзья разошлись по избам...

Поутру они отправились в Томилино, в резиденцию волостного Головы госпожи Соболевой. Шли берегом Воронежки, отбивая поклоны по сторонам: «Бог в помощь!» и «Труд на пользу!» – это влево, дружно взявшись за огороды хозяевам дворов; "Здравствуйте!" – это направо, в сторону скользивших по реке моторок. Допёрхали, присели на скамью возле здания администрации, отдышались...

Мучаться ожиданием хозяйки «приказной избы» не пришлось – Галина Васильевна появилась вовремя и приняла их без проволок. В разговоре с односельчанами она была откровенна и признала, что принятое коллегиально решение «о взимании денег в виде налогов за некоторые услуги» действительно блудёт. Бюджет тощ, всё в рамках закона, отчётность в ажуре. В ходе переговоров она выразила искреннее удивление их «просьбой», но сказала, что относится к ней с пониманием, а к ним с уважением. Призналась она и в том, что «высокое собрание» не предусматривало драть деньги с уроженцев приозерья за оказание услуг связанных с ритуалом последнего прощания, но и бумаги – имелись в виду бланки сертификатов – ей не жаль. Изловив её на слове, Лапов с Репиным от «халявы» отказались решительно и за оформление «охранной грамоты» выложили на стол по одному проценту от коммерческой стоимости земельного участка. Соболева, вскинув брови, тут же оприходовала пропахнувшие корюшкой и вываленные в табаке три сотни рублей и объявила им, что отныне никто не посмеет лопаты воткнуть в участки кладбищенского пространства, обозначенные на схеме номерами 408 и 409. На том и порешили... В десять часов двадцать минут аудиенция была признана сторонами завершённой и успокоенные Соболевой мужики, довольные тем как удачно они обтяпали дельце, оставили чиновничьи палаты и направились к ближайшему сельпо. А то как же?..

Домой возвращались неторопко. Западный ветер был упруг и всё ещё холоден: со времени как ладожский лёд окончательно покинул озёрную гладь дней прошло не так и много. Ещё на прошлой неделе можно было в огороде наткнуться лопатой на неотошедшую

кирзу. За полчаса пути в голове у Владимира посветлело, отчего взвыгло вдруг в нём нечто авантюристическое и даже – страшно сказать – мошенническое!..

– Слышь, Вась. Четыре дня до пенсии, а денюжки тютю.

– Нешто впервой, – откликнулся угрюмый Лапов.

– Оно конечно. Только Верунчик-то мой не знает, что за документы деньги уже плочены. Ну-ка, сообрази!..

– Ах ты голова-а... – оживился Василий, скидывая кепку и протирая заскорузлой рукой вспотевшую лысину. – Будь я президент, разрешил бы тебе на деньгах расписываться, как при Царе-Батюшке. По полтине с юбки – нам во как хватит!

– А вот я бы тебе не разрешил, – глубоко вздохнул разочарованный Вовчик.

– Чего?

– На деньгах расписываться. По сотенной!.. Не меньше. Значит так – через часик встречаемся. Сам знаешь – это место изменить никак нельзя. Вперёд! – сказал Репин и толкнул свою калитку...

Что час – фюить и нету! На встречу явились они с разным настроением. Вовчик одолел жену песней о вечной любви, танцами с притопами-прихлопами и выразительным, переиначенным на свой лад, рассказом о загробной жизни, сюжет которого был почерпнут им из книги легенд и мифов Древней Греции. Никакого, мол, Стикса – даёшь Воронезку! Хорона на съедение Церберу! Он сам станет катать любезную на лодке и по

всему подземному Царству будет разноситься весёлый скрип серебряных уключин... Впечатлительная Вера Игнатьевна глянула на мелькавший перед её глазами сертификат, отёрла руки о фартук – она стирала бельишко – и, щёлкнув ключиком, достала из секретера деньги. Репин чмокнул ненаглядную в губки и умчался через задворок «в поселковый» возвращать долг. Вера Игнатьевна успела лишь подумать – «И чего это он через задворок-то?..»

Василий появился у магазина смурной.

– Я гляжу, радуисся.. – сказал он. – А меня Марлен расколола. – Срочную служил Вася танкистом в тогдашней ГДР, оттого шутейно жену свою Марию Леонидовну называл «фрау Марлен». – Я не разглядел, а тама внизу написано «Оплата произведена полностью». Короче, обозвала она меня «лапти-фундистом» и выставила. Берись, говорит, за огороды – все уже пашут.

– Эх ты, лопух! Для чего очки сделаты? Не надо было документ в руки ей давать. Ладно... Пошли к реке. Завтра уж за огороды возьмёмся.

Спустившись к воде, оседлали бревно и Репин положил на него две конфеты «Каракум». Взятая у продавщицы в аренду посуда наполнилась вином, прозвучал тост – «Земля – крестьянам, вода – матросам!» и друзья отправились «в полёт». Нет, они не пили – они прощались примерно на пять месяцев с чувством безмятежности, овладевавшим ими в долгую зимнюю пору...

Низами АБУЛЬФАС-ОГЛЫ

РАССКАЗЫ

КОЗЬЕ МОЛОКО

В деревне, куда маленький Ильюша ездил на лето с мамой, бабушкой, дедушкой и тетей Галей, всего-то было около двадцати домов. Причем местных жителей, которые жили в этой деревеньке круглый год, было всего четыре семьи. Остальные приезжали только на лето.

В этот раз Ильюша собирался в деревню основательно. Он упаковывал в коробку свои игрушки, надувной круг, почистил свой велосипед. Но самое главное, он приготовил маленький домик – коробочку для своей любимой ручной крысы по имени Шиншилла, которую ему подарили на день рождения бабушка с дедушкой.

Шиншилле в деревне очень понравилось. Ильюша часто ее выгуливал на полянке, а

потом сажал в домик, который он вместе с мамой соорудил.

Однажды Ильюша хотел выпустить свою крыску погулять, но в домике её не оказалось.

Ильюша расстроился и стал громко плакать. Узнав, в чем дело, мама успокоила его и сказала, что они обязательно найдут крыску. И тут же все и мама с Ильюшей, и бабушка с дедушкой, и тетя Галя бросили свои дела и пошли по деревне искать пропавшую Шиншиллу. Они ходили по дворам, заходили в дома и спрашивали, не видел ли кто-нибудь ручную крысу. Но все отрицательно качали головой. Нет, никто ее не видел. Но люди обещали, что как только увидят ее, поймают и принесут Илье. Так ни с чем пришлось вернуться домой. Ильюша плакал, отказывался от еды и к вечеру у него поднялась температура. Мама сильно испугалась и пошла за

доктором, который каждое лето приезжал в деревню из Мурманска. Он вообще-то давно был на пенсии, но люди всегда обращались к нему, если кто-нибудь заболел. Он был хорошим человеком и никогда никому не отказывал.

Когда он пришел к Ильюше и осмотрел его, то сказал, что это у него на нервной почве. Мама рассказала доктору о пропаже Шиншиллы.

– А чего ты переживаешь, малыш, крыса у тебя ручная?

– Да, ручная, – тихо ответил Ильюша.

– Ручная, значит, сама вернется домой. Крысы очень умные. Ты ее очень любил?

– Да, – чуть слышно ответил Илья.

– Ну вот, значит, она непременно вернется туда, где ее любят и где ее хорошо кормят. Не горюй. Закрой глазки и поспи. А завтра наступит, и твоя крыска сама найдется.

Маме доктор сказал, что у ребенка слабая иммунная система и не мешало бы ему попить хотя бы в летний период парного козьего молочка.

Наутро у Ильюши температуры уже не было. Он встал, оделся и сразу побежал к домику Шиншиллы. И сколько же было радости, когда Ильюша увидел там свою любимую крыску. Он посадил ее на плечо и пошел показывать маме и всем остальным. Все были довольны, что Ильюшина пропажа нашлась. В эту ночь все плохо спали, беспокоились за Ильюшу. Думали, где взять козьему молоку, чтобы укрепить его здоровье. В деревне были только две коровы у двух местных жителей. Коз никто не держал. Но помог найти козу тот же доктор. Наутро он пришел узнать, как дела у малыша и подсказал, что коза есть у одной старушки в соседней деревне. Деревушка совсем маленькая, несколько домов, туда и дачники не ездят.

– Это недалеко, туда приятно прогуляться по лесной дорожке ранним утром. Двойная польза – и молочко, и прогулка.

В тот же день мы отправились в эту деревеньку, нашли там бабушку с козочкой и договорились с ней о молоке.

С тех пор каждое утро кто-нибудь из взрослых отправлялся за козьим молоком, и Ильюша всегда тоже шел. Он брал с собой хлеб и сам лично кормил козочку этим хлебом. Козочка вся была белого цвета, наверно, поэтому у нее было имя – Белка.

Однажды Ильюша взял с собой свою Шиншиллу. Она всю дорогу важно сидела у него на плече. Когда козья бабушка увидела Ильюшину крыску, она сперва испугалась, но Ильюша успокоил ее, сказал, что Шиншила добрая, не кусается, и бабушка даже согласилась ее погладить один разок.

– Молодец, Ильюша, – сказала бабушка, – сразу видно, ты любишь божьих тварей и ни-

когда их не обидишь. Я тоже очень люблю свою козочку, но этой осенью, наверное, придется с ней расстаться.

– Почему? – удивилась мама. – Вы хотите кому-то отдать свою козочку? А мы то думали, что и на следующий год будем брать у Вас молоко. Ильюше оно так помогает.

– Я бы и рада молоко вам давать. Да вот беда, козе зимой сено надо, а где его взять? Траву косить нужно, просушить, чтоб не загнило, в амбар свезти. Стара я стала, болею часто, силы уже не те, что раньше, а помощников у меня нет. Одна я одинешенька. Жалко мне мою Белку, да что поделаешь, видно, придется прирезать. Ильюша вздрогнул.

– Бабушка, ты хочешь убить такую замечательную козочку? Ты злая, ты плохая бабушка! Я больше тебя не люблю! – закричал Ильюша, с плачем бросился вон из избы и побежал по лесной дорожке.

Мама догнала малыша и стала его утешать.

– Успокойся, дорогой, не плачь. Не бойся, бабушка не тронет козочку. Мы придем домой и все вместе подумаем, как спасти козочку Белку.

Когда мама с Ильюшей подошли к дому, то услышали звуки гудящей электрической газонокосилки. Это тетя Галя опять стригла в саду траву.

– Ура! – закричал Ильюша. – Я придумал, как спасти Белку! Тетя Галя будет косить траву, а я ее буду собирать и запасать для козочки!

Он побежал за своими маленькими граблями и сразу приступил к делу.

Мама все объяснила недоумевающей тете Гале про козочку, и та пообещала помочь Ильюше в таком добром деле.

С этого дня все дружно стали запасать сено на зиму для козочки, не пропадала ни одна травинка.

А папа Ильюшин купил еще и концентрированные корма.

В конце лета папа с Ильюшей погрузили на прицеп насушенное сено и купленные корма и привезли все это бабушке.

Увидев все это, бабушка расплакалась. Она вытирала бегущие по щекам слезы уголком своего головного платка, но слезы все лились и лились по ее сморщенному лицу.

– Бабушка, не плачь, ведь теперь у козочки есть еда на зиму, значит, не надо ее убивать.

– Ах, ты золотце мое, помощник мой дорогой, – еще пуще разрыдалась бабушка. – Спасибо тебе, внучек! Спасибо. – И она крепко – крепко прижала к себе Ильюшу.

– Смотри, бабушка, береги козочку. На следующий год я приеду и снова буду сушить для нее сено.

– Поберегу, дорогой, не беспокойся.

Вот такая история с козочкой приключилась с Ильюшей летом в деревне. Козье молоко укрепило его здоровье и за всю зиму он ни разу не заболел.

БЫВАЮТ ЖЕ ЧУДЕСА

Ильюша уже почти год ходил в детский сад. Поначалу он плакал, когда мама оставляла его и уходила, но постепенно привык и даже с удовольствием шел, чтобы поиграть и побаловаться со своими друзьями. Теперь Ильюша оценил выходные дни по-настоящему, потому что в эти дни можно было спать сколько хочешь, а потом пойти на детскую площадку с бабушкой и дедушкой.

Мы с Ильюшей живем в одном доме, только в разных подъездах. Это очень удобно, не надо тратить время на дорогу, толкаться в транспорте. Проснулись, позавтракали – и к любимому внуку. Гуляем до обеда, потом по домам: мы с женой к себе, Ильюшу отводим к маме Тане.

Я любил эти прогулки. Но однажды моя жена пошла гулять с внуком без меня. Я почувствовал себя плохо и остался дома. Мои прогулки закончились. Я провалялся в постели больше месяца. Мое состояние не улучшалось. Боли не давали спать – мучила бессонница. Хворь вцепилась в меня когтями и зубами. Пропал аппетит, все дела забросил, никого не хотелось видеть. В голову полезли всякие дурные мысли.

Как-то я как обычно пристроился в прихожей в уголке на старом табурете и закурил. И тотчас же в голове закружился рой мыслей одна черней другой. Перед глазами мелькали пройденные дороги прожитой жизни. Было и хорошее, и плохое, и грустное, и смешное. Но я все возвращался к мысли, а по тому ли пути я пошел в своей жизни. Не пошел ли в какой-то момент на пустую обманную тропу. Казалось, жизнь прошла, а главного в жизни я так и не сделал.

Я так глубоко ушел в себя, что не услышал, как пришли бабушка с внуком. Очнулся, когда у самого моего уха прозвучал изумленный голосок внука:

– Деда, а что это ты мой угол занял? Тут я всегда стою, когда меня бабушка наказывает. Тебя, что ли, бабушка тоже наказала?

Эти слова меня почему-то рассмешили.

– Да нет, Ильюшенька, это я сам себя наказал.

– Правильно говоришь, деда, сам себя наказал. Опять куришь, а тебе нельзя, у тебя сердце большое. Курить – здоровью вредить, сколько раз я тебе это повторял. Мама объяснила, что один грамм никотина может даже лошадку убить, а тебе до лошадки еще расти и расти, деда. Вот ты и болеешь. Ты не кури

больше, деда, а то никогда не поправишься. Без тебя скучно гулять. Обещай, что больше никогда не будешь курить.

– Пятьдесят лет курю, внучек. Трудно бросить. Да что толку, все равно не выкарабкаться уже. Поздно бросать.

– Ничего не поздно, деда. Мама мне говорила, что хорошее дело никогда не поздно начать. Ну, хорошо, а если ты поправишься, деда, тогда бросишь курить?

– Если поправлюсь, тогда брошу, внучек. Даю слово, брошу.

– Ты уже сколько раз говорил, брошу да брошу, а сам все куришь да куришь. Ты поправишься, дед, вот увидишь. И тогда тебе придется бросить, ты слово дал. А мужское слово – закон. Так мама говорит. Ну, ладно, дедушка, иди в постель, а у меня с бабулей дела есть на кухне.

– Это какие такие дела у вас? Опять от меня секреты?

– Да, дедушка, секреты, потом узнаешь.

Я пошел в постель, а Ильюша ушел на кухню к бабушке.

От общения с внуком на душе стало теплее, жизнь уже не казалась такой мрачной. Я заснул спокойным сном и проспал более трех часов. Проснулся от нежнейшего духа печеных пирогов, который ванили и печеного теста. Ах, как я обожаю этот любимый мною с детства аромат печеного хлеба. В комнату вошел Ильюшенька.

– Проснулся, дедушка? Я хочу тебе рассказать про наш секрет.

– Да я, наверное, и сам догадался, что за секрет у вас. Вы с бабушкой пироги печете, да?

– Ой, деда, весь секрет испортил, – надул губы Илья. – Как ты догадался?

– По запаху, дорогой, по запаху.

– По запаху? – Илья повертел головой туда – сюда, шумно подышал носом. – Ничего такого я не чувствую.

– Ты притерпелся, поэтому и не чувствуешь.

– Ладно, дедуля, ты жди, я сейчас тебе чего-то принесу.

Илья ушел на кухню и через минуту вернулся. В руках у него был пирожок. Корявый, скомканный, но румяный и ароматный. Сразу было видно, кто слепил это кулинарное чудо.

– Дедушка, это я сам сделал, – с гордостью сказал Ильюша. – Видишь, какой он красивый. Это специально для тебя. Ты должен скушать этот пирожок, дедушка, он особенный.

– Ну, спасибо тебе большое, внучек. Положи пирожок, я его потом съем. Сейчас мне ничего не хочется.

– А ты захоти, дедушка. Этот пирожок сейчас нужно съесть, пока он не остыл. Я в этот пирожок твою хворь залепил. Ты его съешь, хворь сама от тебя уйдет, и ты поправишься.

– Неужели поправлюсь?

– Да, точно поправишься. Я твоей хвори сказал, если она уйдет от тебя, пусть забирает моего плюшевого любимого лягушонка кваку.

– И тебе не жалко своего любимца отдавать?

– Конечно жалко, дедушка. Я очень люблю своего кваку, но ведь тебе же надо поправиться. А хворь за твою поправку только кваку хочет, ничего другого ей не надо. Так она мне сказала.

– Ну, раз такое дело, надо этот пирожок съесть, – согласился я. И съел Ильюшин пирожок. Не мог же я разочаровать внука.

Как ни странно, но с этого дня я резко пошел на поправку и скоро уже начал снова ходить на прогулку с внуком.

Хворь ушла из меня так же неожиданно, как и пришла.

Но вот, что интересно. В этот самый день, когда я съел этот чудесный Ильюшин пирожок, куда-то пропала его любимая плюшевая квака. Мы все в доме перерыли и у нас, и у Ильюши, но квака так и не нашлась. Ильюша погоревал, конечно, но быстро успокоился. Он радовался, что я здоров.

А я, не поверите, с того самого дня бросил курить.

Причем бросил легко и неожиданно для самого себя. Надо же было держать свое собственное слово перед внуком.

Что-то изменилось во мне после той болезни. Я на все стал смотреть другими глазами. Я сделал для себя переоценку ценностей. Я стал верить в чудеса. Я понял, что любовь и вера еще и не такие чудеса могут сотворить.

НЕРАЗЛЕЙВОДА

Лето быстро пролетело. Дети возвращались в город, готовились в школу. Ильюша тоже вернулся в конце августа в Санкт-Петербург, где он родился и жил. И где он собрался пойти в детский сад. После вольной дачной жизни ему было тяжело привыкать к городской жизни.

Ильюша долго вспоминал о речке, где он подолгу плескался в теплой воде, о лесе, где он собирал чернику и грибы. Вспоминал о животных: о коровах, которых каждый день мимо его дома гоняли пастись на луг пастухи, о козочках, о соседской собачке Деньке, которая однажды больно цапнула его за ногу, и о бродячем коте Василии, который был такой самостоятельный и такой важный, что никогда не отвечал на Илюшкины приветствия,

только повернет голову на бок, скосит глаза на него, шевельнет усами и пошел дальше. Илюша хотел бы, чтобы у него был свой собственный кот, с которым он мог бы поиграть и поговорить, когда взгрустнется, но больше всего на свете он мечтал занять собаку.

Как-то Ильюша с мамой вышли во двор и встретили там соседа дядю Артема.

– О! Ильюша! Здорово! Ты, оказывается, уже приехал с дачи? Заходи в гости. У моей собаки три щенка появились. Они такие хо-рошенькие – посмотришь.

– Ой, мама, хочу щенка! – запрыгал Ильюша вокруг мамы.

– Нет, сынок, дядя Артем тебя только посмотреть зовет. А собаку мы тебе купим к дню рождения. Пойдем на птичий рынок и купим.

– Ну, зачем же идти на птичий рынок, я вам одного щенка подарить могу. Двоих я уже заочно пристроил, а для третьего еще хозяина не нашел.

– Значит, я буду его хозяином, да, дядя Артем?

– Конечно. Если мама не против.

– Я не против, – согласилась мама. – Но ведь за собакой ухаживать надо. Лужи за ним вытирать, гулять выводить. Кто будет этим заниматься?

– Я, я буду заниматься с ним, – запрыгал от радости Ильюша. – Мы возьмем щенка, мама, возьмем?

– Ну, хорошо, возьмем, раз дядя Артем тебе его дает.

– Давай сейчас возьмем, мама. Хочу сейчас щеночка, мама, – заныл Ильюша.

– Нет, – сказал дядя Артем, – щенки еще совсем маленькие, они еще мамку свою сосут, надо немного подождать, пока они подрастут.

– Нет, – заканючил Ильюша, – Хочу сам щенка выращивать, сам буду его кормить, возьмем, мама, сейчас.

– Ну, хорошо, – сказал дядя Артем, – сейчас, так сейчас. Только вы тогда купите ему соску, будете его из бутылочки выкармливать. Вечером приходите, выберете себе щенка.

И дядя Артем ушел. А Ильюша запрыгал от радости, захлопал в ладошки.

– Ура, у меня будет собственная собака! Ура! Мам, а как мы его назовем?

– Не знаю, зайныка, как ты захочешь, так и назовем.

– А давай назовем его Терминатором.

– Это почему же Терминатором?

– Он, когда вырастет, защищать меня будет.

– Ну, хорошо, – согласилась мам, – Терминатор, так Терминатор. Ну, что ж, пойдем для нашего Терминатора молоко и соску покупать.

Вечером щенок был у Ильюши дома. Вместе с мамой они кормили его молоком из пузырька с соской. Щенок был еще совсем маленький, когда он ходил, лапки его расплзались по гладкому полу, как на катке. Когда щенок напился, он надул большую лужу возле стула. Мама спрашивает:

– А кто обещал за собакой убирать?

– Я, я буду убирать! А как, мама, убирать?

– Бери тряпку и вытирай. Потом тряпочку помоешь в ведре. Справишься?

– Пара пестяков, – ответил Ильюша и занялся делом.

Так появился щенок у Ильюши. Исполнилась его мечта.

Наступил день, когда Ильюша ранним утром пришел в детский сад. Он никогда раньше не ходил в детский сад. Ему было страшновато. А когда мама его ушла, он совсем растерялся. Детей было много, он столько детей вместе еще ни разу не видел. Он стоял и раздумывал, не расплакаться ли ему для начала. Только он скривил губы и собрался зареветь во все горло, чтобы пострашнее было, как к нему подошел мальчик и спросил:

– Ты, что ли, новенький? Мне четыре с половиной, а тебе сколько?

Ильюше сразу расхотелось плакать, и он ответил:

– Три с половиной.

– Ну, это ничего. Если хорошо будешь есть, ты меня догонишь. Я – Гера. Давай дружить.

– Давай. А это как?

– Очень просто. Мы всегда будем вместе. И будем делиться друг с другом.

– Делиться – это как?

– Это очень просто, если у меня что-то есть, я тебе дам, а если у тебя что-то есть – ты мне дашь.

– Нет, я так не могу. У меня собака есть, но я ее никому не отдам.

– Ты можешь мне собаку не отдавать совсем. Просто поиграть с ней дашь. Будешь дружить?

– Буду.

Так Ильюша подружился с Герой. Гера жил в одном доме с Ильюшей, только в последней парадной. По выходным дням они играли в одном дворе. Ильюша часто выводил своего щенка во двор и разрешал Гере поиграть с ним. Терминатор подрастал, мама купила ему ошейник, и Ильюша водил его на поводке, как взрослую собаку. Для солидности Ильюша подарил Терминатору свои любимые темные очки, но мама сказала, собаки не носят очков и Ильюша согласился, тем более, что очки никак не лезли собачке на нос.

Все было бы хорошо, да вот Гера очень грустил, когда Терминатор после прогулки уходил домой за Ильюшей, а не за ним. Ему тоже так хотелось иметь собаку. Однажды, когда Ильюша встретил на лестнице дядю Артема, тот спросил Ильюшу:

– Ну, что, ты теперь счастлив, что у тебя есть собака?

– Счастлив, – вздохнул Ильюша, – только наполовину.

– Наполовину? Это как понимать надо, наполовину?

– У меня-то собака есть, а вот у друга моего – Геры – собаки нет. А он тоже очень хочет собаку.

– Хочет собаку! Так это поправимо. У меня как раз от одного щенка отказались, а хозяйна я ему до сих пор не подыскал. Вот твоему другу и подарим его. Согласен?

– Ура! – закричал Ильюша. – Дядя Артем, ты такой добрый, я тебя очень, очень люблю.

И он обнял дядю Артема за ногу и крепко к нему прижался.

Вот так и у Геры появилась своя собака. Теперь они вместе гуляли со своими собаками, а люди смотрели в окна и говорили:

– Вон, опять друзья-приятели гулять вышли со своими собачками. Настоящие друзья – неразлейвода.

Николай КУКОВЕРОВ

ОХОТА НА КАБАНОВ

(Зарисовка)

Когда-то, в застойные времена, я был активным членом добровольной народной дружины – ДНД. Дежурили мы после работы на улице Марата, там находился общественный пункт охраны правопорядка – ОПОП. В функции дружинников входило – обход близлежащих улиц с целью выявления граж-

дан в состоянии алкогольного опьянения и пресечение других правонарушений.

Однажды участковый инспектор, курирующий деятельность ДНД, пригласил меня к себе в кабинет:

– Командир, у меня срочные дела, твоя задача – разнести повестки по указанным ад-

ресам на предмет перерегистрации охотничьего оружия.

– Опасно, лейтенант, а вдруг там бандиты какие...

– Какие там бандиты, это вполне порядочные люди – охотники. Действуй.

Первые две повестки вручил без проблем. Мой приход хозяев не только не напугал, даже не удивил. А вот третий визит заслуживает внимания.

Так, какой тут адрес – Свечной переулок, Смикун С.Н. Звоню.

Дверь открыла женщина лет сорока, даже не спросив традиционно: "Кто там?"

– Здравствуйте, здесь проживает Смикун С.Н.?

– Да, здесь, я – Смикун Светлана Николаевна, а вы – Виктор?

– Нет, я – Николай из ДНД, с повесткой для гражданина Смикуна С.Н. о перерегистрации охотничьего оружия.

– А я подумала, вы – Виктор, меня с ним познакомила приятельница по телефону, он должен был прийти два часа назад, да вот что-то задерживается...

– Извините, как я понимаю, гражданин Смикун С.Н. – ваш муж?

– Да, муж, он с утра с товарищами уехал охотиться на кабанов, у них в лесу даже охотничья избушка построена, там и ночуют... да вы проходите в комнату.

В комнате горел только торшер. В глаза бросилась вопиющая роскошь: импортная стенка неписанной красоты, забитая хрусталем, фарфором, книгами. Интерьер дополняли – музыкальный центр и цветной телевизор на массивной тумбе.

На стенах – ковры, на потолке – хрустальная люстра. Можно было только догадываться, что находилось в других помещениях квартиры.

Хозяйка предложила мне сесть в кожаное кресло, перед которым стоял столик, содержащий – бутылку армянского коньяка, бутылку красного вина, судя по наклейке, импортного, бутылку Советского шампанского, бутерброды с черной и красной икрой, коробку шоколадных конфет, банку бразильского кофе и сервис на две персоны.

Теперь до меня дошло – женщина в отсутствии мужа ждет другого мужчину, а тот, по каким-то причинам, не явился. Хозяйка предложила:

– Давайте выпьем за знакомство, коньяк, французское вино?

– Я предпочел бы пиво, все-таки при исполнении, сами понимаете...

– Пива не держим, только вино!

Теперь я рассмотрел мою новую знакомую более внимательно – это была статная женщина с пышными формами. Вечернее платье так обтягивало ее бедра, что оно, по моим

расчетам, должно было лопнуть при малейшем телодвижении.

– Берите бутербродики, вы какие предпочитаете, с черной или красной икрой?

Честно говоря, икру я пробовал два раза в

жизни, тем более что моя зарплата инженера составляла 160 рублей в ценах 1961 г.

– У вас, извините, прям коммунизм.

– Вы относитесь проще к жизни, разрешите за вами поухаживать.

Хозяйка взяла бутылку коньяка и склонилась над фужерами. На ее шее блестело бриллиантовое кольцо, в ушах – диковинные золотые серьги, на пальцах рук – золотые кольца и перстни с неведомыми мне драгоценными камнями, опьянял запах дорогих духов.

– Давайте поднимем бокалы, – предложила хозяйка, – за нашу романтическую встречу, а возможно, и ее продолжение!

– Вообще-то меня ждет участковый с отчетом, да и дежурство...

– Какая ерунда, сходите в свою ДНД и возвращайтесь обратно...

В ее глазах горел огонь страсти, а в голосе присутствовали похотливые нотки.

– Хорошо, сейчас...

Я не успел договорить, потому что дверь в квартиру хлопнула и в прихожую ввалился медведеподобный человек в болотных сапогах, штормовке, шапке-лодочке, за плечами у него были – рюкзак и двухстволка. Смекаю: вернулся муж хозяйки.

Бросив рюкзак в прихожей, медведеподобный прямо в сапогах и с двухстволкой прошел в комнату, он был навеселе:

– Ну, что, голубки, воркуете? Воркуйте, воркуйте, да не там, где я. Сегодня нам не повезло, кабанов не достали, значит, придется стрелять вас.

Супруга медведеподобного пыталась объяснить:

– Семен, этот человек...

– Молчи, потаскушка, я тебя поймал, ты долго готовилась.

Дело приобрело серьезный оборот, подключаюсь я:

– Да как вы смеете!

– А тебя, мусор, никто не спрашивает, ты будешь кабаном, а вот она – ехидной, сейчас вы разденетесь и полезете в постель, а когда начнете прелюбодеяние, я вас убью, одного дуплета будет достаточно, первым умрет кабан, потом ехидна...

Медведеподобный достал два заряда и, вставив их в стволы двухстволки, взвел курки.

Нужно было действовать.

– А вам не кажется, гражданин Смикун, что ваше место будет расположено подле параша в колонии строгого режима от 10-ти лет и выше?

– Нет, не кажется, я же вас убью в состоянии аффекта, так сказать, на месте преступления, и сам вызову милицию, тем более что начальник УВД и прокурор города – мои лучшие друзья.

– Слабый аргумент, все равно посадят.

– Это почему ж?

– Потому что в данный момент я – член ДНД, то есть лицо при исполнении должностных обязанностей, вот мое удостоверение и повестка, которая гласит, что вы должны зарегистрировать свою двустволку.

– Чихал я на твою повестку! Кто ты такой, чтобы устанавливать свои порядки в моей квартире? А знаешь ли ты, кто есть Смикун Семен Наумович?

– В данный момент вы для меня – охотник.

– Да, я охотник – в свободное от работы время, а в рабочее время я – начальник Главного Управления Торговли г. Ленинграда. Со мной, между прочим, Секретарь Обкома партии и Председатель Ленгорисполкома первыми здороваются, а вот ты что за ком с горы?

– Я – инженер, в конце концов, я – человек.

– Инженер, человек, да у тебя же ничего нет, ты голодранец! Впрочем, давай свою повестку. Не буду я вас стрелять, слишком мелкая птица. Светлана, проводи человека.

По Свечному выхожу на Марата к знаменитому коммиссионному мебельному магазину, а вот и ОПОП.

Живут же люди! Только и у них счастья нет...

Александр КИЛИПЕНКО

БЕЗУМИЕ

(Рассказ)

Мелодия смолкла, последняя, душераздирающая.

– Проводи меня, пожалуйста.

Нанизывает на биотоки, словно жука для гербария. Пересекаются биополя, до опасно пересекаются.

– Пес дома негуляный...

Смотрю на нее – сквозь очки, пристально. Глаза в глаза, печаль в печаль.

– У тебя что, собака вместо жены?

Неуверенный шаг из угла. Ехидная усмешка, губы вкривь, мраморные пальцы впиваются в локоть.

– Нет, вместо одиночества у телевизора.

Тщетная попытка высвободиться. Тиски сильны, хотя желание похвально.

– Пес подождет. Пойдем, ведь это совсем недалеко.

Берет под руку решительно. Властно ведет за собой.

– Ну, соглашайся, соглашайся. Порадуй меня.

Бормочу в ответ невнятно о болезни века: хроническом недосыпании...

Улица от оранжевого света – апельсин гнилой. Облака зашторили месяц. Мелкий, изматывающий дождик. Кстати, очень кстати – много не погуляешь. Зонт раскрыва. Здесь не зонт – скафандр нужен. Семенит рядом, явно не поспевая, каблучки цок-цок-цок. Стучат деревяшечки, выдают суету. Молчание до неудобства. Знакомая дорога. Два квартала прямо, полтора налево, двор-колодец, темная парадная.

Перебивает грешные мысли:

– У тебя вид глушеного судака. Между прочим, ты мне обещал набойки на сапоги сделать, победитовые. Чтобы на всю жизнь.

– У женщины и на всю жизнь? Не смейся.

– Хочется, чтобы дом был на десяток кварталов дальше, а он уже рядом... Все, спасибо. Мне прямо, тебе направо. Главное, что ты не струхнул. Там опять, наверное, стоит этот тип с приятелями. Семеро одного не боются.

Отрицательно мотаю головой, глаза чуть прикрыв для эффекта:

– Обещал, значит, провожу, хотя и не помню, когда согласился.

Надо испить чашу глупости до дна.

Хмыкнула неопределенно.

Лужи от дождя матовые. В левом ботинке хлопает. Скоро земноводными станем от дождей. Где она, рубиново-янтарная осень?

Не унимается:

– Я достала на субботу два билета в театр.

– Поздравляю.

– Можно тебя пригласить?

– Можно, но не нужно. Боюсь, что в субботу буду занят, дома надо делать капитальную уборку.

– Хочешь, я приду помогу, и мы успеем в театр?

– Не стоит беспокоиться. Пригласи кого-нибудь другого.

Приближаемся к цели.

– Зайдешь?

– Зачем? Чтобы потом сожалеть?

– Лучше сделать и жалеть, чем не делать и жалеть. У меня есть зверский кофе – пятки чернеют.

– Не хочу иметь черные пятки. Хочу спать. Страшно устал.

Отрываю взгляд от тротуара. Безразличие с надрывом. “Глаза твои – колодцы темные”. Сейчас что-то будет. Нет лучше способа обидеть женщину, чем сказать, что ты ее не хочешь. Осторожность в словах, смелость в действиях – правило общения со слабым полом... Взорвалась:

– Надо меньше глазеть на практикантку, будешь лучше спать!

Ударить по розовому, жеманному, так хорошо знакомому лицу? Вместо этого бросаю:

– Я начинаю новую жизнь.

– С кем?

– Не язви. У меня, наверное, температура.

– Не расстраивайся: у всех нормальных мужиков вечером температура.

– С тобой невозможно разговаривать, придираешься к каждому слову.

Остановились.

– Иди быстренько обратно, я почти дома. Если все же возникнет непреодолимое желание позвонить мне, то пожалуйста. Бутылка коньяка тебя ждет уже целую вечность.

Дарит свой поцелуй жемчужный зарослям

щеки.

Топот набегающих ног. Снимаю очки. Какая неудобная позиция: голая стена. Нашу-пываю в кармане ключ.

Все закончилось довольно быстро. Взмахнул только несколько раз. Уложили на мокрый щербатый асфальт. Мысли отделились от тела. В глазах блики, блики, блики. Удаляющиеся шаги и липкая тишина.

Разговор через порог, без приглашения войти.

– Все сделали, как заказывала. С тебя причитается.

– Держи, – студеным голосом.

– Знаешь, я, пожалуй, в этих играх больше не участвую. Ты его все равно не удержишь. Да и зачем он тебе?

– Не представляешь, что он за человек. Его черные кудри на белой подушке – это безумие... Скажи, я красивая?

– «Как часто красота уродна, и есть в уродстве красота...»

Хлопок двери. Щелчок замка. Секунда, две, три... телефонный звонок.

– Конечно, лапушка, еще не сплю. Ублюдки. Сейчас выйду. Жди.

Положив трубку:

– И бойся меня, бойся.

Свет в окне горел всю ночь.



НЕУВЯДАЕМЫЙ СОНЕТ**СОНЕТЫ-ПОСЛАНИЯ**

В мировой поэзии существует жанр поэтического послания, в том числе и сонетного.

В русской поэзии он появился в конце XVIII века. В пушкинское время поэтическими посланиями обменивались многие русские поэты. В эпоху серебряного века поэты увлеклись сонетными посланиями друг другу. Несколько таких образцов мы и предлагаем искушенному читателю.

В мировой поэзии существует жанр поэтических посланий, а в нем есть сонетное подразделение (направление).

В нашей поэзии оно появилось в конце 18 века (Василий Майков, Михаил Муравьев) – 1775 гг. Однако расцвет сонетных посланий пришелся на период Серебряного века. Многие поэты тогда обменялись ими. Ряд образцов таких 14-ти строчных «писем» мы и предлагаем искушенному читателю.

Георгий ИВАНОВ**Игорь СЕВЕРЯНИН****СОNET-ПОСЛАНИЕ****СОNET***Игорю Северянину**Георгию Иванову*

Я долго ждал послания от Вас,
Но нет его, и я тоской изранен.
Зачем вы смолкли, Игорь Северянин,
Там, в городе, где гам и звон кирас?

Ночь надо мной струит золотой экстаз,
Дрожит во мгле неверный лук Дианин...
Ах, мир ночной загадочен и странен,
И кажется, что твердь с землей слилась.

Звучит вдали шопеновское скерцо,
В томительной разлуке тонет сердце,
Лист падает, и близится зима.

Уж нет ни роз, ни ландышей, ни лилий}
Я здесь грущу, и вы меня забыли...
Пишите же, - я жду от Вас письма!

(1912)

Я помню Вас: Вы нежный и простой.
И Вы – эстет с презрительным лорнетом.
На Ваш сонет отвечаю сонетом,
Струя в него кларета грез отстой.

Я говорю мгновению: "Постой!"
И, приказав ясней светить планетам,
Дружу с убого-милым кабинетом:
Я упоен страданья красотой.

Я в солнце угасаю – я живу
По вечерам: брожу я на Неву, –
Там ждет грезёра девственная дама.

Она – креолка древнего Днепра –
Верна тому, чьего ребенка мама...
И нервничают броско два пера...

1911

Игорь СЕВЕРЯНИН

БРЮСОВ

ЕГО воспламенял призывный клич,
Кто б ни кричал - новатор или Батый...
Немедля честолюбец суховатый,
Приемля бунт, спешил его постичь.

ВЗНОСИЛСЯ грозный над рутиной бич
В руке, самоуверенно зажатой,
Оплачивал новинку щедрой платой
По-европейски скроенный москвич.

Родясь дельцом и стать сумев поэтом,
Как часто голос свой срывал фальцетом,
В ненасытимой страсти все губя!

Всю жизнь мечтая о себе, чугунном,
Готовый песни петь грядущим гуннам,
Не пощадил он, - прежде всех, - себя...

1926

Валерий БРЮСОВ

ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ

Сонет-акростих с кодою

И ты стремишься ввысь, где солнце-вечно,
Где неизменен гордый сон снегов,
Откуда в дол спадают бесконечно
Ручьи алмазов, струи жемчугов.

Юдоль земная пройдена. Беспечно
Свершай свой путь меж молний и громов!
Ездок отважный! слушай вихрей рев,
Внимай с улыбкой гневам бури встречной!

Еще грозят зазубрины высот,
Расщелины, где тучи спят, но вот
Яснеет глубь в уступах синих бора.

Назад не обращай тревожно взора
И с жадной жаждой новой высоты
Неутомимо правь конем, - и скоро

У ног своих весь мир увидишь ты!

1912

В. БРЮСОВ

М. А. КУЗМИНУ

Акростих

Мгновенья льются, как поток бессменный,
Искусство радугой висит над ним.
Храни, храни, под ветром мировым,
Алтарь своей мечты, огонь священный!

И пусть твой стих, и пламенный и пленный,
Любовь и негу славит. Мы спешим
Улыбчивым созданиям твоим,
Как божествам, сплести венок смиренный,

Умолкли шумы дня. Еще размерней
Звучит напевный гимн в тиши вечерней,
Мелькают лики, вызваны тобой.

И мы, о мусает, как пред святыней,
Невольно клонимся, - и к тверди синей,
Увенчан, ты возносишь факел свой.

24 декабря 1908

М. КУЗЬМИН

АКРОСТИХ

В.Я. Брюсову

Валы стремят свой яростный прибор,
А скалы все стоят неколебимо.
Летит орел, прицелов жалких мимо,
Едва ли кто ему прикажет: "стой!"

Разящий меч готов на грозный бой,
И зов трубы звучит неутомимо.
Ютась в тени, шипит непримиримо
Бессильный хор врагов, презрен тобой.

Ретивый конь взрывает прах копытом.
Юродствуй раб, позоря Букефала!
Следи, казнясь, за подвигом открытым!

О лет царя! как яро прозвучала
В годах, веках труба немолчной славы!
У ног враги - безгласны и безглавы,

1908

Всеволод ЧЕШИХИН

ВЕНОК СОНЕТОВ НА МОГИЛУ М.Е. САЛТЫКОВА.

Всеволод Евграфович Чешихин (6 (18) февраля 1865 г., Рига - 14 декабря 1934 г., Ленинград), писатель, поэт, переводчик, литературный и музыкальный критик. Юрист по образованию, он с юношеских лет публиковал критические статьи (литературные и музыкальные) в рижских и столичных газетах и журналах, переводил с немецкого и других языков, занимался самостоятельным литературным творчеством. В 1895 г. за критический этюд «Жуковский как переводчик Шиллера» Всеволод Евграфович был удостоен медали Императорской Академии наук.

Стихи Чешихина довольно часто публиковались в Рижских периодических изданиях. Он был автором трех и подготовил четвертый стихотворный сборник. Чешихин создал несколько поэм и драм в стихах. В 1894 г. вышел первый его сборник «Стихи. 1887-1893 гг.», где был опубликован «Венок сонетов на могилу М.Е. Салтыкова», написанный еще в 1890 г. Этот венок сонетов хронологически находится между публикациями в 1889 г. русского перевода «Сонетного венка» Фр. Прешерна и в 1909 г. венков сонетов В.Иванова и М.Волошина и является первым оригинальным венком сонетов на русском языке.

В этой связи интересно вспомнить некоторые теоретические рассуждения Вс. Е. Чешихина. Вот цитата из его статьи «О форме в искусстве», опубликованной в 1891 году: «На форму в искусстве мы склонны еще до сих пор смотреть в высшей степени странно: мы предполагаем обыкновенно, что она есть элемент, противоположный содержанию, идее, элемент, к несчастью, необходимый и только стесняющий идею. Писатель, мол, велик тогда, когда запоминаются его мысли, а не фразы. Мы забываем аксиому Флобера: «Каждая мысль допускает только одно выражение, вполне совершенное, и достичь его - цель искусства». Если учесть, что эта статья опубликована в 1891 году, т.е. Д.С.Мережковский еще не прочитал доклад «Причины упадка русской литературы» (1892), и еще не вышли сборники В.Я.Брюсова «Символисты» (1892-1894), то получается, что Вс.Е.Чешихин очень точно ощущал те веяния в искусстве своего времени, которые в первой четверти XX века стали кардинальными для поэзии «серебряного века». Возможно, в этой связи не случайно он стал и автором первого в русской поэзии оригинального произведения в такой изысканной форме как венок сонетов.

ПОДКОВЫРОВА Вера Григорьевна,
кандидат филологических наук

1

Тебе венок, сплетенный из созвучий!
Пусть он лежит на камне гробовом
Благоуханный, яркий и живучий!
Не вянет он под солнечным лучом,

Не обрывает вихрь его летучий.
Прими его. Цветы и лавры в нем,
И перевит дубовым он листом,
И меж лилей змеится терн колючий.

Как символ славы, доблести твоей,
Гражданственных и мировых скорбей,
Пусть он украсит милую гробницу...

О, вознеси мой дух от суеты
И вдохновенья в нем зажги зарницу!
Тебе мои все лучшие цветы!

2

Тебе мои все лучшие цветы!
Кому ж, как не тебе? – Мы так глубоко
Спустились в грязь духовной нищеты —
И нет тебя, великого пророка!

Ты нас будил. Твой голос с высоты
Над нами неся вольно и широко,
И светоч твой был страшен для порока,
И мы своей стыдились наготы!

Но кто ж тебя сменил, незаменимый,
Страдающий, любящий Прометей,
Отверженный и горячо любимый?

Гиганта меч подымет ли пигмей?
Утешится ль в потере неминучей
Отчизна-мать, о гражданин могучий?

3

Отчизна-мать, о гражданин могучий,
Тебя любила: был твой меч остер,
Когда врагов ты поражал, кипучий!
Но лишь один ты бился! О, позор!..

Я видел: дуб в венце зеленых сучий
Был окружен лозой гнилой, ползучей.
Объятья он над нею распростер
И звал к себе на волю, на простор.

Я думал: «Богатырь! Склонись уныло
Своей главой, сияющей в лучах!
Лозе убогой ты внушаешь страх!

То молодое племя слабо, гнило!»...
Отчизна-мать несет тебе цветы,
Слагает их у гробовой плиты!

4

Слагает их у гробовой плиты
И горько плачет: где ее надежды,
Ее сыны, опоры и щиты?
Еще один сомкнул навеки вежды!

Кто выведет на свет из темноты?
Уже не те ли злобные невежды,
Что мудрецам готовят лишь кресты,
Чтоб жребием их поделить одежды?..

О, горе, горе! Кто сменит тебя?
Не погубила ль смерть, вождя сгубя,
И строй его, ничтожный и зыбучий?..

Но даже чисто, пламенно скорбя,
Я выражу ль порыв печали жгучей? —
Я знаю, слаб мой стих, мой стон певучий!

5

Я знаю, слаб мой стих, мой стон певучий.
Нет! Не поймет мечтательный певец
Тебя, пророк, мыслитель и боец!
И может ли понять цветок пахучий,

Долины тихой радостный жилец,
Всю красоту скалистой, грозной кручи,
Вздымающей угрюмый свой венец
Под стрелами молниеносной тучи?..

Но кто ж тебя достойно величал?
Лились слова и слезы над могилой,
А голос правды смело ли звучал?

Звучал ли гимн надежды с чудной силой? -
Нет, наши Музы робки и пусты,
И не воспет — оплакан только ты!

6

И не воспет, оплакан только ты!..
Не странно ли певца негодованья
Слезой чтить, слезой сироты,
Исполненной бессильного страданья?

Не погребальный гимн, и не рыдания, —
Пусть льется песнь от сердца полноты
Бесстрашия, хвалы и упования,
Восторга песнь у гробовой плиты!

Такая песнь слышна порой чрез звуки
Твоих скорбей! Не ты ль вплетал, певец,
Цветы веселья в мрачный свой венец,

В венок терновый скорби, гнева, скуки,
Багрявший кровью строгие черты?..
Но в том венке довольно красоты!

7

Но в том венке довольно красоты!
Язвил чело он также Ювенала!..
И желчию, и кровью залиты
Сердца обоих! Вас всегда терзала

Одна печаль! И жертвой клеветы
Вы были оба! — Если ж распускала
Все паруса его сатира, ты
Их подбирал: их буря разрывала!..

И замолкал ты, в гневе и тоске,
Тогда вдвойне твоя болела рана,
И света ты не видел из тумана,

Нависшего вблизи и вдалеке ...
Ты видишь ли потомка взор могучий?
Блестит он слезою чистой, жгучей!

8

Блестит он слезою чистой, жгучей,
Которая прожжет скрижаль времен,
Твое отметит имя в пестрой куче
Блестательных, заветнейших имен! —

Но что для нас той славы шум и звон?
В пустыне жизни где наш ключ гремучий,
Твой вдохновенья ключ? Иссякнул он!
Кругом же нас — один песок горючий.

Иль нет, кругом — стоячая вода,
Сцепленная броней сплошного льда;
Нет солнца сверху, снизу нет движенья,

Лишь греза чуть шевелится, со сна...
Пророк скончался в дни оцепененья!..
Забвеньем смерть могуча и страшна!

9

Забвеньем смерть могуча и страшна
Тому, кто был «забытых слов» учитель,
Был ревностный и пламенный служитель
Всего, чем жизнь для мудрецов красна.

Страшит ли гроба тесная обитель
Того, кому и жизнь была тесна?
Как побежденный, так и победитель
Вслед за борьбою жаркой алчут сна.

Но умирать вождем на поле брани
В тот миг, когда колеблется судьба
И предсказать еще нельзя заране,

Чем кончиться неравная борьба, —
Такая дума омрачит кончину
Бесстрашному герою-исполину!

10

Бесстрашному герою-исполину
Не жизнь мила, не славы тень и дым
И не покой: источник гор долину
Не украшает озером немым, —

Но скачет он с вершины на стремнину,
Борьбы стремленьем полон он святым,
И ищет он герой и пилигрим,
Таинственную истины пучину.

О, если бы он тысячи ручьев
С собой увлек невольно по дороге —
Но где ж они? А путь далек, суров...

И в очи смерти богатырь в тревоге
Глядит: пришла не во время она!
С ней крадется забвения волна!..

11

С ней крадется забвения волна,
И если мы его забудем — ляжет
На совесть нашу тяжкая вина!
Теперь он мертв. Он ничего не скажет,

Не опровергнет. Смерть его развяжет
Язык лжецу — пигмею не грозна
Богатыря могила — не уважит
И праха он. ...О, будь ему верна,

Отчизна-мать, и доблестному сыну
С предательством позорным не готовь
Забвения вторичную кончину!

Щадят забвенья волны лишь любовь.
Кто позабыт — не выплывет уж вновь:
Волна влечет в бездонную пучину!

12

Волна влечет в бездонную пучину
Певцов угрюмых гнева и скорбей,
Спускающихся в темную долину
С скрижалями в сиянии лучей,

И гениев, подобных Аладину,
С волшебной лампой творчества детей,
То строящих, то рушащих храмину
Мечтания, по прихоти своей!

Но сами дети, любим мы поэтов.
Для нас пророки — род ходячих книг,
И мы не чтим великих их заветов.

Над их могилой плачем мы. Но миг —
И мы уже забыли без помину
Святую нашу, чистую кручину!

13

Святую нашу, чистую кручину
Да сохраним в душе своей, пока
Мы чувствовать способны хоть слегка
Страны родимой горькую судьбину!

Была б жива печаль по гражданину,
И грусть отчизны станет нам близка —
Она наполнит сердца нам пучину,
Как ночь тиха, как море глубока.

И, может быть, полны народным горем,
Упавший светоч правды и ума
Подхватим мы — и снова дрогнет тьма!..

С забвением, о други, мы поспорим!
Безжалостна великая волна!..
Но мой венок да пощадит она!

14

Но мой венок да пощадит она!..
Ничтожен он — хоть есть и в нем заслуга.
Когда толпа беспечна, холодна,
Сильней звучит сердечный голос друга, —

И, может быть, душа, хотя б одна,
Из тишины ленивого досуга
Пробудится, воспрянет без испуга,
И возгордится пылом Щедрина!

Да будет он бессмертия залогом,
Венок мой скромный, — ясный и живой,
Пусть он лежит пред вечности порогом!

Пока забыт не будешь ты молвой,
Не будет вянуть мой венок пахучий!
Тебе венок, сплетенный из созвучий!

15

Тебе венок, сплетенный из созвучий!
Тебе мои все лучшие цветы!
Отчизна-мать, о гражданин могучий,
Слагает их у гробовой плиты!

Я знаю, слаб мой стих, мой стон певучий,
И не воспет, оплакан только ты, —
Но в том венке довольно красоты:
Блестит он слезою чистой, жгучей!

Забвеньем смерть могуча и страшна
Бесстрашному герою-исполину!
С ней крадется забвения волна!

Волна влечет в бездонную пучину
Святую нашу чистую кручину —
Но мой венок да пощадит она!

24 февраля 1890 года



ПРОЗА XXI ВЕКА

Татьяна ДУПЛИНСКАЯ

МИХАИЛ, КНЯЗЬ БЕЛОЗЕРСКИЙ, или ВОЗВРАЩЕНИЕ АГНИИ

Повесть о первых Ростово-Белозерских князьях

ПАТРИОТИЗМ И ДУХОВНОСТЬ

Прошлое – мать настоящего, гласит известный афоризм. Недостоин будущего народ, который не уважает своего прошлого – вторит ему другой.

Как это все избито, как надоело! – произнесет, может быть, иной читатель и поспешит отложить в сторону книгу, которую держит сейчас в руках. Но будет ли он прав? Не так уж много лет прошло со времени пресловутой горбачевской "перестройки", которая загнала наше многострадальное отечество в тупик и привело его к развалу. Именно тогда эти незыблемые, казалось бы, истины не только ставились под сомнение, но и подвергались наглому, циничному осмеянию и поруганию. Результат не замедлил сказаться.

Мало-помалу народ прозревает и освобождается от радикалистского дурмана. Все чаще левизна и историческая беспамятность уступают место здоровому консерватизму, о котором столько писали лучшие отечественные литераторы, мыслители и публицисты. Все ярче проявляется с к р ы т а я т е п л о т а п а т р и о т и з м а, воспетая еще Л.Н.Толстым. Мыслящие русские люди обращаются к событиям давно минувшим, дабы найти ответы на жгучие вопросы современности и не терять надежду на грядущее возрождение России.

Именно поэтому жанр исторического романа и повести ныне приобрел особую актуальность. И, конечно, любителям и поклонникам исторической литературы интересно будет познакомиться с новой повестью Татьяны Дуплинской.

Татьяна Дуплинская в литературе не новичок. Она уже успела стяжать известность стихами и критическими выступлениями в коллективном сборнике "Радуга над Лугой", журнале "Рог Борея" и некоторых других периодических изданиях. Отдельными книгами вышли ее поэтический сборник "Дебют", а также "Русь опаленная", куда вошли лирика, главы из поэмы о святом благоверном князе Александре Невском и историческая повесть "Судьбы как птицы", главная героиня которой – княгиня Агния.

На страницах новой повести Т. Дуплинской "Михаил, князь Белозерский, или Возвращение Агнии" читатель вновь встретится с княгиней-подвижницей. Может быть – неожиданно для многих: ведь в конце предыдущей повести героиня гибнет. Однако здесь она предстает как святая, как невидимая заступница, готовая прийти на помощь благочестивому герою, уповающему на помощь Божию и на святых, ходатайствующих за человека пред Господом. Все действие повести окутано атмосферой чуда, которая столь разительно контрастирует с тяжелой, безрадостной эпохой татарского ига.

В эту эпоху, как и во всякое безвременье, удивительным образом сочетались героизм и корысть, подвижничество и измена, благочестие и разгул темных сил (вспомним ярко обрисованный писательницей эпизод с колдуньей). Все эти антитезы играют громадную роль в повести и придают ей выразительность и динамизм.

Богатейший и благодатнейший материал поставляют Т. Дуплинской летописи. В повести действуют исторические персонажи, хотя есть и вымышленные герои. Не исключено, что кому-нибудь покажется несвоевременным достаточно резкое деление героев повести на положительных и отрицательных. Однако такую художественную задачу писатель ставит перед собой совершенно сознательно. Только положительная историческая личность способна к созиданию, считает Т. Дуплинская, и только в трудностях и испытаниях, через которые она проводит своих героев, выковывается их характер, приумножается мудрость и закаляется дух. На этих аксиомах и строит свое повествование писательница, которой глубоко чужд лозунг искусства для искусства. Задача писателя – учить и воспитывать, убеждена Т. Дуплинская.

Пафос повести "Михаил, князь Белозерский, или Возвращение Агнии" – духовно-патриотический, православный. С любовью и тщанием Т. Дуплинская стремится воссоздать жизнь и быт средневековой Руси, детально описывая ее неповторимые реалии. Чтобы достигнуть поставленной цели, писательница богато декоративизирует речь героев древнерусскими и церковнославянскими заимствованиями. Посредством стилизации она стремится привить читателям вкус к церковнославянской речи. Это тем более актуально, что нет-нет да и раздаются голоса новоявленных обновленцев, что надо-де перевести все богослужение Русской Православной церкви на современный русский язык, не понимая, что это приведет к громадным и невозполнимым потерям (о чем предупреждал, между прочим, покойный академик Д.С. Лихачев) Может быть, иной специалист-филолог и отыщет в диалогах персонажей какие-нибудь лингвистические неточности. И все же язык повести – как прямая, так и авторская речь – достаточно гибок, красочен и богат.

Проза Т. Дуплинской отличается образностью, поэтичностью и лиризмом – не будем забывать, что это проза поэта. Сопоставляя повесть "Михаил, князь Белозерский, или Возвращение Агнии" с более ранними сочинениями писательницы, нетрудно отметить ее совершенствование и творческий рост.

Новая повесть Т.Дуплинской позволит читателю, равнодушному к судьбе Отчизны, погрузиться в

атмосферу седой старины, увидеть дела давно минувших дней, встретиться с полюбившимися героями, а также пополнить свою библиотеку еще одним хорошим историческим сочинением.

Андрей РОДОССКИЙ,
член Союза писателей России, лауреат премии
"Хрустальный стих"

«Я назвал бы Россию Голгофою, Но Голгофа одна на земле».
/Иеромон. Роман/

«За бесчисленные грехи наша чим нас Господь не смиряет, и каких казней не посылает, и кому нами владети не повелевает».
(Новая повесть о Российском царстве и великом государстве Московском. дек. 1610 или янв. 1611 г.)

«Не в силе Бог, а в правде»
(Св. блгв. кн. А. Невский)

*«Рыдают гуси, клином размежив
Поля небес, изрытых облаками,
Моя душа над родиной летит,
Обняв ее бесплотными руками».*
(Белозерский поэт Алексей Шадрин, погибший 19-ти лет от роду)

ГЛАВА I

Раскаленное изжелта-белое солнце третью седмицу ловко вскарабкивалось на высшую точку небесной тверди и, зависнув там надолго, неохотно опускалось потом за низкие розоватые гребни лесов далеко на западе.

Стояла иссушающая все живое жара. Такой жары старожилы давно не помнили. Не слышно было ни птичьих голосов, ни обычного шуршания полевков, ни хруста веток под ногами лесных великанов лосей, не видно было мелькания вевериц (белок – было бы правильнее).

Казалось, солнце спалит само себя.

Полевые травы июля скрутились в пожухлые безжизненные жгуты, тоскливо и редко прикрывающие землю то здесь, то там...

Ни дождевики, ни облачка...

Только пылающая изнутри желто-оранжевая чаша неба, опрокинутая над головой... и следы, оставленные на земле, превращенной безжалостным солнцем в песок... Следы и приглушенные стуки от копыт неуверенно бредущего, еле живого коня... Тук-тук-тук... И едва держащийся в седле, пригнувшийся к луке, всадник. Они, двое – конь и человек – только-только выбрались из тимения – болота почти высохшего, но все же источающего ядовитые и смертельно опасные для всего живого пары разрушаемого зноем багульника.

Сколько времени провели они в пути, пересекая высохшие ручейки и огибая обмелевшие речонки, из которых нельзя было напиться? Счет сему был потерян.

Перед глазами всадника вставала одна и та же картина: он сам, совершенно выбившийся из сил, становится на колени и двумя кинжалами роет яму, разбрасывая на две стороны

песок. А рядом стоят два коня, и лежит тело последнего оставшегося подле него воя – оруженосца Филиппа.

Слезы капают из глаз юноши, а он продолжает, не вникая им, упорно выгребать из воронки осыпающуюся туда без конца сухую, как пыль, землю.

Потом она падает на грудь оруженосца, и рыдания юноши прерывают установившуюся на жару мертвую тишину.

– Почто, друже мой, Филиппе, покинул ты мя? – причитает незнакомец. – Не выбратся мне самому из этих пагубных мест!

Слезы катятся по давно немывтым ланитам его, прочерчивая узкие кривые дорожки до самого подбородка. На безусом, почти детском лице лежит печаль неземной тоски. Серые усталые глаза скорбно, с мольбой поднимаются в небо.

– О Боже! Почто ты покинул нас? Дажь ми силы хотя бы выполнить свой долг христианина – схоронить верного меченошу! – и снова, теперь уже пригоршнями, выгребает он из язвыны землю.

Наконец, яма становится достаточной, дабы принять в себя рослого дружинника. Юноша с трудом подтаскивает к ней отяжелевшее тело, скатывает его в нее и насыпает над останками могильный холм. Затем втыкает в середину песчаной горки совершенно высохшую маленькую, напоминающую собой четырехугольный крест, елочку. Лишние ветки дерева он при этом обламывает.

С трудом влезая на коня, вспоминает юноша наказ опытного в воинских делах оруженосца: «Господине, помни, что говорю тебе, ежели один останешься. Дондеже до граду с лекарями не доберешься – рану перевязанную не разматывай. Опасная она! Истечешь кро-

вухой – не вернешься к родному батюшке твоему...»

Слова мечника звучат глухо, будто из-под земли. Княжич долго силится и, наконец, привязывает его коня к своему серому в яблоках скауну. Конь Рынды неожиданно начинает хрипеть и валиться на бок.

«Конец!» – мелькает у княжича тоскливая мысль. Мечом рассекает он узел, связывающий обоих жеребцов, и рыжий конь оруженосца, закатывая глаза и хватая воспаленными губами повод, тут же выпускает дух.

«Един, совсем один! – обреченно думает княжич. – Куда податься?» – и начинает рассуждать вслух:

– Паки немного без питания и брашна и наши с Верным кости останутся лежать в сей иссохшей земле...»

За размышлениями княжич не замечает, что конь бредет куда глаза глядят.

"Еще чуть-чуть – и конец! Еще чуть-чуть – и конец!" – навязчиво стучит в висках.

Неожиданно копыто коня задевает за что-то твердое. Раздается высокий пронзительный звук. Изнеможенный от дороги всадник свешивается через луку седла лишь в силу привычки примечать все происходящее. Свесился – и оторопел. Оглянулся окрест: он въезжал на пепелище какого-то неизвестного ему прежде града. Предметом, издавшим звук, оказался шар, на большую часть свою засыпанный песком. Обессиленный юноша сполз с седла и протянул руку к нему, сверкающему золотым теменем, потом решил выкопать его из песка, совсем забыв о том, что сверху немилосердно палит дневное светило, а сам он вместе с конем в двух шагах от смерти: какая-то сверхъестественная сила влекла всадника к сокрытому под слоем песка предмету, вливая в изможденную плоть человека бодрость.

Ну, вот, наконец, шар выкопан! Юноша онемел от удивления: он оказался боевым княжеским шлемом весьма искусной работы! Вытряхнув из находки песок и протерев поверхность, княжич повертел ее в руках, не понимая, что с ней делать и хотел было выбросить уже за ненадобностью, как вдруг заметил замотавшуюся за забрало тонкую прядь длинных волнистых волос.

«Не иначе, яко жена надевала шлем!» – подумалось ему и потянуло вдруг поднять глаза вверх: всем нутром ощутил он совсем рядом с собой, в сей опаленной солнцем местности, присутствие кого-то. Подняв глаза, он тотчас пал ниц: перед ним в огненном сиянии, прямо как на иконе, стояла женщина в синем хитоне и пурпурном плаще с младенцем на руках! Юноша не осмеливался поднять головы и готовился в миг сей к самому худшему – к смерти!

– Не бойся мя! Подымись! – сказала ласково женщина. – Ты не умрешь, княже! Встань же! – мягко, но властно потребовала она.

Повинуясь ее голосу, который к тому же добавил ему сил, княжич начал подниматься с земли.

– Отыди, зраке! Не верю я тебе! Не ведаю, от Бога ты, от дьявола! Аще ты – Пресвятая Дева – наипаче от мене отыди! Грешный аз есмь! Тебя я несмь достоин видеть! Отыди! Умоляю! Свят! Свят! Свят! – и княжич трижды изобразил в воздухе крестное знамение.

Образ не исчезал.

– Я – не Дева Пресвятая. Я – княгини Агния, защищавшая град от татар. На его пепелище стоишь ты теперь. Все до единого защитники его погибли. Иные же в огне сгорели. Се мой шлем сейчас в твоих руках! Так испей же из него, княже Михаиле, и напои коня! – женщина совсем неожиданно назвала юношу по имени.

Княжич с изумлением увидел, что шлем в руках его до краев полон чистой прозрачной воды. Не раздумывая – так велик был соблазн – припал он губами к краю шлема и стал с жадностью пить. И показалось ему, что вода была немного смешана с вином. Она не убывала. Юноша подставил шлем коню, и тот с радостным ржанием сунул в него свою серебристую в белых пятнышках морду. Вода в шлеме не убывала по-прежнему.

А женщина с младенцем на руках смотрела на них с кроткой лучезарной улыбкой, и неземная любовь освещала прекрасные черты ее лица.

– Скажи, госпожа, откуда ведомо имя мое тебе? – напившись вдоволь и напоив скакуна, вскинул на женщину свои бархатисто-серые отцовские глаза юноша.

Вместо ответа протянула Агния Михаилу огромный, неизвестно откуда взявшийся ломоть свежего хлеба.

– Да будут тебе вода сия и хлеб сей в подкрепление духовное и телесное. На вопрос твой отвечу тебе, дитя. Там, откуда пришла я, о вас знают все. Господь послал мя помогать тебе в делах, дондеже не окрепнешь ты в вере и не сможешь обходиться без помощи моеи. Появляться буду всякий раз, когда тебе особо трудно будет и попадать ты будешь в положения, самые казалось бы безвыходные. Рану твою исцелять я не стану, дабы приобучался ты терпению, как будущий вой, и навыкал обращению к Богу с молитвой. Лекарь же ваш, Захарий, да потрудится во славу Божию...

Михаил еще раз удивленно взглянул на княгиню.

– Теперь и ты, и конь твой в силах добратся до дому. Ехать осталось недалеко – около

полми поприща[†], и Верный твой вмиг донесет тебя.

Княгиня Агнии покачала рукой несколько левее того места, куда нехотя опускалось вечернее, излучающее тяжелый зной, багровое солнце.

– До сретения, княже! – и женщина растаяла в воздухе, ничуть не поколебав его.

Княжич Михаил еще потоптался на месте, надеясь, что Агния исчезла не совсем, еще поглядел на шлем, положенный на землю тот оказался пуст; снова взял его в руки и прижал к груди. Потом с сожалением осмотрел место, где он только что стал самовидцем сотворенного Богом чуда, сел на коня и поскакал в ту сторону, где по утверждению Агнии находился его родной град – Белозеро.

К концу перехода, однако, неожиданно-негаданно он занемог, словно и не получил столь весомой для него поддержки, и на подъезде к граду будто сквозь сон видел неподалеку от главных врат иную незнакомку, кротко взглянувшую на него из-под злотистых длинных ресниц и тотчас скрывшуюся в толпе народа и княжеских привратников, издали увидавших княжича и бросившихся ему навстречу.

– Треба Захария позвать! Лекаря позвать!!! – наперебой закричали они. И кто-то в белом бросился в сторону княжьих хором.

Михаил почувствовал, как его заботливо снимают с коня сильные мужские руки, и тут же провалился куда-то и будто вовсе перестал существовать на свете.

Очнулся он в маленькой чистой горенке лекаря Захария. Проткнутый сулицей[‡] бок ныл, напоминая о случившемся в языческом стане, но тугая повязка, наложенная поверх чресел и приятно пахнущая настоем трав, приносила успокоение.

Измученный утомительной поездкой, Михаил, впервые за последние три дня глубоко и облегченно вздохнув, улыбнулся, не открывая глаз.

– С ратным крещением тебя, сыне! – услышал рядом с собой он голос отца.

Княжич потянулся, повернув голову, и открыл глаза.

Князь Глеб с непокрытой головой стоял на коленях у его ложа. Рядом, радостно всматриваясь в лежащего, потряхивал иссиня-черными до плеч доходящими волосами старший брат Михаила – Демьян.

– Сказывай, Захарие, – обратился к лекарю Глеб Василькович, благополучен ли будет исход?

– Тако, господине! – незамедлительно и весьма уверенно ответил тот, прижимая к груди сероватую склянку с каким-то зельем. –

Рана тяжелая, и непонятно, коим чудесным образом княжич уцелел и добрался до града? Како остался жив он? Теперь, однако ж, травка свое сделала... Будет жить голуб наш сизокрылый...

Лекарь подошел к ложу больного и снял с чела его вчетверо сложенную тряпицу.

– Добре! – облегченно вздохнул князь и поднялся с колен. – Подождем седмицудругую – пусть рана затянется, а там поговорим, что случилось в пути-дороге и почто из всех княжич один возвернулся.

С этими словами Глеб Василькович обернулся к сыну, ласково дотронулся сильной дланью до чела раненого и, подав знак Демьяну, тихонько вместе с ним вышел из горницы.

Г Л А В А II

Прошли показавшиеся долгими для близких полторы недели. Княжич при заботливом уходе травника Захария и почти неотлучном сидении подле него постельничьего Григория, валившегося с ног, заметно окреп и пошел на поправку. Всегдашняя его чуть застенчивая и вместе с тем волевая улыбка заиграла на открытом лице.

В день воскресный о здравии отрока Михаила отслужен был молебен самим епископом Ростовским Игнатием, приехавшим по приглашению Глеба Васильковича для решения весьма важных дел. С сего самого момента и почувствовал себя Михаил совсем здоровым. А просфору, которую принес княжичу после ранней литургии его заботливый лекарь, юноша разделил на четыре части. Одну из них он тут же благоговейно, с молитвой, потребил, а три другие отложил про запас в маленький, скованный медью "церковный", как сам он его называл, ларчик, где находились свечи, привезенные не так давно одним заезжим купцом из самого Иерусалима, ладан и другие благовония, а также запасной нательный крестик, подаренный княжичу его духовным отцом.

Улыбаясь, спускался княжич с крыльца лекарьской пристройки, расположенной с западной стороны княжьих хором, дабы пройти двором и, обогнув здание, подняться по парадной лестнице в отцовские палаты. Опираясь спиной о косяк дверей, наблюдал за ним верный врач его.

Михаила немедля окружила с томлением поджидавшая его, шумная ватага сверстников – детей барских – и несколько гридней, вкуче с которыми ездил он почти на все ловитвы, а также младшие братья – Василий и Роман, пристроившиеся к нему с обеих сторон и тотчас начавшие дергать его за руки и за одежду. Их почтительно пропустила к княжичу боярская ребятня.

[†] **Поприще** – мера расстояния, равная одному дневному переходу /около 20 верст/.

[‡] **Сулица** – дротик.

Свежий воздух, влившийся в грудь, заметно оживил Михаила. Легкий румянец вспыхнул на его щеках.

Погода начала меняться, и княжич сие заметил: спал изнуряющий до смерти зной, с севера потянулись легкие облачка, прозрачной перистой рябью затягивающие весь небосклон. И ветерок, чудесный, долгожданный, стал продувать прилипавшие к телу одежды...

– Тпру! – остановил подле Михаила в паре со своим вороном серого в яблоках жеребца старший брат Демьян. – Поедешь верхом?

– Пешим пойду, – откликнулся Михаил и, подойдя к своему коню, радостно потрепал его по жесткой, коротко остриженной гриве, поцеловав чуть пониже левого глаза, взял за чембур и, отвязав от Демьянова скакуна, повел к парадному крыльцу палат. Впереди на вороном по кличке Тирон* ехал шагом старший брат. Гривы, боярские дети и челядь двинулись за ними. Встречный люд, в пояс кланяясь, приветствовал Демьяна с Михаилом.

Вдруг у самых ступеней крыльца дорогу им перегородил неизвестно откуда взявшийся кривляющийся и хохочущий, петляющий на полусогнутых ногах старый лысый человек. Рваное полуистлевшее рубище едва прикрывало худые его рамена, обугленные до черноты недавно палившим солнцем. Непрестанно колотил он себя по груди и спине звенящими громко веригами, выкрикивая при этом хриплым голосом какие-то слова.

– Юродивый! Юродивый! – слышались отовсюду испуганные и в то же время восхищенные голоса девушек.

Юродивый, которого знали под именем Василий Рарога, оказался у крыльца княжских палат прежде княжича Михаила. Поднимая вокруг себя пыль полусогнутыми ногами, он продолжал кричать, как поначалу казалось, что-то невнятное.

А на крыльце терема встречали Михаила отец – князь Глеб Василькович, – в алом плаще, подбитым горностаем, и клобуке, старая мамушка Настасья в большом цветастом платке, покрывающем голову, плечи и грудь, бояре, челядь, подъехавший и остановившийся у ступеней Демьян, супруга его, Наталья, другини почившей в лето 1274 супруги князя Глеба Феодоры, урожденной монгольской княжны, дочери хана Сартака, внучки Батыя.

– Слухай, княже! – кричал, продолжая бить себя в грудь только теперь не веригами, а кулаками, юродивый – цепи он закинул за спину. – Змея жаждает проникнуть в прекрасный сад и умертвить хозяина, дабы овцы хозяйские ей подчинились и владеть она ими стала!

Тут блаженный бросился на колена, ис-

тошно завопил, подняв колючие, похожие на сучья засохшей березы, голы руки, подполз к самому крыльцу, на нижней ступени которого стоял Глеб Василькович, и ткнулся головой прямо в сафьяновые сапоги князя.

Мамушка Настасья, присутствующие женщины и челядь в испуге отпрянули от юродивого. Никто не понял смысла слов его, но многие сердца от боли сжались в предчувствии недоброго, чего следовало ожидать в грядущем.

– Пшел прочь, плешивый пес! – носком сапога прямо в переносицу пнул его боярин Мстислав Никитич, лицо которого потемнело при последних словах Рарога и стало похоже на грозовую тучу. – Вытолкать его за врата градские! – приказал он своим дружинникам.

Из носа блаженного закапала кровь, а по обеим сторонам от него с готовностью выполнить приказ хозяина тотчас встали боярские слуги.

– Ой, быть беде! – тихонько всхлинула кормилица князей Настасья. Вслед за ней на крыльце зарыдали еще несколько жен.

Зеницы глаз у боярина то сужались, то расширялись:

– Ин раз увиде zde – велю в твердыню на съеденье крысам бросить!

– Боярине Мстиславе! – раздался голос князя Алеба. – Господь поругаем не бывает! Ответишь ты за поношение блаженного. По местам! – приказал он слугам боярина.

Приказ был выполнен неохотно, с заметным промедлением. Мстислав Никитич недовольно из-под насупленных бровей взглянул на князя.

– Поднять блаженного! – обратился Глеб Василькович к воинам из своей охраны. – И пусть Захарий умоет его, остановит кровь, а вы отведите его в трапезную. И да накормят его там, чем пожелает...

– Благословен ты еси, княже! Любит Господь тебя и испытывать тебя хочет! – обратясь к князю, сказал юродивый, зажимая ладонями ноздри. Меж перстами, по тыльной стороне кистей рук его струилась кровь. – Руда не водица – придется расплатиться! – многозначительно произнес блаженный, взглянув в сторону насупленного боярина.

И мамушка Настасья, и другие рыдающие жены уведены были в верхние покои палат, юродивый – в лекарскую, затем – в трапезную.

Отец раскрыл объятия навстречу второму сыну. Михаил бросился к нему.

– Слава Господу нашему – жив! – тронутый Божьей милостью, с любовью произнес князь. – И мужаешь не по дням, а по часам – вот бы мать усопшая видала!

Голова Михаила легла на широкую грудь отца, который ласково погладил чадо по свет-

* Тирон – /греч./ – воин.

лым выючимся волосам крепкой ладонью война.

У стоявшего тут же старшего брата Демьяна на лице в миг сей отразились весьма смешанные чувства – братской любви и ревности женатого, но бездетного первенца к младшему брату – надежде отца. А что сие было так – Демьян ничуть не сомневался, ибо все самые важные поручения князь Глеб возлагал на Михаила. Стало быть, готовил к князьему служению...

– А теперь епископ Игнатий и все мы жаждем узнать от тебя, как ездил ты к племени веси и о всем случившемся. Подыдемся, сынове, в сени. Тамо Владыка нас ожидает.

Бояре и гридни двинулись за князьями. Заскрипели ступени деревянной лестницы, и навстречу входящим с почетного места поднялся высокий, бледнолицый, с карими глазами и пышной, доходящей до самой панагии бородой епископ Ростовский Игнатий. Опираясь на позолоченный с резьбой посох, он легкой походкой приблизился к вошедшим.

Первым поспешил поклониться архиерею в ноги княжич Михаил, поелику давно не видал его, тогда как остальные успели уже побывать на литургии, отслуженной первосвященником.

– Благослови, Владыко! – попросил отрок и прижался устами к деснице, осенившей душу его благодатью согревающей и ласкающей. – Исполла эти деспота!*

– Владыко! – обратился к епископу князь Глеб. – Выслушаем сына моего о поездке. – И жестом обратился к присутствующим с приглашением занять широкие дубовые лавки, расставленные вдоль стен.

Архиерею отведено было почетное место – рядом с князем. Бояре же привычно расселись по своим местам в строго определенном порядке: ближе к князю – самые знатные и богатые, далее – победнее. Вокруг князя разместились все его сыновья: Демьян, Михаил, Василий и Роман. Глеб Василькович считал, что и младшие сыны сызмальства привыкать должны не только к играм военным, но и к званым пирам, к знакомству с делами княжества, кроме особо тайных, разумеется.

Рассказ Михаила был кратким, но потряс многих.

Поехал он с опытным бывалым воеводой Арсением Долгим, отрядом в 30 мечей и меченошей Филиппом, выяснить причины гибели пресвитера Никодима в стане веси. Священник послан был к язычникам епископом Игнатием с целью приведения их к вере истинной и крещению в православие. Но взбунтовались сыны языческие. Почто им нужен Бог в трех лицах, когда у них своих богов хва-

тает? Что ни род, ни семья – свой Бог! Бросили язычники связанного священника в костер живьем и затеяли у реки, вокруг огня, берез и расставленных камней – шаманскую пляску. В сей самой реки собирался крестить их иерей Никодим во имя пресвятой Троицы. Об этом Арсению Долгому и княжичу Михаилу, находившемуся под духовной и телесной опекой боярина, поведала одна из местных жительниц, тайная христианка, когда они с дружиной приехали в стан племени. Пепел сожженного пресвитера развеян был по ветру так, что и останков его захоронить доверенные князя не смогли.

На обратном пути, в лесу, среди деревьев, Михаил и отряд его попали под град ядовитых языческих стрел. Из-под лавины хвостатых посланниц вырваться удалось только самому княжичу и мечнику его, Филиппу, поскольку с самого начала ехали они впереди, язычники же сперва метали копья, ударами которых и были ранены княжич с оруженосцем. Рванулись кони прочь – и оказались всадники за пределами досягаемости стрел. Оглянулись – вся спира по главе с Арсением Долгим полегла на разбойном поле брани. А язычники продолжали со звериной жестокостью всаживать стрелы в мертвых и раненных, стонущих гридней с близкого расстояния. В несколько мгновений все было кончено. Михаилу с оруженосцем на осталось ничего другого, как от погони спастись. Это удалось... Потом они перевязали друг другу раны... Смерть рынды... Болото с багульником...

– Стало быть, 30 мечей мы потеряли... – задумчиво произнес Глеб Василькович, – ...и у нас теперь в наличии 520 мечей во граде, не считая мечей рынд...

Княжич Михаил продолжал рассказ о дальнейших своих злоключениях, а перед глазами боярина Мстислава всплывали картины недавнего прошлого. Ясно видел он сына своего, Олфера, стоящего на торжище у позорного столба. Купно с несколькими великовозрастными «отроками» забрался он ночью в храм, высадив сперва окно, ударом по голове оглушив пытавшегося кричать ночного стража, с помощью общников прихватил немало золота и драгоценной церковной утвари. Вылезая обратно, в спешке и испуге – ведь на подобное деяние решились они впервые – оставили «отроки» на подоконнике след сапог, а на петлях рамы – обрывки одежды, по которым вскоре и были опознаны. Двое из них после грабежа пытались убежать в Ярославль, откуда их, заловив по подозрению в продаже краденого, доставили в Белозеро гридни Великого князя Ростовского, оказавшиеся на тот момент в соседнем граде по велению его. Олфер же, уверенный в своей безнаказанности в силу прямой связи с именитым боярином и заслуг отца, и не думал бежать. Кроме того,

* **Исполла эти деспота!** – (греч.) – Многие лета, Владыко!

считал он, что никаких следов ровным счетом не оставил, а потому преспокойно отлеживался в доме родителя, когда за ним пришли гридни князя Глеба.

– Ты уже прости мя, болярине, – извинялся князь перед Мстиславом Никитичем, когда сына того розгами секли на городском торжище, как главного зачинщика святотатства, и весь град был свидетелем того. – Пусть он лучше теперь, чем послежде поймет вину свою, да и иным неповадно будет! – При словах сих покраснел князь, будто сам он, а не четверо великовозрастных "детей" был виновникам кощунственного отношения к святыне.

Боярин Мстислав плотно тогда затворил очи свои, и только дрожь прокатилась по скулам...

Последнего из соучастников обнаружили на большаке неподалеку от града. Доставили к князю перепуганного, с округленными глазами татя, два купца, направляющиеся со своими товарами как раз в Белозеро.

Трое сосланы были каждый на четыре года для исправления духовных немощей в монастырь Живоначальной Троицы, заложенный князем Глебом в Лето 1251 в устье реки Шексны. Олфер же из жалости, и, как сам полагал он, – за заслуги отца, – оставлен был князем во граде, однако по внешности юнца при сем совершенно нельзя было сделать вывод об истинном его раскаянии в содеянном: был он весел, оживлен, бесстыден с девушками. Ливонская кровь бабки его – страшной кознодейки – играла в нем. Зато перемены в отце

его, Мстиславе Никитиче, трудно было не заметить. В ночь едину поседела добрая половина его головы. Но винил он во всем случившемся не сына своего, не себя, возрадившего подобное чадо, а треклятого князя Глеба! Да будь ему пусто!..

...Михаил тем временем рассказ продолжал...

– Ларник, ты все записал, о чем zde говорено было? – и Глеб Василькович повернулся лицом к писцу, а к боярину Мстиславу боком, почти в одно время с Михаилом, которого жестом отвлек на себя сидевший ошуюю князя Антон Городня.

Мстислав Никитич внутренне вздрогнул: «Како подобен глуздырь* сей отцу своему! Такой же, поди-ты, самоволец будет! Найди-ка, попробуй потом на него упряжь! Ишь ты...»

Михаил закончил рассказ, осветив события во всех подробностях, не забыв и о смерти рынды своего, Филиппа. Только о встрече с Агнией и чудесном спасении своем, а также о необычайном шлеме княгини, привезенном с собой и спрятанном в горнице Захария, благодарно умолчал...

– Вечная память! – встал со своего места епископ Игнатий, за ним – князь и все остальные. – Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: иерея Никодима, воя Арсения, воев Евфимия, Афанасия... Филиппа, на поле брани живот свой за веру положивших...

* Глуздырь – птенец.

Ольга АНИСИМОВА

НЕПРИКАЯННАЯ ДУША

Правдивая повесть для маленьких, или страшная сказка для пожилых детей

«Я-я-аков, Я-я-аков, я тебя жду, жду, жду!» – пропел над ухом Якова Ильича молодой, звонкий голос жены. Потом он услышал какой-то гортанный резкий смех, почему-то закончившийся сильным кашлем.

«Кира, ты где?» – попытался вслух проговорить Яков Ильич, но тотчас же резко открыл глаза. Ведь даже во сне он помнил, что его жена Кира умерла. В нескольких метрах от него на прибрежном песке сидела большая серо-белая чайка. Её профиль и впрямь напоминал профиль жены в молодости. Глаза чайки были круглые, светло-карие и чем-то похожи на глаза Киры. Чайка строго взглянула на Якова Ильича и взлетела в небо.

Яков Ильич отвёл от чайки глаза и увидел на голубом небе желтоватые от солнца облака, почувствовал размеренное дыхание Черного моря. Пляж жил своей жизнью, совершенно

не обращая внимания на пожилого отдыхающего. Две «нимфетки», в очень открытых купальниках, глупо и громко смеясь, неуклюже играли в бадминтон. Тут же на махровом полотенце возлежал кавказский парень, который наблюдал за ними сквозь темные очки, как хитрый кот, неподвижно следящий за веселящимися у хлебной корки воробышками. Уже совершенно проснувшись, Яков Ильич увидел себя лежащим на гальке почти у самой воды. Полуденное осеннее солнце грело и не жило его рыхлое тело.

...В тот день, когда Яков Ильич внезапно выехал к Чёрному морю из Питера, там монотонно шёл мелкий противный дождь. Грязно-серое небо, похожее на рванное ватное одеяло бездомного бродяги, низко висело над Северной столицей. Представить себе, что где-то там, в земном раю, люди гуляют без мокрых

зонтов, едят полурастаявшее мороженое и даже загорают – не представлялось возможным. Перед отъездом Яков Ильич дал слово своему участковому врачу Татьяне Сергеевне, что будет весьма разумен в выборе удовольствий. К этим удовольствиям она причисляла и загар. В общем, на юг Яков Ильич приехал без купальных принадлежностей и без лишних денег, на которые мог бы их купить. К тому же он не смог сдержать слово: почти каждый день ходил загорать, позволяя себе ещё и «маленькие слабости» – белый портвейн краснодарского розлива, а все санаторские процедуры Яков Ильич игнорировал.

Под головой у Якова Ильича был подложен пиджак (он боялся, что воры украдут у него деньги и документы), а сам он лежал под тентом санаторского пляжа без рубашки, но в почти новых драповых брюках от костюма и ботинках на босу ногу.

В той, «прошлой», жизни, чуть более пяти лет назад, этот костюм Яков Ильич сшил в ателье на своё пятидесятилетие. Модный однопортный пиджак на три пуговицы, брюки с лёгким клёшем от колена и жилет. Всё это – серо-голубого цвета в тон его кудрявых, с лёгкой проседью волос. Когда Кира увидела его в новом костюме, то на минуту замерла от восхищения: костюм на нём сидел «с иголочки». В те далёкие времена Яков Ильич этот костюм почти не носил – жалел. Зато часто его пришлось надевать в этой, «новой жизни», уже после сокращения.

Сократили Якова Ильича чуть ли не одним из первых в их проектном институте из-за его несносного гонора. Начальник отдела, старший по возрасту и должности, но с ещё незащищённой кандидатской диссертацией, чего-то там «недопонял» в работе Якова Ильича и сделал ему грубое публичное замечание, на которое тот тут же дал скорый и язвительный ответ. Старикан взорвался и начал грубо кричать на своего «остепенённого» подчинённого. Обиженный Яков Ильич тотчас написал заявление об уходе, а этот старый склеротик мгновенно подписал его, не уговаривая гордеца одуматься и остаться.

В отделе кадров формулировку «по собственному желанию» изменили на «сокращение штатов», чтобы Якову Ильичу ещё три месяца выплачивали среднюю зарплату, если он за это время сможет устроиться на работу.

Все сотрудники, с которыми Яков Ильич многие годы работал и вроде бы дружил, не заступились за него и «промолчали в тряпочку», следуя пословице: «Своя рубашка – ближе к телу. И дружба дружбой, а табачок – врозь!» Да только потом все они совершенно буднично, «не рыпаясь», словно бараны, тоже пошли под нож сокращения.

Вначале Якову Ильичу было даже забавным это внезапное безделье. Он был твердо

уверен, что быстро и найдёт себе новую должность. В этом, почти новом выходном костюме Яков Ильич и начал ходить по учреждениям, пытаясь поступить на работу. Вначале начальником отдела, потом – руководителем группы, потом был готов стать старшим инженером, затем – просто инженером или даже – техником. Нигде его, почтенного человека, не брали из-за его возраста, хотя в его трудовой книжке были одни благодарности.

Отечественное производство разваливалось. Заводы закрывались, выкидывая за порог инженеров и рабочих. Почему-то теперь вся продукция покупалась за границей. Ни инженеры, ни рабочие никому не были нужны. Как не были нужны учителя, писатели, библиотекари. В стране шло первичное накопление капитала. «Кто сумел – тот и съел, кто украл – тот заимел!» Словно бойкие воробы вороватые пассионарии создавали фиктивные фирмы и, обобрав простаков, отхватив для себя кусок покрупнее и пожирнее, тут же куда-то исчезали в небытие. За полгода можно было и разбогатеть, и дотла разориться.

В лексиконе обывателей появились новые слова, обозначающие современные или воскресшие из старых времён понятия: Новый Русский, челнок, криминальная крыша, рэкетир, босс, охранник и даже киллер. Красивые студентки или просто девушки из хороших семейств тайно взялись за самую древнюю профессию. Причём женщине быть у кого-то на содержании, или, как говорили теперь, «иметь спонсора», уже не считалось зазорным, а было большой удачей.

Страна стала походить на развороченный муравейник. Все люди в ней чем-то торговали, обманывали и, стараясь разжиться, давили и топили друг друга. Страсть к наживе, ставшая привычно-навязчивым психозом всего населения, почему-то привела к полному обнищанию большей его части. Зато быстро разбогатели хозяйственные и партийные чинуши! Эти твари, всплывшие на поверхность ещё в свои комсомольские годы, с дней учёбы в институте за громкие трибунные слова о преданности идеям коммунизма, так всю жизнь и не ударившие палец о палец, живущие за счёт рабочего класса с особыми льготами, банкетными, путёвками.

Эти номенклатурные шлюхи обоёго пола, которые прежде публично рассуждали о моральном облике «строителя коммунизма», уж они-то должны были бы горой стоять за тот строй, но он-то ими и был тотчас отброшен и предан. Дружной толпой рванули чиновники прочь из компартии, когда их поманила лёгким долларом хищная приватизация. Они тут же, перевернувшись в акробатическим прыжке на сто восемьдесят градусов, отпихивая и топча рабочего-гегемона, которого прежде должны были воспитывать, бросились захва-

тывать общественные фонды в свою частную собственность. Тотчас позабыв зазубренные со школы и института «Основы коммунизма», рванулись строить лично для себя «Основы капитализма». Удачливые ловкачи-миллионеры обзаводились недвижимостью в развитых капиталистических странах. Боясь, что всё ещё может повернуть назад, они быстро получали и местное гражданство. Депутаты поминутно ездили за границу, видимо, отчитываясь о проделанной работе своим иностранным хозяевам.

Оглуляемому народу стала не нужна наука, не интересна своя история, своё искусство, развитый и красивый родной язык; забыта объединявшая страну Православная религия. Разделяй и властвуй! В Россию хлынули какие-то синтоисты, иеговисты и прочие сектанты, щедро снабжаемые из-за рубежа. Многие слабые люди, видя такую жизненную несправедливость, кинулись в секты спасать в молитвенных песнопениях свою душу.

Этот способ спасения казался Якову Ильичу, даже если бы он верил в Бога, случаем «крайнего эгоизма». Значит, эти резвые люди отмолили себе Царствие Небесное и успели вскочить в него, подобно бесшабашным подросткам времён его юности на подножку мимолетущего трамвая, и, уже в вагоне, они смеялись и корчили оскорбительные рожи отставшим.

Совестливый и умный Яков Ильич осознал всё, что происходит в гибнущей стране, но ничего с этим поделать не мог. Ему хотелось забыться и ничего не видеть! Словно гордое дикое животное, он не мог переносить даже интеллектуального плена, считая, что лучше уж умереть, чем так жить! Он видел, что в

ближайшее время ничего не изменится, а если и изменится, то тогда, когда он будет совсем дряхлым и старым.

Тут-то и начал Яков Ильич лечить своё горе спиртным. Сначала пил рюмочками коньяк, затем стопками – водку, стаканами – портвейн, после разводил кипячёной водой в пол-литровой эмалированной кружке иностранный спирт «Рояль» из полиэтиленовой литровой бутылки и, наконец, дошёл до «красной шапочки» – спиртового очистителя стёкол, который разбавлял в пустой консервной банке водой из придорожной канавы!

Яков Ильич, как он считал, в своём пьянстве вовсе не был виноват, а было виновато «нынешнее жестокое время». Впрочем, его жена Кира так вовсе не считала. Ей казалось, что прежде в их жизни было – лето, а сейчас наступила долгая зима, которая тоже должна когда-нибудь кончиться, что на каждое поколение, как говорил Бисмарк, нужна собственная война или революционный переворот, как от себя добавляла Кира.

Кира решила выживать в этой, по сути уже ставшей чужой, стране. Она не хотела, чтобы люди гибли под девизом: «Каждый – за себя!» Ей нравился прежний братский девиз: «Все – за каждого!». Яков Ильич видел свою жену одиноким, обветшавшим листком, болтающимся на облетевшей, уже заснеженной ветке. Лист суетливо бьётся на стылом ветру и глупо верит, что он сможет повернуть время вспять и снова вернуться в прошедшее лето. Неразумная Кира пыталась помочь уставшим от несчастий людям, пыталась сохранить свой уютный мирок, в котором она жила до сих пор.

(Продолжение следует)

Алексей АХМАТОВ

ОДИН ДЕНЬ ДЕНИСА ИВАНОВИЧА

«...целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест. Сам Крылов позавидовал бы моему положению, особливо, когда я считаю мух, которые садятся ко мне на письменный стол. Верить ли, что очень трудно отличить одну от другой».

К. Батюшков (из письма к Н. Гнедич мая 1817 г.)

Денис проснулся в приятном расположении духа, и уже одно только это обстоятельство не оставляло никаких сомнений в том, что он был еще основательно пьян. Будильник, проживающий по соседству с калькулятором, игрушками типа тетрис и прочей мелкой сволочью в его мобильном телефоне выдавал точно такой же, но только усиленный в несколько раз писк, какой производит

жук-точильщик, чьи личинки способны изъедать хвойный ствол за сезон, если только вовремя не снять кору. Между энергичными попискиваниями он еще и вибрировал с низким грудным рычанием, словно в груди у него никак не отходила мокрота. Откинув крышечку мобилника, словно сдвинув элитры, жесткие хитиновые надкрылья, что еще более усиливало сходство телефона с жуком, Денис успо-

коил неверной рукой всю эту симфонию, поднялся и, шатаясь, поплыл в ванную комнату, задевая бортами растопырившийся прямо по фарватеру хромой табурет и цепляясь за свернувшийся облезлым котом халат. Тот не сказал мяу, а лишь обиженно поджал тесемки и отполз подальше от кровати.

Наверное, в позапрошлом веке, по утрам и вечерам, все прогрессивное человечество молилось своим богам ровно с тем же рвением, с каким нынче чистит свои отбеленные (и не очень) зубы. Наверняка чистка зубов занимает сейчас столько же времени и сил, сколько раньше разговор со Всевышним. Можно даже думать, что теперь одно, благодаря техническому прогрессу, просто стало продолжением второго, как кощунственно бы это ни звучало. И только принеся в жертву своим оставшимся двадцати девяти божкам немного жемчуга со фтором, Денис осмелился взглянуть самому себе в глаза. Зеркало, не моргнув глазом, безукоризненной ракеткой, словно Мария Шарапова, отбило эту подачу, а Денис, как Виржиния Руано Паскуаль, не решился ее взять. «Да, такой Уимблдон, Денис Иванович, нам не нужен» – пробормотал он, ощупывая опухшие веки и налитые пивом синяки под глазами.

Собственно, времени было в обрез. А обрезала его до еле заметного ситцевого лоскутка фабрика по пошиву одежды, кому уж как не ей знать толк в отрезках! Одним углом выходила она на Гороховую улицу, а другим красовалась на набережной Мойки, в аккурат напротив Альфа Банка. Сама по себе Мойка – речка неторопливая, можно даже сказать, что это и не речка, а так, обыкновенный канал. Однако течение все же она имела, правда, течение такое, что если утром, заступая на смену, плюнуть в нее с того самого знаменитого дома под номером двенадцать, в котором так мучительно умирал первый поэт России полтора с лишним столетия назад, то на следующее утро, когда смена будет окончена, плевок этот (коли не склюет его прожорливая чайка) едва достигнет места нынешней работы Дениса. И это при условии, что ветер дует не против течения, сгоняя тогда весь мусор обратно в Неву. Правда, к нашему повествованию это не имеет ни малейшего отношения, хотя и забавно.

Денис, путаясь в шарфе, сумке, ключах, ногах, мыслях, а проще было бы сказать в чем он не путался (наверное, только в осознании того факта, что если опоздает еще раз, его приговорят к смертной казни через отрезание плоти по кусочкам в течение 24 часов), выскочил из парадной и опрометью бросился к проезжей части, с рукой на перевес, как обычно изображают памятники Ильичу.

«Если я на работу не приду, это все, Сталинград!» – вспомнил он, как после очередного бодуна говорил ему некогда его друг,

прозаик Игорь Лапшин, и в очередной раз на работу не ехал.

«Сталинград!». Как обозначение крайней обеспокоенности своим положением, как полнозвучное и образное средство, позволяющее сэкономить матерную материю, – термин был выше всяких похвал. Денису он тогда очень понравился, ведь мат – это всегда капитуляция перед родным языком. Он хорош лишь под спудом языка, когда лишь имеется в виду, когда на него можно осторожно намекнуть. Мат – это термоядерное оружие лингвистики. Его нельзя применять, но на него всегда можно намекать. Этим он и хорош. Употребляя его непосредственно, в том виде, в каком он есть, теряешь вкус к тому, что говоришь, и что можешь сказать в дальнейшем. Для писателя это все равно, что бомбами вспахивать поле под посевы – хоть и рыхло, а двадцать лет ничего расти не будет.

Находясь в таких мыслях, он и остановил обледенелую «пятерочку» с одной горящей правой фарой. «Этому циклопу много можно не давать» – с удовлетворением отметил про себя Денис, всовывая голову в приоткрытую дверь. В глубине кабины, со всех сторон покрытой густым инеем, сидел молодой паренек и часто дышал на красные заледенелые руки. Ну, в точности, мишка в берлоге.

– Угол Невского и Мойки, стоха, – был краток Денис, с удивлением отметив про себя, что в этом ледовом гроте только эха не достает.

– Садись, – кивнул парень, и они с рычанием и дерганьем тронулись с места.

В непроглядном молоке заледеневших стекол лишь всполохи огня пролетали мимо. Даже очертания домов и улиц не угадывались. Настроение, как уже говорилось, у Дениса, вследствие алкогольного опьянения, было игривым и радостным, и он, смеясь, спросил у водителя:

– Ты сам-то видишь, куда едешь?

– Угу, – шмыгнул носом тот и еще ниже опустил на своем продавленном сиденье. Возле самой обдувочной щели, сантиметра на полтора-два от торпеды, виднелась узенькая полоска стекла без льда. Туда-то и целил пытливым прищуренным глазом извозчик, ибо в два глаза смотреть в столь тесное оконце не было никакой возможности. Он и так почти лежал щекой на руле, что, впрочем, помогало ему одновременно дышать на зябнувшие руки. Денис ухмыльнулся, покачав головой, и уставился в абсолютно белое, слепое лобовое стекло. «Так, наверное, чувствуешь себя, находясь в голове мраморного Давида», – подумалось ему.

До Мойки ледяной громахающий грот на колесиках (так и подмывало всю дорогу подменить последнюю букву «Т» на «Б») не дое-

хал метров ста. В нем уже начало было потихоньку оттаивать лобовое стекло, как все-таки не выдержал мотор, которого инсульт разбил прямо на светофоре. Левая половина автомобиля еще судорожно пыталась взбрыкнуть колесами, тогда как правая замерла в немыслимом ступоре. Не дожидаясь извинений, Денис сунул в ледяные пальцы водителя мятую нежно-розовую бумажку и помчался на работу своим ходом, тяжело вдыхая морозный, но сырой воздух. Неприятные иголки заморосили по альвеолам легких и запершило в горле. Однако он успел. Не доставая удостоверения, он носорогом промчался мимо вахты и без пяти девять предстал перед своей напарницей.

«Ай, да я!» – удовлетворенно подумал Денис и уже неспешно отправился переодеваться. На смене в котельной всегда должно было находиться два оператора. Работа и без того не пыльная была поделена между напарниками так, что три часа за столом перед котлами бил баклуши по договоренности один из них (второй занимался тем же в горизонтальном, как правило, положении в комнате отдыха), затем они менялись местами. Справедливости ради, нужно отметить, что сидящий за столом обязан был с некоторой периодичностью снимать показания счетчиков и следить за давлением пара по общекотельному манометру. Но, если считать это работой, то тогда вপুরе платить зарплату любителям порыбачить или сходить за грибами (справедливости ради, стоит отметить, что где-то есть люди, получающие зарплату и за эти занятия). Сидеть за столом была очередь напарницы. Денис облачился в казенный комбинезон, синий с оранжевыми вставками, так напоминавший ему костюм Карлсона, только без пропеллерчика, прилег на кушетку и с удовольствием повертел по сторонам еще пьяной головой. «Нет, все-таки здорово я против бодуна окопался. В шкафчике припасена бутылка газированной «акве минерале». А чуть попозже, когда хмель начнет сходить и появится неприятная дрожь в руках, можно будет кубик бульонный в стаканке развести. Жаль, конечно, что нет покрепче чего-нибудь, но и так не плохо. А сейчас поспать пару часиков. Глядишь, бодун и вовсе не найдет меня тут». Денис поцокал языком, словно оценив прочность бетонных стен и потолка, которые должны в случае чего защитить его от похмелья, словно оно приходит извне, наподобие ракеты или снаряда, а не изнутри, вроде часовой мины.

Денис давно искал именно такую работу. То есть, чтобы работать так, чтобы не работать. Но особенно пикантным было: бездельничать не где-нибудь, где все изнывают от подобной синектуры, а на заводе, на производстве, где народ пашет в две смены с 6.30 и до 23 часов. Если говорить серьезно, то это не было

просто пикантным, хотя, конечно, сладостно сидеть почти в самом эпицентре трудового зуда и ничего не делать, внешне находясь при деле. Это тонкая мимикрия под рабочий класс. И ведь никто не заподозрит! Это было так же мудро, как устроить шпионскую явочную квартиру рядом со зданием контрразведки, то есть там, где ее по логике вещей искать будут меньше всего.

Работяги с серыми, невыспавшимися лицами и здоровенными гаечными ключами, суровые швей-мотористки и Денис в одежде Карлсона, в рукавицах, выдаваемых раз в месяц, с печалью в томном взоре. Вокруг кипят трудовые будни, а Денис сидит за столом уютным, в окружении горшков с геранями, и читает необходимые книги.

Подумав о книгах, Денис достал из сумки потрепанный томик Павича из серии «Азбука-классика» и открыл на 8 странице. «Дом поставлен на «живой девятке», которая, в отличие от других девяток, не является нулем» – прочел он и, решив все-таки сперва протрезветь, отложил книгу в сторонку. Подумал малость, снова взял книгу, снова перечитал это загадочное предложение и снова отложил книгу.

– Денис, – раздался голос напарницы, – там на кухню сходи – тебе подарок от фабрики.

– Что за подарок? – встрепенулся Денис.

– Да выйди и посмотри. Фабрике 85 лет исполнилось. Всем работникам по пакету с едой выдали. На нас еще вчера получили и возле холодильника поставили. Пакет синий такой.

Денис, кряхтя, поднялся и заковылял на кухню.

При ознакомлении с пакетом из груди его непроизвольно вышел неопределенный стон, после чего он начал долго и безудержно хохотать.

– Чего там смешного? – заслышав странные звуки, крикнула из котельной напарница.

– Пустяки, Полин, – захлебываясь, ответил Денис, – все в порядке.

Он оттащил увесистый пакет к себе в каморку и стал выкладывать на постель нежданное яства. Коробка шоколадных конфет, бутылка водки «Дипломат», полусладкое шампанское, банка тихоокеанских крабов, икра лосося, чай «граф Орлов» в жестянке, кофе «Нескафе», палка сервелата. Устав выкладывать все это добро на кровать, Денис сквозь все еще разбиравший его смех сам себе сказал: «Да, бодун точно сегодня отдохнет...»

– Нечего смеяться, – просунула к нему голову напарница, – нашей месячной зарплаты пакета на четыре от силы таких хватит.

– Сегодня гуляем, – ответил Денис, – начальство еще здесь бродит или по случаю юбилея домой свинчивает?

– Как же, свинтит оно. У них свой сабантуй, в своем кругу, так сказать.

– Ну и ладушки! А то, может, и мы шампусику дерябнем? Родная нам фабричка, али как?

– Нет, я, может, ближе к вечеру, – голова напарницы исчезла в дверном проеме, и Денис со вздохом достал из своего шкафа граненый стакан.

«Пык! Пш-ш-ш-ш», – сказала шампанское, отдаваясь в крепкие руки Дениса. Он сделал один несмелый глоток, другой. Отвернул крышечку со стеклянной банки, черпанул указательным пальцем липкие янтарные икринки и, опрокинув стакан шампанского себе в рот, старательно облизал палец. Во рту началась увлекательнейшая погоня за икринками. Они увертывались, проскальзывали за зубами и ослепительно брызгали солоноватым клейким соком в небо, когда удавалось, поймав их языком, удержать между сдвигающимися резцами.

Смех снова разобрал Дениса. «Сквозь такие надолбы ни один бодун, даже на гусеничном

ходу, не проедет» – похлопал он «Дипломат» по серому боку.

Еще два глотка шампанского, еще палец икры и – стены котельной округлились, потолок слегка выгнулся и все здание, набирая скорость, словно подводная лодка, плавно пошло на дно морское, раздвигая носом невозможные подводные лианы и водоросли. По комнате отдыха заструились их тени, и вскоре Денис задремал в этой зеленоватой тине, убаюкиваемый мерным гудом подводных винтов, а точнее котлов «Е-1.0-0.9 ГН-2», изготовленных монастырищенским машиностроительным заводом имени 60-летия Октября.

Ему приснилось, будто стоит он на углу Мойки и Гороховой, а напротив него переходит мост Павич, держа, почему-то, свое пальто в руке, хотя на улице отнюдь не жарко.

– А не подскажет ли молодой человек, как мне найти улицу Кралевича Марка? – обратился он к Денису.

(Окончание следует)

Людмила БУБНОВА

ЗА ДВЕРЬЮ*

1

Все для завтрака расставлено, заваривается чайничек на плите. Мамочка уютно усаживается, инстинктивно расправляет скатерть перед собой: на ней и так ни пятнышка, ни складочки. Горка румяных блинчиков перед глазами, последний со сковородки перемещается ей на тарелку.

– Что ты такие горячие блины печешь, гляди того, обожжешься!

– А ты подуй, он и остынет. Давай я подую. Возьми другой. – Я успокаиваю и наливаю ей чаю. Она раздраженно заявляет:

– Садись, садись! Сядь наконец! Вертишься перед глазами!

Как я ей надоела! Как и она мне! Но, улыбаясь, говорю:

– Прошу простить!

– Над чем смеешься? – удивленно спрашивает, и на миг с ее лица сползает маска победительницы, впрочем, через секунду снова прилипает к физиономии. Прежде резкие слова вызывали во мне горькую обиду на несправедливость, теперь я не могу смотреть на нее без внутреннего потайного смеха. В свои года мать может выглядеть как угодно, смешна ее победительность, она не понимает: чтобы понять, ей надо стать на мое место.

– Надо собой, мамочка, смеюсь, – успокаиваю я.

– Ой ли?! – недоверчиво и подозрительно смотрит на меня, хочет провидеть неискренность.

– Над собой, над собой, – примирительно уверяю я.

Но молчу, конечно, о другом.

Прежде я рыдала от ее «любезностей», она привыкла к моей приниженности, ей постоянно хочется слезной реакции, не может успокоиться, пока до слез меня не доведет. У нее так инстинкты работают, такой характер, остальные соображения, видимо, отмерли – ей девяносто лет. Помыкать мной она привыкла, я существую у нее специально для ее характерных штучек.

Я тоже давно старуха, но моложе нее – значит, в том и виновата: ей на радость, мне на беду.

Мне всегда хотелось сбежать от нее куда подальше, чтобы не догнали, не отыскали, не вернули на круги своя, но бежать надо было с самого начала, как на ноги встала. Тогда не решилась, сил не хватило, теперь уж думать об этом смешно, как о путешествиях на другую планету.

Бывает: прогуливаю мамочку по улице, встречаются такие же двое, помоложе нас, но

* Фрагмент романа «В чувствительном женском кругу» (Прим. редакции)

обреченные. Вижу как в зеркале: мать выпашивает царицей, самодовольство и готовность к очередному наставлению на лице, а дочь при ней издергана, забита, не знает, куда себя девать, совсем без лица. Вот я такая.

Могу понять зятя той повелительницы, ей он когда-нибудь был: как увидит молодец двух-обеих вместе, сразу представит – жена скоро станет такой же, как теща. И сбежит сломя голову, поминай как звали.

Как у нас было.

Ведь действительно карикатурная картина. Вместе с матерью дочерям ходить категорически нельзя и жить вместе не надо. Поблизости можно жить и время от времени в гости друг к другу ходить, и то пореже. Но приходится жить бок о бок: обстоятельства складываются иначе неразрешимые. У нас на особицу жизнь устроить не просто. Сколько помню себя, в стране вечный недостаток самого главного: жилья. И недобор продовольствия. С неразрешимыми проблемами справляться в куче, считается, легче. Честно говоря, при моей робости я и не пробовала бегать, никогда не знала, с чего начинать несогласие. Не отважилась искать свою конуру. Робкие мы были у матерей-одинок-то.

Я не позволяю себе грубить матери, сказывается воспитание: что надо думать, а что можно говорить. Думай, пожалуйста, что угодно, такого надумаешь(!), до неба от злости раздуешься... если все высказывать вслух, зверская драчка обеспечена. И, конечно, из меня полетят клочки, не из кого другого.

Сознательной я матушку не помню, как не помню своего отца, но ведь был же он, наверно, не иначе? Мамочка им гордится: «Он был профессиональный революционер!» Видно, естественно и погиб: говорит, на задании утонул зимой ли то в Ладге, то ли в Неве, то ли в Финском заливе. Весенние воды не вынесли трупа – ей даже не пришлось его хоронить. Она получает за него неплохую пенсию, квартира – две комнаты на двоих – хорошо считается. Живет беззаботно, благополучно, моими заботами, меня полностью для себя приспособила, я при ней – как привязанная. Домой нельзя никого пригласить – она не выносит. Куда теперь от престарелой матери убежишь? Некуда, не полагается, воспитание не позволяет. Люди не должны бросать престарелых родителей. Сильная узда человеку – воспитание. Меня оно, во всяком случае, совершенно в узел завязало...

И вот идем под ручку: одеты обе как два чучела, мы из прошлого века. Не из девятнадцатого, из двадцатого. Нашего, цивилизованного, с образованной душой, с широким кругозором. В наше время образование сделали всеобщей привилегией. Век, правда, истер нас до ветоши, но душа до краев полна, трепещет, волнуется, рвется ввысь, но... застрева-

ет в лохмотьях... да что говорить, брезгливость вызываем у молодежи, ненависть за то, что живем. И я не преувеличиваю. Веские доказательства на каждом шагу...

Поэты волшебным поэтическим гласом приучают нас видеть вокруг чудеса, стало банальностью во всем видеть чудо, принимать мир не в его настоящем обличье, а в виртуальном. Да и верят сейчас больше не реальности, а виртуальности.

Насидевшись в моей домашней реальности, вышла, по случаю, на людную улицу. Навстречу стена людей. Смотрю в лица прямо, в упор, вижу столько чудесного, не только в хорошем смысле, но и в дурном. За внешней оболочкой много всякой нечисти скрывается. Уродства в людях полно. И под пиджаком с удовольствием потешаются над людьми: заставляют ходить в опорках, в лохмотьях по моде. (Получается: «по Невскому ходил, потурецки говорил».) Бредовость захлестывает людей. В себе я подозреваю то же, что в прочих. Не сужу, не осуждаю. Просто смотрю проникающим взглядом.

Я никому не желала зла, ничего ехидного в виду не имела. Только глядела в лица, правда, довольно дерзко.

Проходя мимо друг друга, мы были обезличены: без имен, без отчеств. И вот, идя мне навстречу, молодой красавец с голубыми глазами запустил в меня таким словом! Полновесная же капля выбрызнула из него!

Нечего, мол, задаваться, воображать, кидать свои взгляды.

Я топила наблюдения в молчании. А он, чудак, не выдержал, у него прорвалось, он открыл свой красиво очерченный рот, и оттуда выскочило слово. Такое слово!

Как, мол, смела прохожая подлая старуха взглядом насквозь проколоть! Захотелось ему меня обругать. Он, может, рассчитывал – я пальну в него ответным приемом? Или я закачаюсь? Интересно получится.

Меня оно действительно потрясло. Пошатнуло. Я едва устояла на ногах.

Но устояла. Наперекор!

Старуху не обидишь: любой выстрел дурным словом – холостой. Словом меня не прошибешь – я их сама много знаю.

Не разозлишь – злоба давно вся прошла.

Не унизит ни болезнь, ни слабость: есть нечего – не буду есть, больно – возьму да умру. Смерть избавит от любого унижения. Смерть великолепна. Великое дело – смерть...

Может, он вложил в одно слово ненависть, презрение ко всему человечеству? Может быть.

Может, с мощным напрягом выплонул злость, он освободился, ему стало легче?

Но как ожесточенно он проурчал неожиданное для меня: «МРАЗЗЗЗЗ!»

Устояв, я смиренно опустила глаза, хотя свет с небес в тот момент был ослепительный, прозрачный, голубовато-золотой...

Он неправ в отношении меня и по поводу человечества. Несмотря на мразь-грязь нам доступно много хорошего. И я не только старая...

Чудовищное потрясение меня не убило, не разбило, наоборот: собрало, скрутило в твердый жгут противостоянья презрению.

Но видеть везде чудо и быть от него в теплом восторге откровенно стало еще противнее...

Мягкий свежий чудесный плавленый сыр вкусно намазывается на блинок, маме нравится, она просит купить еще точно такого же сыра, желание – закон.

Я схватилась за кошелек, сырок дорог, цена кусается, вызволила на свет бумажки, оставив внутри жалкую мелочь. Расправила каждую денежку, разгладила уголки, пересчитала одну к одной: не густо, но дня на два хватит, и потому, можно сказать, «с деньгами». А дальше получка придет, мизерная, но для таких как мы, неприхотливых, хватит – натянем. Снова уложила денежки в кошелек, привычно щелкнула скользящей кнопкой.

И в этот момент застонал телефонный аппарат. Я испугалась: в такую рань – снова несчастье? Уходит ровесник? С ним прощаться? Никуда не денешься, телефон настойчиво связывает с человечеством, хотя у меня к нему все меньше вопросов. Вселенная будто съезжилась подо мной до размера подошв, ничего мне больше от людей не надо, с собой справляемся сами, планета моих претензий к миру сужается. Я схватилась за телефонную трубку слегка дрожащей рукой.

– Алло, Маруся! Выручи деньгами последний раз, в долг! – умоляющий голос, проникающая в самое сердце интонация.

– Славик! Слава, ну так нельзя! Ты на прошлой неделе говорил: «в последний раз». А где он – «последний»-то?

Чувствую, мои слова ему совершенно неинтересны. Этот пегух клюет именно в ту точку, где лежит зернышко – моя сотенная в кошельке. Он не слышит никаких других слов, кроме «да» или, на худой конец, «нет», – все остальные слова для него лишние.

Слышно, как вибрируют его голосовые связки: смеется он, что ли, сдавленно? И если смеется, то надо мной, не над собой. Он точно знает, что делает: ему нужны деньги, и он бьет меня настырной требовательной неотвратимой просьбой. Я чувствую себя мягким податливым сыром под сверлящим ножом его голоса. Я всегда давала, что было. Но сколько можно просить? Как не стыдно!

Если он действительно хихикает, то вовсе не от волнения, у него психология нацелена наверняка: он хочет непременно получить, что просит. Знает: волнение тут плохой помощник. Он идет напролом с полной уверенностью в успехе. Без колебаний. Он атакует меня без всякого волнения, он издевается надо мной!..

В кошельке, который все еще держу в руке, кажется, тревожно завозились мои бумажки, недовольно захрустели милые последние. Я инстинктивно открыла ящик стола и судорожно засунула свободной рукой кошелек подальше в бумаги. От «последней» просьбы в горле образовался спазм, я кашлянула, замокрились слезами глаза. Что бы такое сделать, чтобы он ко мне за деньгами больше не обращался?

Ох, куда бы мне от него деться? Не хочу, не хочу, даже разговаривать с ним не хочу. Хоть плачь! Ведь уже плачу. Он портит мне жизнь с самого утра, обостряются все тяжелые чувства: вдруг чувствую, нестерпимо жмут манжеты рубашки, поспешно расстегиваю пуговицы и закатываю до локтя рукава. Что-то грохнуло в потолок – уронили тяжелую штуку прямо над моей головой – гулким ударом стукнуло меня по мозгам. За соседней стеной затыкала всю ночь собака. Под окном истошно зарыдала автомашина, никто не торопится ее успокоить. Обычно незаметный шумовой фон, но сейчас будто усилились все звуки, меня охватывает ужас, не могу с собой совладать, когда бесстыжий племянник, ровесник, просит у меня «в долг».

Вот тебе и «с деньгами»! Сейчас он выжмет последние.

Ни разу в жизни он не отдал никому долга. Он только берет «в долг», к долгам относится крайне цинично. Кто даст, того он никогда не вспомнит после того, как возьмет.

Отдавать ему нечем. И кто это знает, тот не дает. Не раз его били те, которые давали «в долг», не подозревая, что без отдачи.

С каждым разом он всей изобретательней просит. Всегда неожиданно, незаметно подсакивает и подсовывает свою ядовитую просьбу, не рассчитывает на просчет, вот что интересно.

Психолог он изумительный, изощренный, изобретательный, действует беспрощадно.

Он и к телефону-то подходит в неурочное время: вылезает из своей коммунальной берлоги, когда соседей нет или все спят. Таким образом избегает коммунальных стычек, там у них бушует душная коммунальная жизнь. Его не подпускают к аппарату: он ни за что не платит, ни за телефон, ни за какое пользование – нет денег, и все.

Ну почему он все время ко мне обращается, словно к родной матери? Мне так бы хотелось избежать подобной напасти.

Просто ему больше не у кого просить. Никто не дает: дураков нет давать в долг без отдачи. Он идет напролом прямо ко мне. Больше никто с ним не церемонится. А он не церемонится со мной. Ну что мне делать?

«Не давай! Не давай, не давай, и все! Откажи напрочь, сразу, наотрез – раз и навсегда! И станет легче...»

Неужели легче?

Так просто?

Вот да! Но я же думать о нем не перестану, буду жалеть одинокого человека, ставить себя на его место, укорять себя за жестокость, призывать к милосердию, мы все тут, несмотря ни на что, христиане.

Бросать трубку на рычаг мне представляется слишком грубо. Я так не могу, не привыкла. И не хочу – грубости везде без меня хватает. Я уважать себя хочу. Я ведь с человеком разговариваю, неважно с каким, но с человеком. Пусть сам поймет: пора ему от меня отстать.

А он?! На том конце провода молча тянет из меня силы, все токи уплывают через жадный, настойчивый, выматывающий душу телефон.

Ему еда нужна – понятно, он вечно голодный, а сейчас, видно, дошел до края. Но я не виновата. Мне тоже нужна еда. Вон, мамочка сыру просит.

Ах, люди, люди – человечество! Он полностью лишает меня веры в человечество. У меня сердце болит, как подумаю о нем и о человечестве. Лучше не думать, запутаюсь окончательно.

«Не думай – спокойно живи. Беситься бессмысленно – не справиться с этим вопросом. Человечество круглое, как земной шар – без начала и без конца, – к нему не подступишься». Точно так же трудно, как отказать безумному родственнику в милостыне.

Мысли просверкнули в мозгу и скрутили жгутом все существо.

Ведь надо ж так учуять, что в руках у меня в данную минуту кошелек и в нем ворочается несчастная сотня! Так чувствует, так чувствует, будто для него расстояния нет! Ну, змей!

Я дрожу от возмущения: как можно просить у меня, с девяностолетней матерью на руках? Он представить себе не может, что значит иметь на попечении собственную мать. Матери и отца у него давно нет, они всё ему оставили. Своих детей он для себя давно потерял, они не хотят о нем слышать. Он не отягощен обязанностями, только о себе думает и только в данный момент.

– Несчастье какое: приспичило тебе снова просить у меня, бедной, «в долг»!.. – чуть не плачу с телефонной трубкой в руке. Напрялись мои нервы, будто по коже ползут букашки. – У меня тяжелое положение! – говорю я жалким, растерянным голосом.

Кажется, он снова хихикает. Плевать он хотел на мое тяжелое положение, все жалуются на «положение», ему надоело слушать.

Надо бы выбирать более действенные слова, а эти – для него зряшные звуки. Он все равно не услышит, кроме единственных: дам или не дам ему денег.

Стыдно, что у меня так мало денег: просящему дать и себе оставить! Избавиться бы от родства с ним раз и навсегда. Но он не понимает, что значит НАВСЕГДА, особенно если сейчас ему удастся выпросить у меня денег.

Проще выпросить, чем заработать, на это нацелено все его существо. Сотня, которая лежит сейчас в моем кошельке, больше всего его интересует. Он умело на расстоянии обрабатывает меня психологически.

Цыкнуть на него – так не обратит внимания: на него все рвякают, гоняют, он привык.

– Что ты все ко мне обращаешься? Попроси у кого-нибудь другого.

– Нё у кого.

– Как?

– Никто не даст...

– Меня зло берет: ведь что у меня трудами заработанное, у тебя все даровое – квартира, образование, работа. У тебя от родителей – все равно что от Господа Бога. Куда ты все девал? У тебя была прекрасная жена, семья, дети. И вторая жена была хорошая. И третья мне нравилась... Через всех ты переступил, все промотал!..

– Да.

– Вечно всё не по тебе...

– Да, да.

– А я трудом добывала. А ты сам во всем виноват...

– Да, – говорит. – Да, да! – раздраженно, сердится.

– Как же ты так живешь?

– СВОБОДНО.

Меня прямо взорвало: трудное слово легко говорит. Слово-то святое... сквозь тернии века добывалось.

– Что ты сегодня ел?

– Еще не ел.

– А вчера что ел?

– Нечего было.

– Голодаешь «свободно»!.. – упрекаю я.

– Я перестроился, – заносчиво говорит, будто хочет надо мной возвыситься.

– Ах, перестроился! А я какой была, такой осталась!

– Ну, тебе, наверно, так лучше. Зато ты можешь выручить меня еще раз. А я тебя не могу...

Если б он знал, как я не хочу его выручать! Форменный змей! Выдает себя за жертву перестройки, а сам пьяница и больше ничего!

– При чем тут я? Я тут ни при чем! – чуть не кричу в трубку.

– Да, – говорит он, и в голосе ненависть оттого, что согласие – дать или не дать – видите ли, задерживается, провисает посторонними словесами. Ничего, ничего, потерпишь. А то возьми да и сам положи трубку на рычаг. Ну разве он таким образом прекратит разговор? Не для того его начал. Неожиданно я говорю:

– Сколько же тебе надо?

Он называет такую сумму! Будто чем больше спросит, тем быстрее дадут да сильнее уважать станут. Возмущение сперло мне дыхание:

– Столько у меня не может быть!

– Сколько можешь... – снижает тон.

Воспитание не позволяет мне отказать голодному.

– Приезжай... – измученно говорю я, не слыша собственного слова. И за это слово себя ненавижу.

Он примчался тут же, я не успела передохнуть: прямо под моим окном, что ли, пел свою серенаду?

Пришлось выгрести кошелек из глубин стола, куда только что закатала, и отсчитать ему, оставив себе пару десятков.

Чтобы мамочка не встревала, я встретила его за дверью, на лестничной площадке, тихонько прикрыв дверь квартиры от ее догляда.

Он схватил деньги и тут же помчался прочь.

– Подожди, Славик! – крикнула ему вслед.

Он затравленно, настороженно обернулся, видно, подумал: хочу обратно деньги отобрать. У него был такой вид, будто он станет драться до последнего с тем, кто посмеет отнять у него деньги. Он измолотит того руками и ногами, даже если его убьют на месте – не отдаст. Смешно прямо! Я выбрала из кошелька остальное и протянула ему. Вот: его чутье на этот раз не оправдало себя.

Он крикнул «спасибо» и был таков.

Несколько ошарашенная, я мну в руках пустой и вялый, как тряпка, кошелек, ни на что сегодня не годный и совсем не нужный.

Что же случилось? Как произошло кощунство: я осталась совсем без гроша? Будто под гипнозом.

Ладно, я уже позавтракала, а теперь и он может перекусить. Гипноз – ерунда. Дело в характере. Я никогда не разбогатею и не выиграю, потому что всегда на стороне проигравших, слабых. А выигрывают и побеждают СИЛЬНЫЕ и БОГАТЫЕ. А мне бедных жалко. Сочувствую им безмерно, сама небогата.

И то, что его «свобода» сопровождается голодом, кажется мне несправедливым и несправедливым.

Справедливости на самом деле в реальности не бывает. Теперь, прожив столько лет, я знаю точно. Но отказываться не собираюсь. Идея справедливости определяет жизнь. Без

этой идеи ничего хорошего не может быть: ни правды, ни истины, которых тоже, в общем, на сто процентов не бывает. Но стремиться к ним и значит – жить.

Сытый голодного, говорят, не понимает. Но я помню, что такое голод. И от всяких мыслей по этому поводу совсем не свободна.

2

Я человек бедный, возможностей у меня мало, так я хочу, на худой конец, доброй быть. Мне хочется и думать о себе хорошее, пусть даже и лучше, чем есть на самом деле, мы обычно ошибаемся по поводу самих себя. Неважно. Пусть. Обо мне вообще больше никто не думает, кроме меня самой, не замечают.

При первом порыве воображаешь себя умной, доброй, щедрой. Но по мере того, как понимаешь, что никто твоих качеств не принимает в расчет, кому отдаешь, и тот не ценит, – а надо бы! – начинаешь сомневаться, правильно ли делаешь.

Поколеблешься, поволнуешься – неохота сразу с хорошей мысли съезжать, – начинаешь перед собой оправдываться: мол, доброта и не должна окупаться, не должна быть рассчитана на отдачу, на отплату – она бескорыстна. И правильно.

Но что ж получается? У него теперь есть деньги, у меня – пусто. Что же я себе ничего не оставила? На дурочку похожа с пустым кошельком. Будешь доброй, отзывчивой, сразу оказываешься на мели. Проще говоря – в дураках остаешься. Разве не глупо? Выходит, я добротой оправдываю собственную глупость, слабоволие. Или уж доброта устарела? Когда это случилось, не заметила. Когда наш век кончился, что ли? И бог знает, что теперь делать?

Ну, пусть будет так. Теперь ничего не попишешь – нет ни гроша. Характер и положение исправить нет никакой возможности.

Как же теперь мне выйти из денежного затруднения? Вот в чем вопрос... Не купить сыру для мамочки – безобразия, она вконец измучает подозрениями, вопросами, нотациями. На лестничной площадке я оглядываю немые двери типовых квартир: сегодня, кроме моей, видно, ни одна не открывалась. Глаз упирается в самую чувствительную, неудобно расположенную – прямо против лестничного марша – дверь, через нее в квартире слышен каждый шаг на лестнице, любой щелк работающего лифта, все звуки девятиэтажного пролета. Как только там живут! В этой квартире живет художник, у него можно стрелкнуть в долг. Он и сам не раз обращался ко мне перехватить десятку-другую. Я с ним в хороших отношениях. Моя надежда связана с этой дверью.

Звоню.

Молчание. Тихо. Никакого движения внутри. Обычно снаружи тоже слышен каждый шорох в квартире. Никого нет дома.

Жена его, Татьяна, я видела, на днях с ребенком уезжала за город. Но он-то вроде должен быть дома? Ан нет... Как нарочно – никого. Но как появится – сразу к нему обращусь.

Я осторожно, незаметно для мамочки, возвращаюсь в свою квартиру и теперь чутко прислушиваюсь к каждому звуку с лестницы, жду возвращения домой соседа – моей единственной надежды.

Я чувствую себя, как в гондоле воздушного шара: его то возносит на восходящей волне, то вдруг опускает в воздушную яму. На малейший внешний звук я тихонько прикипаю к дверному глазку посмотреть, что происходит на лестничной площадке. Я вся ожидание.

Но пока ничего не дождалась, звуки все посторонние, каждый мой скок оказывается невпопад. Над лестничной площадкой курсируют тени, но ни одного нужного силуэта. Если даже вернется Таня, я у нее спрошу займы, она даст, если у нее есть... А пока мое положение смешное и тяжелое, холодильник опустевает, заполнять его решительно не на что. А образ лакомого сыра стоит перед мысленным взором, превращает жизнь в сплошную вину перед достопочтенной матерью. Я прерывисто дышу от волнения. Все время осторожно, украдкой подхожу к двери, слежу за лестничной площадкой и за дверью соседа.

– По-моему, возле нас кто-то ходит, – говорит за обедом мать.

– Разбойники, что ли, какие ходят?

– Ну что ты! Какие разбойники? В нашем обществе разбойников быть не может. Сколько живу, ни одного в глаза не видела.

– Не стоит сожалеть об этом, – говорю.

– Ну почему же? Любопытно было бы встретиться лицом к лицу...

– Лучше не надо. Так кто же ходит вокруг тебя? Феи, может, топчутся ножками по потолку, стучат каблучками?

– Что ты мне сказки рассказываешь!

– Ну кто же, кто же ходит?

– Пока неизвестно. Надо проверить...

– Погляди в окно, – говорю.

– Это не в окне.

– А где?

– Где-то здесь.

– Может быть, гномы какие водят хоровады?

– Ну что ты, право, смеешься надо мной?

– Да это я хожу. Я.

– Про тебя бы я знала. А тут нечто...

– Может, тебе показалось?

– Скажи еще, что мне во сне приснилось! Нет, не ночью. Среди бела дня ходят.

– Как же тебе удастся улавливать шаги сквозь урчанье телевизора?

– Представь себе...

– Да это я хожу.

– Этого не может быть!

– Ну ладно, не я. Кто-то другой? Но кто?

– Не беспокойся, я послежу... – убедительно говорит.

– Что тебе беспокоиться? Не стоит отрываться от сериалов.

Напоминание о сериалах быстро подняло ее из-за обеденного стола и направило прямым курсом к телевизору.

– Я же тебе хочу помочь, – говорит мамочка, садясь в свое давно просиженное кресло.

– Ну что ты, я сама справляюсь. А если что, сразу к тебе за помощью обращусь.

– Ну, как хочешь: а то я тебе помогу...

Имей в виду: я готова... – Мамулечка рассеяно зевнула в кресле перед телевизором и смежила усталые веки.

Приходится дурачиться, лишь бы она сыру не запросила или еще чего-нибудь более существенного. И дорогого.

Мне помогать? Это у нее дурмантические порывы. Ничего плохого. У меня тоже бывают: мне, например, иногда нестерпимо хочется заглянуть на ту сторону Солнца. Теперь мы умные, смотрим не только за горизонт, мы хотим провидеть за Солнцем. По-моему, там должно быть то же, что здесь. Ведь Солнце держит, как на коромысле, нас и ИХ, нам подобных, по закону симметрии, хотелось бы воочию убедиться, так ли это, что это именно так. Я понимаю (как я понимаю): сама по себе я молекула мира – с одной стороны, но с другой стороны, нужно осознавать мир в целом – по ту и по другую стороны. Ясно: говорить вслух не стоит, нельзя – никто не поверит, сочтут ненормальной. Попробуй потом оправдаться. (Но нестерпимо хочется заглянуть туда... хотя мысленно я часто там пребываю... Приходится надеяться, что там полегче, здесь то очень уж неуютно бывает.)

Я обдумывала, чем будем обедать завтра. В это время с лестницы послышались звуки. Как привидение, я скользнула к глазку и плотно к нему припала. Дверь соседской квартиры явно была приотворена. (Наконец-то!) Что будет дальше? Кто пришел? Куда подвинется спина двери в коричневой обивке с видимым номером «33»?

Дверь застыла. И я застыло держу глаз у дверного свища, тихо, недвижимо, мне как никогда нужен сегодня сосед, он добродушный, сознательный, сразу и давно было понятно. А если есть на земле такой человек – большая редкость! – то ему нужно пожелать, чтобы он никогда не умирал. Иначе кто же меня выручит?

Вот полотно двери пошатнулось в сторону моего взгляда, выставилась рука с картинами без рам, выдвинулась крупная фигура с круглой массивной спиной, в руке – горсть картин на подрамниках.

Но это ведь не хозяин квартиры! Кто же?

По-моему, баба. С черными, убранными узлом волосами. Она приставляет картины левой рукой к перилам лестницы, а правой крепко держит другие. Закрывает дверь, старательно прижимая коленом. Не поворачивается лицом в мою сторону, но я точно вижу: это не Татьяна.

А кто же? Кто же? Кто?

Осторожно отворяю свою и ступаю на лестничную площадку. Фигура в черных брюках и вольной блузе ключом запирает дверь, боязливо оглядывается, замечает меня, а я замечаю ее круглое лицо в очках. И она бросает ключ под дверь – он нелепо вякнул, стукнувшись о бетон площадки. Дама схватила полотно и, отвернувшись, потащила их вниз по лестнице к лифту. Я, конечно, за ней. Но я успела ухватить глазами только хлопнувшие дверцы лифта, они стояли предварительно открытыми.

У меня заколотилось сердце. Я схватила брошенный ключ и в недоумении на него смотрела. Внизу лестничного пролета мне не было видно, как фигура выходила с картинами. Я подбежала к лестничному окну, открыла форточку и выглянула вниз: отъезжающая машина-пикап выворачивала из внутреннего проезда, и номер машины мне на глаза не попался.

Не было ничего особенного, все могло считаться нормальным, если бы не ожесточенно, капризным жестом отброшенный ключ.

Было похоже на ограбление? Ограбление... Ограбление!

Ключ я держала в кармане халата и чутко дожидалась возвращения домой хозяина.

Он не пришел домой ни вечером, ни ночью, ни на другой день...

Лестничная площадка приобретала в моем воображении все больше таинственного криминального духа. Меня распирало от невыясненности какого-то дела. Ключ в кармане халата был постоянно теплым от руки. И если на нем оставались чьи-то отпечатки, то теперь уж давно стерлись моей собственной горячей от волнения ладонью. А ключ – как ухватка для выяснения обстоятельств.

Мяла, мяла его в руке...

Ночью...

Вставила это вещественное доказательство в замок соседской квартиры, отомкнула и без спроса вошла в чужое жилище.

В зеркале в маленьком коридоре перед входной дверью я увидела лицо, жадное до тайны, свое лицо, и, кажется, от предвкушения разгадки оно помолодело.

Меня обьяла необыкновенная светлота и ясность двухкомнатной малогабаритной квартиры, ячейки девятиэтажного кирпичного улья, отсутствие темных заставленных или захламленных углов: полно света от незанаве-

шенных окон, на подоконнике задыхающиеся от жажды Татьянины цветочки. Из темноты ночи попасть в такой яркий свет...

Первым делом я, конечно, начала искать труп. Мне показалось, тут вполне возможно убийство.

Стыдно открывать чужие ящики и заглядывать не в свои погреба. Я, совестливый человек, призадумалась: странную роль я себе взяла. Но отказаться от нее сейчас не могла: мне кажется, произошло недоброе и требуется мое участие. Больше некому разобраться, я единственный нечаянный свидетель происшествия. Любопытство неудержимо тащило меня вглубь, вперед.

Я внутренне боролась с собой. Преодолеть искушение не хватило сил: надо взглянуть внутрь происшествия, иметь информацию об обстоятельствах на месте происшествия. Непонятно, что же за случай и что с ним делать в конце концов. В руках у меня не только ключ от соседской квартиры, но и от загадочного события, убеждала я себя.

Правда, тут же дала себе обет: стану закрывать глаза на все постороннее, что меня не касается, ни на что не глядеть, кроме трупа.

Ну и ну!

И все же: вперед или назад? Можно ведь и туда, и сюда.

Что решишь? Стыдно!

Ай-яй-яй!

Но случай какой! Не часто попадается. В жизни такого не было.

Только труп меня интересует: окровавленный, разлагающийся, расчлененный, заплесневелый... вдруг обрубок руки с гнилыми пальцами... жуткая нога... голова с закатившимися глазами...

Ну что, что, дальше что?

Дальше еще жутче, заманчивее.

Только труп – на все остальное закрываю глаза, другая бытовая трухлятина меня не интересует.

На столь обильном свету ничего не было страшно, все на виду, полный свет любой мрак в душе разгонит. Я открываю все дверки, которые нахожу в квартире: в ванную, в уборную, в шкафы под кухонной раковиной, в холодильник. Ни за одной дверцей нет никакого мертвого тела. И дверей тоже больше нет. В растерянности я смотрю в окно большей комнаты, соединенное с балконной дверью: на балконе тоже ни трупа, ничего, напоминающего о подобных вещах. Деревянные ящики по всему периметру, заполненные бурой пересохшей землей, которая не родит ни травинки. Татьяна, помню, говорила, что ихний кот ходил писать в ящики на балконе, и потому на выжженной кошачьей мочой земле ничего не растет. Интересно, где теперь этот кот?

Из чужого окна привычный мир, политый ярким солнечным светом, кажется лучше: не-

бо, воздух, газоны. То, что я очутилась в комнате художника, впрыснуло в меня творческого энтузиазма: трава стала оранжевого цвета, небо изумрудное, воздух между небом и землей – под сиреневым туманом. Если бы надо было писать вид из окна, я бы мазала такими красками, будто картины мне теперь придется писать. Что толку красить траву зеленым, если она и так зеленая, все без исключения знают, а тут творческое воображение. Дошла, как говорится, до самой сути.

Из моего собственнй окна божий свет кажется тусклым, пыльным, опутанным пеленой привычки: трава из окна видится, конечно, зеленого цвета, и никакого другого. Давно пора бы сменить домашнюю обстановку, но средства и лень-матушка не позволяли заняться благими переменами. Живешь в своей конуре, как в предварительной могиле. Все наши квартиры по сути дела жилища бедных людей, но, по житейской логике, признаваться в этом не стоит, многие еще беднее живут, перед ними стыдно. Неужели трудно в большой стране настроить побольше домов, вырастить зерна и картошки вдоволь? Что мешает, понять не могу, и образование не помогает. Будто специально разводят неимущих, бедных, полуголодных, чтобы было чего в жизни стыдиться. Стыд так и есть, так как кушает, как клоп...

На самом свету у стены стоял деревянный мольберт, на нем красовалась неоконченная картина, зрелище тонкое, изысканное, незаконченные картины бывают лучше готовых, на мой слабо просвещенный взгляд. Я ловила из воздуха запах мужчины: табака, выпивки, сладостно-горьковатого пота. Табака не ощущалось, видно, художник не курил, выпивку перебивал запах красок и скипидара.

Фу! Ничего!..

Крайняя необходимость каждой вещи: кровать с зеленым в клеточку пледом, табуретка, вымазанная засохшими красками, заваленный рисунками стол, типовой книжный шкаф с раздвижными стеклами, в котором вместо книг наставлено простой чайной посуды. Бедная обстановка. Отсутствие чего бы то ни было лишнего мне внутренне импонирует, я угадываю родственную душу. В бедности ничего нет интересного, кроме нас самих. Среди скудной окружающей обстановки интересны только мы сами с нашим духовным миром. Всякие «вещи» для нас лишние, мешают задумчивости, сосредоточенности, соотносённости духа с другими мирами, одиночеству, которое мы тщательно взращиваем и охраняем. У нас время такое: наше сознание вселенское, как никогда прежде. Жаль тратить драгоценные силы на стирание ежедневной пыли с комодов и высасывание ее из напрасных холмов мягкой мебели. Слуг у нас быть не может. Мы сами. Сами, сами...

Но чего-то здесь нет. Не только труп. Чего-то еще...

Неудобно находиться в чужой квартире и рыться глазами в вещах. Труп нет, можно идти домой. Жаль, конечно, нет развития событиям...

Жалко, что ли, было подбросить мне под нос какой-нибудь смердящий трупик: хозяйна, хозяйки, кота или ребенка?..

Что это, господа? Проснувшись я, когда в самом деле было светло, удивительно: могу видеть цветные сны – и плед в зеленую клетку, и табуретку в красках как-то мельком я видела у них в квартире.

И думаю: сны-то бывают вещими. Деликатность деликатностью, но сколько раз находили в закрытых квартирах мертвых людей. Так и тут: может, дело не в ограблении, а хозяин умер?

Я вскакиваю, наскоро надеваю халат с ключом в кармане и в самом деле отпираю соседскую дверь не раздумывая.

Я прошла весь путь, предписанный во сне. В холодильнике – два трупики желтых сосисок. В шкафу за нижними створками навалены тюбики в картонной коробке, разбавители в круглых бутылках, масла и лаки в плоских склянках, масса кистей разного калибра и стопка книг по искусству.

На мольберте красовалась вырезанная из тонкой гладкой фанеры палитра с засохшими кучками красок, червячками выдавленных из тюбиков.

На подоконнике в литровой бутылке белого стекла отстаивалась вода для полива растений, вода пожелтела, на стенках бутылки осела осклизлая зелень. Я машинально полила растения в четырех глиняных горшочках, аккуратно поставленных на мелкие чайные блюдечки, частично задернула оконную штору серого холста, обшитого понизу светлой бахромой: окна выходят на юго-западную сторону, и солнце с двух часов до самого вечера, как у нас, все в комнате выжигает.

Что-то все же здесь должно быть?

На обоях в тонкую бежевую полоску отчетливо различались светлые квадраты от картин и пустые гвозди, похожие на любопытные глазки пугливых животных.

Пустые гвозди?..

Пустые... видно, с них картины и сняты. Вот где главное дело, а не труп в шкафу!

Должны висеть картины, а их нет, именно их сняли со стен и вынесли. Что же все-таки произошло? Никакой ясности не было, и рассказывать про то, что я залезла в чужую квартиру, никому не стану... Буду терпеливо ждать хозяев: придет же кто-нибудь домой...

Что это?! Что это? Что???

Когда я вошла в квартиру, заперла дверь на ключ и привычно сунула его в карман халата, я точно помню свой жест. Но сейчас дверь не

только не заперта, но приотворена, неожиданно я запнулась о порог. Что же случилось, когда я разыскивала в квартире труп? Я его не нашла.

Но, возможно, он был вынесен до меня? Весь вопрос – кем? Почему дверь открыта? Что вообще происходит?

Зайду-ка я снова в квартиру и дверь не стану ключом запирасть: пусть войдет кому надо, объявится, мы представимся друг другу как положено. Сумею я объяснить, почему оказалась в чужой квартире.

Сажусь на табуретку. Тихо. Но все время настороже: будто вот-вот окликнут, ощущение неприятное, как болезнь. Из-за матери я практически не бываю одна. И вот в чужой квартире случай выпадает... Смотрю на окно: только что с улицы солнышко било, и уже по стеклу дождем сечет, размышляю, как в классической литературе, не хватает книгу взять в руки и читать. Я библиотечкарь-книголюб. Начиталась вволю, вся литература, можно сказать, проходила сквозь меня. Но больше ничего читать не хочу. Прежде у меня оставалось определенное положительное впечатление от читанного, теперь каждую строчку, как будто нарочно, начисто стирает последующая. И ссылаться на прежде прочитанное теперь не хочется. Прежде чуть что – сразу читата из общеизвестного произведения классика: эрудиция, ценное дело. Теперь наоборот, появилось желание от всего прежде читанного избавиться, как от напасти, что сводит с собственного ума. В жизни чтение не помогает, время жизни отнимает. Что толку разбираться в литературе, денег за это не платят. Любовь к литературе меня подвела, на мели оставила, я много не учитывала. Мы верили литературе безраздельно, как самой жизни. Своим-то умом не всем удастся жить. Литература хорошо воспитывает добродетельную душу, хотелось добрыми быть. Но в жизни требуются многие ипостаси, если их замещать литературными образами – грош нам цена, начитанным оболтусам: всю энергию взяло чтение, на жизнь не осталось сил.

Сижу вот теперь, старенькая, маленькая, растерянная, жалкая без гроша в кармане, в чужой квартире неизвестно зачем. Причастной к жизни себя ощущаю на испещренной сохлыми красками табуретке, на которую художник кладет палитру с красками? До чего неуютно! Впервые в жизни в такой сомнительной ситуации, и глупые мысли лезут в голову. Ядовитые запахи времени от пыльных книг будоражат память и остро щекочут нос – гляди того, навернутся слезы жалости к себе.

Смотрю на светлые квадраты от картин на стенах, неприкаянно таращатся безыскусно вбитые гвозди, впустую вылезают из стен. Ни одной картины в жилище художника – стран-

но! Интересно, что он за художник, какого образа у него картины, я ведь не знаю.

Неужели все вынесла та баба? Что за баба? Куда их дела?..

Вдруг коротенько вздрогнул телефон, желтый, в коридорчике на коричневой подставке-кронштейне. Беру трубку, прикладываю к уху. Гудка нет. Но чувствуется, аппарат живой, не отключен.

Гудка нет – странно! Кажется, впервые трубка не требует от меня ответа, и я с любопытством прижимаю ее к щеке. Шорохи, трески – пространство дышит, замораживает, будто стрекочет кузнечик на линии, ветер шелестит дорожной пылью, гонит сухой лист, слетает листок с дерева и касается сухой травы, птица машет крыльями, дождь стряхивает с неба капли, сыплется песок времени...

– Алло! Это кто?.. – Трубка заговорила.

Я испугалась, сразу бросила трубку. Квартира-то, видно, на охране. Сейчас придут, придут, примчатся – меня застукают...

И у-у-ух! – пока не поздно, я из квартиры бежать!

Схватила за ручку двери – ведь я не заперла ее, – но дверь заело, не открывается: что-то держит ее снаружи. Толкаю, ожесточенно толкаю – наконец подалась.

Снаружи дверь была приперта железным стержнем. А это еще что такое? Откуда он взялся? Ведь ничего похожего не было.

Железная палка, падая на бетонную площадку, задала такого дребезгу – батюшки! – я еще больше испугалась.

Быстро заперла дверь на два – два! запомни! – поворота ключа, схватила загадочный штырь (откуда он только взялся!) и спрятала дома. Что-то будет?

Сколько ни следила, сколько ни ждала, охранный наряд не появился: никто не пришел, не приехал проверять объект.

Из соседних квартир время от времени вылезали люди, на соседскую дверь никакого внимания не обращали: у всех такой вид, будто смотрят в себя, собой всецело и заняты.

Я же полностью лишилась покоя.

Кто же палку-то подставил?

Кто слушает телефон?

Загадок прибавляется.

Может, снова зайти в квартиру, подольше побыть – что-нибудь выяснится?

Но... сколько придется сидеть до выяснения? Сейчас некогда, мамочка обеспокоится. Надо выбрать подходящее время, чтобы она ничего не заметила, не пострадала без обеда. Да уж ночь на носу, надо спать ложиться, сны станут сниться, цветные или страшные. Молодая была, снов не видела, зато теперь интересные...

Во сне ко мне все вязались разные сорные слова, когда-то читанные не то в классической, не то в неклассической литературе, вро-

де «долго глядел вслед», «мелькнула мысль» и так далее. Я будто бы и говорю:

– Вы мне надоели!

А они:

– Это бывает!..

Похоже, книги мстят, что я их больше не читаю. А потом... Земля самое плотное тело в Солнечной системе. И я вижу Землю со стороны. Луна – спутник, и Луну вижу. Видно, как ось Земли смещается, и разные земные сферы. Магнитосферу – жидкое ядро внутри, атмосфере, тропосфере – небо, облака. Твердь, океаны, льды – криосферу, гидросферу, гравитационное поле, мантию, феноскандию... И всего вроде бы прошло семь десятых минуты космического времени. Я видела сферы четко, подробно, в деталях. Интересно! Но непонятно, к чему бы сон? Зачем меня носило по космосу? Наверно, предзнаменование. Не иначе, ожидается что-то бурное в моей жизни.

Пока собиралась зайти в квартиру соседей, улучала момент, хозяйка Таня вернулась домой. Я к ней с ключом, со своими соображениями и рассказами про то, что видела. Но главное: мне надо было спросить у нее немножечко денег в долг. Казалось, я не смогу открыть для этого рта: спазм в горле, не найду подходящего слова. В данный момент готова сквозь землю провалиться от стеснения, белый свет за окном не мил. До чего неуютно на свете без денег! Состояние просящего в долг удручающе. Потому я и не отказываю непутевому племяннику, знаю, как трудно просить: отдаю ему все, что просит, и что не просит, добавляю.

Едва прокашлявшись, не слыша саму себя, с трудом выговариваю:

– Не одолжите ли, Таня, немного... сколько возможно... рублей до получки?

Вид у меня был такой встрепанный, что Таня сказала:

– Что с вами, Мария Васильевна?

Она достала из кармана тощенький кошелек, перебрала в нем бумажки и молча половину протянула мне. Я совершенно не ожидала такой простоты, но сразу была избавлена от дальнейшего унижения.

Она выручила меня!

Как же сразу изменился мир в моих глазах! Любая погода – в самый раз. Я спасена. Летать готова от легкого волнения.

Не жалкие бумажки оказались крыльями, а женская солидарность, легкокрылая человеческая отзывчивость.

Рассказала я, что видела около двери своими глазами.

– От нас всю живопись вынесли! – жестко сказала Таня. – Куда он все девал, не без его же ведома, думаю, происходило. Снято все, что висело. – Она повела рукой вдоль стены с белесыми квадратами на выгоревших обоях. – Пока я не знаю, где он лежит. А вы не знаете?

– Почему – лежит?

– Кто-то прислал мне телеграмму, что он лежит в больнице в тяжелом состоянии, потому я приехала. Придется разыскивать его по больницам...

– Не знаю... Но если чем помочь, я – пожалуйста.

А квартира у них, оказывается, на охране вовсе не состоит. Тогда почему же вокруг нее что-то происходит?

(Продолжение следует)



БАРДОВСКИЕ ПЕСНИ

ДУША МОЯ ТОБОЙ ПОЛНА

муз. Ж.ШТЕПШНОЙ

сл. Т. ДУШЛИНСКОЙ

Умеренно *mf* Fm G Cm Fm G

5 Cm Fm G Cm Fm G Cm B

11 Eb Душа моя тобой полна, печаль чудна, светла она банально все, и снова
Dm7 G Cm Fm G Cm

16 Fm G Cm Fm G Cm

21 Fm Cm Fm G Cm Fm

26 Cm да ты, бледный и святой, придешь, очищенный судьбой.
Fm G Cm Fm Cm

31 Fm G Cm Fm G Cm Fm G

36 Cm B Открою дверь - обнимешь ты - и все воскреснет
Eb Fm G Cm

41 Fm Cm Fm G Cm

вновь: в порыве дерзкой простоты растопит лед любовь.

МНЕ ТАК ТЕПЛО У ТВОЕГО ОГНЯ

сл. Т. ДУШЛИНСКОЙ

муз. Ж.ШТЕПИНОЙ

Soprano

Умеренно *mp* Hm Em C Hm

6 F#7 Hm Hm Em A

Мне так тепло у твоего огня, где не горят и не мерцают

11 D Hm Em A D

сучья. Не говори... Молчи... Люби меня... Нас свел с тобой какой-то дивный случай. Твои гл

16 H Em A D Hm D

за, как синие цветы, вокруг коростями лепестки роняют. И ангел - ты, безплотный анге

21 Em F#7 Hm Hm Em

ты: тебя, как мать, невинность охраняет.

26 C Hm F#7 Hm Hm

И я боюсь утратить этот

31 Em A D Hm

сон. А он - прозрачный - нежно выгнул спину, он - алый парус Александра Грина... На-

36 Em F#7 *rit.* Hm

шел меня - надеюсь, я Ассоль.

**Журнал читают во Франции, США, Канаде, Финляндии,
Германии, Чехии, Индии
и в городах России – Москве, Калуге, Вологде, Перми, Орен-
бурге,
Череповце, Волгограде, Юхнове**

Адрес редакции:

Санкт-Петербург, Б. Конюшенная д. 29, 4 этаж. Союз писателей России

**ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ № 5
СПб, 2006 г.**

ISBN 5-89319-79-3

Цена договорная

Зарегистрирован Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным Управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5086 от 16 марта 2001 года.

Главный художник – Юрий Сорокин

Главный менеджер – Татьяна Дуплинская

Корректор – Юрий Воропайкин

Компьютерный набор, верстка и техническое редактирование –
Анатолий Баранов

Сдано в набор:

Подписано в печать:

Формат 60x84/8

Усл. печ. л.

Тираж 300 экз.

Заказ №

Отпечатан в типографии: СПб, пр. Гагарина д. 65.

В НОМЕРЕ:

Н.Коняев. ПОМИНҚИ. (Пьеса)

В.Алексеев. «Мысли и дела Владимира Заваяева.» (Повесть)

В.Дмитриев. Стихи

Бахыт Кенжеев. Стихи.

Б.Орлов. Стихи

Низами Абульфаз-Оглы. Рассказы

Бубнова Людмила. «За дверью». Фрагменты романа.

«НЕУВЯДАЕМЫЙ СОНЕП». Венок сонетов на могилу М.Салтыкова.